1-й экз.

НОВАЯ РОССИЯ

Май № 2

978

№ 72

1922.
ПЕТРОГРАД. — МОСКВА.
Издательство Л. Д. ФРЕНКЕЛЯ.

Содержание:

Вопросы современности.

От земли и городов.

Гримасы революции.

Новости науки и техники.

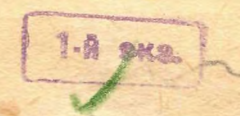
Русская эмиграция.

Из зарубежной печати.

Критика и библиография.

Р. Ц. № 772. 4-я Гос. типография, Фонтанка, 57. 6.000 экз.





НОВАЯ РОССИЯ

Май

№ 2

978

1922.

ПЕТРОГРАД. — МОСКВА.

Издательство Л. Д. ФРЕНКЕЛЯ.

Полынь.

(Рассказ).

Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику; имя сей звезды полынь; и третья часть вод сделалась полынью.

Откровен. св. Иоанна, гл. 8, 10.

I.

Небо ли шлет эту стынь, судьба ли,—ночью тьма, мороз; днем—сизый иней, воздух остр, труден. И проходят в тумане, ночь за ночью, день за днем—в великом отступлении. Это отступает не войско, не солдат, закутанный в тряпье, волочит отмороженную ногу,—тень извечного человеческого страдания проходит сквозь туман, из одной большой сибирской деревни в другую. Ночью горят костры, полны избы; днем тянутся дальше, бросая по пути раненых, отставших, замерзших—милосердия не будет. Уже прошли чехи, прочно одетые, с богатым обозом; поляки со своими здоровыми конями, походными кухнями; теперь идет русская серая пехота, нищая скотинка, все тая и тая в снегах... И шумит два дня пурга, несет крупу, проносится со свистом белыми своими саванами, засыпает все. На третий день утром все чисто, бело, ничего не было. Синее небо, красное солнце.

У белого вокзала большого сибирского города стоит покорно, как прирученное, стальное чудовище со своими башнями, с дулами орудий, со своими блиндированными платформами с бойницами—броневой поезд; длинный сверкающий вагон с зеркальными стеклами прицеплен сзади к нему—в нем новая власть. Часовые со штыками поплясывают от мороза возле вагона. На вокзале солдаты, груды брошенных винтовок, позади взорванные мосты, сброшенные под откос составы,—а здесь, в теплом салоне, обитом мягкой зеленою кожей, сухо трещит машинка под белой рукой светловолосой стриженной женщины в папахе и кожаной куртке, деловито пахнет табаком, и ходит из угла в угол тот, кто на штыках своих солдат принес новую власть, высокий, в меховой распахнутой куртке, небритый, большеносый, нескладно скроенный, диктует на ходу машинистке, присаживается к столу подписать приказ и прочесть телеграмму, отдает приказания стоящим в полушубках, с оружьем у пояса, вдоль длинного коридора с красными полированными дверями купе. И проносит старый проводник, перешедший вместе с вагоном к нему от прежнего правителя, на подносе стаканы с крепким чаем.

День за днем входят в город войска, уже лазят солдаты на стальных кошках по телеграфным столбам, и протягиваются новые мохнатые от инея проволоки. Еще полон город врагов, их ищут день и ночь и гонят толпами к переполненной каторжной тюрьме, краснеющей на

закате своим вечным бессмертием. Еще сидят по домам обыватели, но выползают мало по малу любопытные, и скоро полны улицы народа, как во время праздника или гуляния. Любопытно и страшно, когда сменяет одна власть другую: тем, кому несет она гибель и разорение, она ненавистна; для тех, кто ждал ее, настает час благодарности судьбе и жажды деятельности; для тех же, кому дает она сладкую власть упиться страхом и унижением другого—наступает веселый час расплаты, мщения и разгула; но больше всего тех, для кого равна всякая власть, лишь бы она не мешала его малым делам, берегла бы его жизнь и жилище, давала бы ему хлеб,—он с ней, он ее проводник и спутник.

И обо всем этом должен помнить и знать новый правитель, без устали ходящий из угла в угол теплого зеленого салона. Вот движется по мятой карте, развешанной вдоль задней стены, его армия—ей нужны кров, хлеб, лазареты; лошадям—фураж; враг не добит—надо занять все опорные пункты, передвинуть эшелоны, выгрузить кавалерию. Можно ли доверять во всем тому седоусому спокойному человеку в ловко сшитом фрэнче, с плечами, как то нагло щеголяющими вынужденной пустотой; он водит по карте своим холеным пальцем с острым блестящим ногтем, он улыбается и держится, как равный, у него свое купе, свой кожаный несессер с щеточками, зеркальцами и флаконами; от него приятно и мягко пахнет духами; но кто знает, что скрыто под этой черепной крышкой, так домашне блистающей розовой лысинкой; у него золотой зуб сбоку—как бы знак домовитости, зрелой устоявшейся жизни,—но ведомо ли кому, что означает эта мягкая улыбочка розовых губ под седыми подстриженными усами? И морщит правитель свой лоб, разглядывает карту. Короток зимний день, сини сумерки, и подкатывает, почти к самым путям, уже в предвечерний час, колясочка мотоциклетки; совсем маленький, как бы игрушечный человечек, в помутневшем пенснэ, с громадным набитым портфелем, вылезает из нее и идет к вагону. И остаются они вдвоем в салоне: один высокий, нескладный, тяжелый, другой—крохотный, бледный, с бороденкой, с слабыми тонкими руками, вылезающими из коротких рукавов: они—делят власть. Достает маленький из портфеля сшитую тетрадку: здесь все нити, здесь ключ того заговора, который раскрыт и будет сломан, уничтожен сегодня ночью. Малая слабая рука играет чернильным карандашиком. Читают оба, наклонившись друг к другу, словно оберегая от незримого взора—и подписывают листок—один размашисто, другой нежным женским почерком, мелким, как бисер. Но кончен их сговор, снова за окном оттрещал мотоцикл,—теперь приносят груду сырых телеграмм, пахнущих тестом. Есть еще остатки врага и ведут наступление: они пьяны и безрассудны последним отчаянием, их нужно окружить, не дать ни одному прорваться в тайгу,—и разыскивает правитель на карте нужную точку и вместе с седоусым подписывает телеграмму: через минуту мохнатые проволоки передадут за тысячу верст житейские непонятные слова: «сапог», «седло», «уздечка», тайный смысл которых разгадает кто-то, свой, замкнутый, привыкший к опасности.

Но мало ли еще врагов разбежалось, ушло в тайгу и стережет оттуда каждый шаг, взрывает по ночам мосты, разбирает пути... Безмерна Сибирь, безмерна тайга. Кедры, ели стоят неподвижно под тяжелыми глыбами снега; снег заметает заячью тропу; вылетит из бурелома с глухим хорканьем тетерев, или пролетит низко серая куропатка; вот треск в лесу—идет не спеша медведица с подросшими за осень медвежатами, и фыркает конь путника, прядает ушами и пятится. Дальше, глуше треск—прошла невидимая, только на снегу горячий помет, да на сучьях клочья бурой шерсти. Серяк выбежал на опушку, сел на мягкие задние лапки, поводит живым носом, слушает запахи;

и вдруг вскинул зад с белой подпалиной, поскакал, закружился в зимней заячьей радости. И снова тиха тайга, одна белка с растянутым, как кормило, пушистым хвостом, летает с ветки на ветку и сыплет вниз шелуху кедровых шишек, да тянет кислый голубой дымок над засыпанной снегом заимкой. Ничего не было: ни людей, ни людского страдания. Есть часть земли, закованной в лед, в долгое зимнее молчание. Молчит подо льдом синее море Байкал; на горах снег, голубые кристаллы льда, низкие густые облака цепляются за них своими обвисшими животами. Глуха тайга. И крепнет к ночи мороз.

Уже отправил правитель все телеграммы, отзвонили звонки телефонов, сменили часовых у его вагона; уже задвинуты двери купе—спит седоусый, сухим теплом несет от блестящих аллюминиевых крышек отопления—и наступает горький, долгий час его бессонницы. Приносит проводник на подносе ужин и расставляет с привычной бесшумностью блестящие тарелки, стаканы с крепким чаем,—лысый, с линялыми синими глазками, почтительный, непроницаемый, замкнутый. Но не прикасается к ужину тот, сидит на диване, глубоко уйдя в кожаные зеленые подушки, курит папиросу за папиросой; синий дым стоит над ним; полны окурков пепельницы; теперь он весь как бы потух, невидящие глаза ввалились, в черных спутанных волосах видны белые нити. И выходит к столу та бледная светловолосая женщина, которая днем писала под его диктовку на машинке. Теперь она мягка, женственна, на плечах ее теплый платок. Она садится напротив, на другой диван: и так же, как и он, курит папироску за папироской, задумчиво отряхая пепел. Ее лицо тоже угасшее, серые глаза глядят мимо, неподвижно. Теперь она его спутница, его жена. Что из того, что у него где то жена и две нежных маленьких девочки, и у нее муж и семилетний задумчивый мальчик, который ждет ее и бессчетно целует в редкие приезды ее глаза и бледные щеки. Здесь новая, стремительно несомая жизнь, здесь—новая семья. Но пишет часто она в далекий город «бесценный мой мальчик», и получает изредка он толстые пакеты, в которых большие каракули, картинки и сухие цветы. Так курят они друг против друга, синий дым стелется поверху, и стынет крепкий чай. Изредко перекинутся они незначущим словом, прислушаются к возникшей вдруг на путях перестрелке, к порыву зимнего ветра,—и поздно, в четвертом часу, когда уходит уже она в свое купе, надевает он папаху, меховую куртку и выходит пройтись.

Глух, мягок вагон, чуть качнется от его ноги, ступившей на ступеньку,—и вот ночь, лютый к утру мороз, спит вокзал, спят поезда, застыли часовые со штыками. Над городом, над вокзалом как бы полярная тьма, ледяное дыхание. Сыро ревут столбы; в залах вокзала, куда он ходит на миг, духота, кислый смрад, груды солдатских тел, навалившихся для тепла друг на друга. И возвращается он снова к вагону: снаружи тот мертв, спит, плотные занавески не пропускают света. Снег остро скрипит под ногами, красный огонь папироски осветит индевеющий ус. Небо черно, низко, бессчисленные миры звезд горят на нем; нежный Сириус среди них, как вечная мечта и напоминание. Это камень золотого перстня Сторожа Мира: он сторожит ледяную пустыню.

II.

Чуть бело утро, трещат от мороза бревна построек, но уже открываются с долгим скрипом ворота тюрьмы, новые пришельцы входят в нее, иные ненадолго, иные навеки. Их пересчитывают, их окликают, у них шарят по карманам, их толкают закостеневшие от мороза руки. Топот по лестнице, грохот дверей, и снова тишина, спит тюрьма дальше.

В камере духота, на стенах перламутр мороза—видят утром прежние новых пришельцев, узнают знакомых, расспрашивают, проклинают, покорствуют. Остатки ли это разбитой армии, сыновья братья тех, кто бежал на восток, замерзали в нетопленных вагонах, ловкие ли дельцы, просто грабители?—здесь все равны и участи всех одинаковы. Вот просыпается на нарах и долго лежит, смотрит на синеющее окно маленький рыжий человечек, весь водянисто-пухлый, с рыжей щетинкой, с карими, влажными сучьими глазами; белье на нем затаскано, ветхо; на коротеньком пальце золотое кольцо,—где его жена, детки, самое дорогое для доброго еврея-семьянина, их золотые сердечки, их милые голоски: это для них перекупал он и продавал, это им тащил он в дом все повкуснее и получше... Но вот он здесь, вот он брошен сюда, как злодей,—кто ведет тайную нить человеческой судьбы? Знает ли путь ее тот густо поросший длинной исчерна-седою щетиной, с бритой головой, с орлиным носом, с блистающим взлядом, кавказец? Кого он прирезал ночью сильной рукой, что замыслил, почему кривятся его губы недобрым воспоминанием? Или этот—тайный, зловещий враг с лукавым расчетом, непроницаемо-высокомерным видом, седыми усами, все еще молодцеватый, словно на покатой груди все отличия его храбрости; или опаснее тот—белая кость, гвардия, в щегольских сапогах, смуглолицый, нетерпеливый, презрительный, знающий уже близкий срыв своей судьбы. Здесь все равны. Здесь все—пасынки короткой равнодушной жизни.

Но не все спят в большом городе. Еще светится смугловато на белой пустынной улице окно дома: это свет не бессоницы, не горького и сокровенного часа раздумья, это свет—работы, труда, напряженной человеческой мысли. Тот, кого привезла сегодня к вагону с треском колясочка-мотоцикла, сидит, склонив над грудами бумаг бледное, бескровное лицо; худые руки листают листки. Это отречение, подвиг, непосильный труд, взваленный на одного человека; близорукие слабые глаза щурятся под стеклами очков; нежная рука сухо чертит надписи мелким почерком, ставит в углу застенчивую подпись; груды бумаг лежат перед ним. Знала ли его семья—бедного еврея часовщика на Миллионной улице в нищем городке, что будет младший сын большим человеком, что будут ему подвластны судьбы людей, их смерть и жизнь. Не его ли, слабого, шатающегося от болезни, гоняли с этапа на этап, годы томили в тюрьмах всех городов, не давали старшему брату учиться, не пускали отца в большой город. Теперь спит отец, спит брат; белые доски с родными надписями стерегут их сон. Один он остался искупить всю горечь их жизни. Отец верил в Бога и молился Ему в белом талесе через шею. Сын не верит в Бога, верит он лишь в закон жизни, в строгий порядок всех вещей на земле. С людьми он холоден, к ним он равнодушен; одни его книги—верные спутники, их он знает, им верит—в них строгий порядок, твердый смысл,—сравнима ли с ними беспорядочная человеческая жизнь? И чертит сухая рука надписи, подписывает приговоры. Они были немилосердны—к ним нет милосердия; они жгли—их жечь; они не хотят,—заставить; противятся—убить. Что ел он сегодня и ел ли?—были звонки, сотни дел, десятки людей ожидали его—доел ли он кусок хлеба, лежащий в ящике его стола? Приходили просить о милосердии, о сострадании,—но может ли сожалеть он тех, кто будет волчьими глазами смотреть из тьмы и ждать часа мщения? Плачут женщины—матери, жены, любовницы: простоволосые, в платках, и изящные в мехах, вытирающие слезы крохотным платочком...

Доеден хлеб в столе, у него нет заботливой женской руки, которая ему все приготовит; есть у него одна лишь привязанность в жизни—

крохотная собаченка, с черною спинкой, с коричневыми ушами; она спит на круглой подушке на диване, и отрывается он от работы, смотрит на нее поверх очков, проходит в соседнюю комнату и наливает в блюдечко молока; и начинает, дрожа всем телом, собачонка лакать, а он стоит перед ней на коленях, улыбается и греет ее дыханием. Но грохает вдруг среди ночи дверь, стучит к нему дежурный—и сразу бесшумно подходит он к столу и опускается в кресло. Была ли сегодняшняя ночь удачна, верны ли сведения?—и стоя подле, докладывают двое: один низкий, весь раздавшийся, с красным раздутым лицом, над которым косой маслянный матросский кок; другой черный, весь как бы тень. Сведения правильны, шестнадцать человек захвачено в доме, в черных портфелях бумаги, переписка, документы. И тихая довольная улыбка раздвигает вновь его губы: значит, недаром был его труд, недаром бессонницы, звено за звеном размыкает он хитрую цепь еще большею хитростью, большим коварством. Вот удача, вот щедрая награда в мучительные его часы. Теперь кончен трудовой день, теперь отдых, сон. Одежду на стул, очки, револьвер на столик, тело—на кровать. Малая его собачонка спит с ним рядом в постели, и засыпает постепенно и он, чувствуя слабое тепло ее тела. Сон без мечтаний, без видений. Ночь дотлевает. Пепел зари—рассвет.

III.

И сыро, долго ревут гудки в пепельный час: это призыв к труду. Поднимается рабочий люд, протирает глаза ладонями в черных масляных трещинах, и тянется вскоре к мастерским, к огромным воротам закопченных депо, в которых покорно, как больные слоны, стоят паровозы. Уже рвется горячий пар, текут и текут ремни приводов, пробуждая станки; вот с визгом высверливает один стальную форму, и льется из под сверла мягкая витая стружка спирали; железный брус рдеет, как уголь, в бело-синем огне, и знает каждый, стоящий возле станка, свой отмеренный ограниченный труд. Этот плющит шляпку болта, другой ведет тонкую резьбу нареза, копошится третий в закопченном недре паровоза. А надо всем стоит еще низкий расплавленный голос гудка: он напоминает о вечной тщете и упорстве. И долгий сумрак, слепой день в мастерских; землистые лица даже самых молодых; слепнут глаза от нестерпимого пламени, слабеет слух от непрерывного визга и гула. Вот ловко направляет один ремень розовой культяпкой с коротеньким пальцем, и легко, привычно перекидывает другой на костыле свое искривленное тело.

Но не их ли теперь пробил час. Пришла весть о конце этой заклятой жизни; их именем творятся власть, расправа, возмездие; во славу их торжества развеваются новые флаги. И в полдень снова неумолчно, призывно ревет гудок, собирая всех под стеклянную крышу. Приходят старые, в очках, в кожаных фартуках, подростки с папиросками, работницы в холщевых передниках. Уже густо чернеет толпа, наполняя широкий проход, взбираясь на паровозы. А надо всеми на деревянных мостках стоит тот, кто до разсвета ходил из угла в угол своего вагона. Вот поднял он руку над затихающей толпой и бросает вниз первое призывное слово. Пробил час, и золотая заря взошла над ними. Мир следит за их победой, пасынков судьбы. Сопротивление сломлено, враг добит. Были ничем, пылью, тенью—владеют всем.— Смотрят на него старики, еще щурясь, еще недоверчиво,—но не золотое ли солнце восходит воистину над этой закопченной крышей?—И продолжает тот свою речь.—Их руками, их волей добыта победа. Только труд, один труд, труд удесятеренный, умноженный, труд дня и ночи, может ее сохранить. Знали праздники, отдых,—нужно забыть их. Пусть

друг за другом, с победным гулом, выходят эти чудовища—покорять пространства, утверждать славу труда.

И кончена речь, сходит он и идет посреди других, в ловких полушубках; новенькая светло-зеленая машина уже дрожит, клокочет у входа и вскоре певуче уносит их. Расходится толпа, разбредается снова по своим цехам и мастерским, где желто горит электричество, и жидкое мыло и сало стекают в желоба. В сумерки, чернея на снегу, она возвращается в свои логова для короткого отдыха, сна; наутро новый рев гудка прервет его, возвещая о великой силе, ведущей Мир и навеки и безраздельно им покоренной.

И день проходит за днем. Уже оплетает новая власть своими распоряжениями, приказами, новым устройством—страну, знают о ней в глухих деревнях, уже перекинута прямая связь с далекими городами, деловито стучат машинки, выпускают листки и воззвания типографии, расположены на зимовку войска, перешарены города, остатки вражеских войск, голодные и замерзшие, сдаются целыми частями. Уже наполняются утром улицы служащими, спешащими на новые службы, перебирается правитель из вагона в светленький домик, где трещат сухо камины, тяжелым шелком свисают драпри, лежат ковры, стоит в чехлах мебель прежних владельцев.

И ночью снова ходит он один из угла в угол большого теплого кабинета. В камине груды жара, лилово-золотистые кочаны сожженных бумаг, текущие смуглой кровью. В руке бронзовой фигуры низкий голубой абажур; на стенах моря, корабли в оранжевых рамах. Где их прежние хозяева, богатые купцы, сибирские пароходовладельцы, щедрые приискатели золотых плодоносных приисков,—на далекой-ли Лене, в недрах ли голубого Алтая копали им желтый драгоценный песок? В ящиках стола груды писем, пепел былой жизни,—а в дальней светлой комнатке, бывшей детской, находит сероглазая женщина среди коней, плюшевых мишек, милого детского хлама—листки, исписанные кривым почерком, так похожим на почерк ее одинокого мальчика...

Но грохочет уже в нижнем этаже команда, устраивается на новое жилье, ставит козлы, вешает оружие, вкатывает пулеметы. Их двадцать шесть, рослых, белокурых, крепких, огрубевших от похода, несущих с собой крестьянское латвийское здоровье, скучающих по опасности. Через двор ведут лошадей, блестит в открытых дверях сарая машина,—начинается в доме новая жизнь.

IV.

Мороз, полярная ночь. В ледяном воздухе туманная дымка стужи. И чище, холоднее серебрянный Лебедь и дрожащая Вега среди мириадов осколков, осыпавших небо до дальних гор, до хребта, над которым недавно лишь нежно горела розовая заря. Это путь к югу, где сияет и стынет золотой поводырь—червонный Юпитер. А кругом равнина и равнина, сверкающая застывшими кристаллами снега, ни звука, ни ветерка, только ухнет вдруг треснувшая от мороза земля. Ледяной стужей скобан полярный круг. Но кого легко, бесшумно несет судьба по этой пустыне, чей звучит над ней голос глухим жужжанием? Это каюр-ямщик, старый тунгуз на своей легкой передней нарте. Нарта за нартой скользят беззвучно вниз по равнине, к руслу реки; только стучат рогами да звенят копытами о землю олени. Ноздри их заледенели, крутой горячий пар рвется из них, и перебирают легко своими стройными ногами влажноглазые покорные важенки. Сидит каюр-тунгуз, помахивает над оленями длинною палкой, то выпростает ногу в оленьих камусах и пробежится рядом, то снова садится, смотрит вперед своими старыми слезящимися глазами; и напевает.

О чем поет полярной звездной ночью тунгус и кого везет в своей легкой повозке с поднятым верхом: колымского ли купца, скупщика пушнины, русского ли тайного спиртоноса или казака-якута, спешащего с бумагами в большой город Якутск? И скользят, нарта за нартой, спускаются к руслу реки, через которую легко несут олени по нáледям. Поет каюр свою заунывную песнь. Поет он о том, что везет теперь путника по руслу, а дальше будет ущелье, задует ветер, и близка юрта станции, где жарко горит камелек. Стучат олени рогами, помахивает возница линною палкой, а золотой Юпитер все светит и светит на юге, указуя путь.

Крепче мороз, ухает чаще земля, и жужжит, жужжит в ночи песнь. Вот миновали русло, медленнее бегут олени по под'ему в ущелье; закатывается звезда за снежную пику. Южный ветер проносится и ледянит дыхание. Медленно, шаг за шагом, взбираются олени к вершине, поскрипывая ремнями нарт. Все ниже, светлее небо, словно полыхает на нем зарево белого пожара, и вдруг засияло, засветилось над снежною кручей, где стали олени, бросая горячий пар. Серебряным огнем горят в черном небе звезды, а на севере светит, неспокойно дрожит, перемещается великая дуга полярного сияния. Перистые тучки, зеленоватые, алые, дрожат под ней и уходят к верху, раскидываясь нежным, мохнатым, бледно-изумрудным, розовым веером. Горит Север этим неспокойным, неверным огнем, светящиеся облачка проплывают в нем, как перья синекрылого лебедя,—это светит Мир своей последней полярною нежностью, невидимый, незримый, вечный. Выше лента дуги, вот две дуги охватывают на зените Землю, дрожат, меркнут,—и, светящийся меч возносится над застывшей равниной, над дальними горами и хребтами, куда ведет путников путь. Спускаются олени в долину, легче, быстрее бегут, чувствуя близкий отдых и корм. Еще безлюдна равнина, нет ни жилья, ни занесенного снегом кустарника,—но уже льющимся золотом светится морозный туман, рвется сноп искр из трубы юрты—малой станции.

Сидят скоро путники перед жарким камельком, пьют горячий чай, потирают застывшие лица. Подбрасывает хозяин-якут в огонь куски дымящего кизяка, и жарок короткий сон...

Но не отцвели еще звезды на небе, а уже перепряжены олени, снова в путь. Бледнеет небо, как ледяные иглы тают в синеватой мгле звезды, гуще туман, крепче перед утром мороз. Бегут по сторонам время от времени кустарники, низкие кедры—мутнеет короткий полярный рассвет. И медленно вскоре начинают олени под'ем. Все чаще дышит красивая тонкая важенка, и последняя звезда как зеленый паук цепляется между ветвистых рогов оленя. Но вот померкла и она, и всходят олени на вершину. Открывается снежная панорама, горы уходят одна за другой своими белыми ребрами, синий туман стоит в ущелиях, и вдруг розоватый трепет пробегает по склонам, розовое дыхание проносится над миром, ало-золотистый обруч ложится над одним из хребтов—и все мягче, нежнее становится снежная пустыня. Новое солнце встает над равниной, загорается венчик рдеющим углем—и смотрит старый каюр на солнце своими слезящимися глазами. Сколько раз светило уже оно людям, и как мало научились они его нежности и теплу. Легко бегут олени по склону, спят путники в своих оленьих кухлянках, надетых через голову, к верху замшей, вышитой красным. Помахивает каюр над оленями палкой, поет песнь.

Наступил час солнца, настало время путникам разомкнуть глаза. Блестят снежные белки на горах, расходятся путники по своим делам. Пришла пора взойти солнцу, пришло время путникам кончить путь.

Москва. Март, 1921. **Вл. Лидин.**

---

* * *

Барабаны воркуют дробно,
За плотиной ввечеру...
Наклоняться хоть неудобно,
Васильков я наберу.

Все полнеет, ах, все полнеет,
Как опара, мой живот.
Слышу смутно: дитя потеет,
Шевелится теплый крот.

Не сосешь, только сонно дышишь
В узком сумраке тесноты...
Барабаны, может быть, слышишь,
Но зари не видишь ты.

Воля, воля! влажна утроба!
Выход все же я найду.
И взгляну из родимого гроба
На вечернюю звезду.

Все валы я обходила...
Поднялся в полях туман.
Только-б маменька не забыла
Желтый мой полить тюльпан.

1921.

Летучее дитя *).

Звезда дрожит на нитке,
Подуло из кулис.
Забрав свои пожитки,
Спускаюсь тихо вниз.
Как много паутины
Под сводами ворот!
От томной каватины
Кривит Томино рот...
Я, видите-ли, гений:
Вот крылья, вот колчан,—
Гонец я сновидений,
Жилец волшебных стран.
Летаю и качаюсь.
Качаюсь день и ночь.
Теперь сюда спускаюсь,
Чтоб юноше помочь.
Малеванный тут замок
И ряженная знать,
Но не легко из дамок
Обратно пешкой стать.
Я крылья не покину,
Летучее дитя,
Тамино и Памину
Соединю шутя.
Пройдем огонь и воду,
Глухой и темный путь,
Но милую свободу
Найдем мы как нибудь.
Не страшны страхи эти:
Огонь, вода и медь,
А страшно, что в квинтете
Меня заставят петь.
Не думай: „не во сне-ли?",
Мой театральный друг,—
Я сам на самом деле
Ведь только—прачкин внук.

М. Кузмин.

1921.

*) Стихотворение имеет в виду оперу Моцарта «Волшебная флейта», где «летающие мальчики» проводят героев—Тамино и Памину.

П е с.

(Рассказ).

1.

На черном выгоне пасется не телка, а пестрый мокрый пес.

Должно, пес спятил с собачьего своего ума. Иль голову ему продождило.

Не то как понять: зачем лает пес на трубу Пельмана, литейного заводчика?

Бывало, гудит жадная, кирпичная кувалда, харкает дымом. Нынче ослабло. Заводский корпус пощипали снаряды.

Чем только нынче пробавляется Литейная Слобода, каким кормом упихивает брюхо—не понять даже псу...

А пес—известно, рыскучий зверь, до всего дохож. И нюх песий вострее глазу.

Да не наша забота—слободские тощь и нужда, чорт с ими...

Нам путевать по раз'еденному кострами и мотыгой корчевью, где горелые пенышки строятся стройно, за желваки идти нам на лихой, черный выгон, что дотянулся пальцами до срыва и обвалился навзничь в узкую, камешковую реку.

Река бурна, рвуча и зубаста.

А рудяные выемки, когда в спокойные года руду рыли, под'емисты и высоки. Макушкой торкают облак.

Снизу-то видать. Ну, а поверху народу глядеть просто: выгон и выгон...

Ничего.

А место тут занозистое и смертяное.

И у воды, где в охапку пучится воспаленная, сырая трава—живет пес.

И слышно по ночам—как вода камни моет и заливается песья тоска.

А, может, радость? Кто знает...

Нам пса понять никак невозможно.

Место это унывное, может, только один пес понимает.

Да.

2.

Родина наша неуютная, мать-осень...

Ночью слышим—под молотком дробится стекло. Хрупка осенняя ночь.

Это—летучка дребезжит по рельсам, звякая буферами.

Курлыкают мирно немазаные оси.

Подходя к «Пельмановке» летучка разом влипает—что муха. И начальник полустанка меняет машинисту жезл.

Три теплушки—красные, потные, сырей червя дождевого, вдруг разевают рты, и оттуда тише слюны ползут серые люди.

Остроколом сомкнулись штыки.

Пошли по выгону.

Хлюпает, захлебывается под ногами трава.

Берегут воду земляные, сытые водой пролежни. Тяжела земля. Не легче взлохмаченное небо. Прижалось к выгону.

И вот сойдутся они—два жернова?

Куда деваться?

Но конвой идет спокойно и звонко, зная—что под ногой—вода, впереди—черный выгон, в середке—арестованные, а ждет—дело, а над головой хлябь.

Ежели хлеб ешь, сапоги носишь—привыкай ко всякой хляби.

Жизнь ведь черная, гладкая,—голая жизнь—как выгон.

Ничего нам не страшно.

Вот и сопровождающему арестованных, фельдфебелю контр-разведки Корнееву будто и не страшно смотреть на пса, потому что жизнь у Корнеева правильная и полковая,—в походе бывает так, что не только о чем либо подумать, а и табачку свернуть некогда.

Оттого, знать, лицо у Корнеева отчетливое и шаг четкий, и рыжая борода кругла, как литавра.

Арестованным не поспеть в ногу с конвоем.

Нога у их мокнет в грязи больше—всегда бывает так.

И чем ближе к унывному месту, тем крепче вязнет нога...

И не отодрать ее...

ногу.

А Корнеев легко идет. С разговорцем.

— Будет завтра, ребята, затменье. Приказ штабные читали, чтобы солнцу затмиться. Вот, сукины дети, знают...

И конвой, и арестанты грохочут.

— И-им по карте видать!

Так трава живет, землю буравя и хлябкой осенью и талою весной.

Все к месту.

И потому теперь на черном выгоне нету крику, иль стону.

Из-за нечесаного, в лохмах неба угрюмо моргает звезда...

а не собачий-ль глаз?

Корнеев команду подал твердую, как барабан:

— Ар-рестант, вещи сымай!

Ежели русского человека подвести к смертной звезде и сказать: твоя судьба тут.

Поверит, а ухмыльнется—и не поверит.

Земля что ли у нас грубая, несуразная—рожает походя, как припадет.

Не знаем: умирать иль щи хлебать...

Арестованные коммунисты—красноармеец Петька и комиссар 5-го дивизиона Рыбин подошли к Корнееву.

И хоть темно было, а все-ж видать, что Рыбин весь в черном и кожаном, узок и жилист, как угорь.

— Эй, начальство, успеешь... Дай сперва курнуть.

— На последях курнуть...

Разбились голоса.

— Курнуть?

Подумал Корнеев, разгладил рыжую литавру.

За нас думает болотная галь, столб на насыпи, или пес... Мало ли кто? А нам некогда, у нас...

— Ну, без промедлений чтобы... И раздевайсь.

Закурили.

Слова мешались пустяковые, ненужные, как туман.

Один Корнеев хозяйственно наказывает конвою:

— А целься прямо на ветлу. В самый раз выдет.

И не торопит.

И оттого по выгону спокойно, а в небе – истлевает звезда.

— Ставь усих в край, опосле свалим на обрушину, в реку... Водой их смоет.

Корнеев говорит глаже ружейного приклада, внятно каждому.

Стало прояснивать. Мелькнуло солнце,—упало, в рыжую бороду, золотом.

В перстенек корнеевский на правой руке серебром упало.

На перстенек-самоцвет улыбнулся Корнеев.

— Ну, ребята, пора.

Река брякает в камнях. Поутру свежей у земли голос.

Шло утро, как розовая девонька, с убранными холками, в новине - в скрипучих лапотках.

Комиссар Рыбин не видит,—о себе старается и Петьку учит:

— Норовите ближе к краю. Лови момент и падай в обрыв. Понял?

Вздохнул Петька, покусал крепкий ноготь.

— Да не робей, чорт. Так или иначе, чего теряем...

Рыбин - городской, упорный человек.

А Петька—деревня.

Борода рыжая пылает. Тепла жалко, матку.

Парнишкой будто в свайку дует, а рыжий дед, на завалине сидя, лается.

— Ты, лешой, свенчаткой-то стекла не побей!

Махнул на Петьку Рыбин и, молча, начал стаскивать сапоги.

Сапоги упираются.

И Рыбин думает, как всегда, по старому:

— Эх, зря узкие заказал... чистая мука...

Когда свиней режут, от визгу хоть уши рви.

А мы можем тишей дерева помереть.

Плечом дернем—и ничего.

Отобрав вещи, фельдфебель Корнеев поставил арестованных на сажень от срыва.

— Пора, рёбята.

И шеврон у него на погоне застыл вкусно, что жир на холоду.

— Сапоги-то у тебя щегольские, парень... Отдай мне.

Примерил к ступне подошву.

Отцыкнулся.

— Эх-ма, не влезут,—жалко... Ну ладно, загоним.

И заботливо пощупал головки.

А Рыбин ничего не сказал. Поджал угрем бритую губу.

— Сволочь!

По черному, из'еденному выгону—у обрыва расставлены арестованные.

Голые, белые—точно зубы в пасти.

А в трех саженях конвой взял на прицел.

Рыбин еще папироску докуривает—ежится губа.

— Ма-лись!—скомандовал фельдфебель.

И сразу вторую команду:

— Ааа-гонь!

Гаркнул залп—упал Рыбин в обрыв.

Фельдфебель подскочил и послал пулю из револьвера вслед Рыбину, летевшему вниз, что папироса—только голова чернела.

И заглянул на камни—в реку.

— Ишь, турманом... так и режет. Дурной. Убечь хотел в царство небесное—пешком.

Кашлянули солдаты.

Но смеху не было.

Потом, подойдя к Петьке (Петька еще царапал ногою землю) звонким сапогом строго попробовал вялую голову, и еще пустил в упор—последнюю, контрольную пулю.

— Теперь скидай...

Шмякнул труп об реку, а осенняя полая вода—густа, и лопнул он, резко хряснув, как стакан.

Конвой спотел от работы.

Из-за горы горело уже солнце, огромное, ноздреватое, румянее сочня.

И тут, будто из пня, вывернулся пестрый, жадный пес.

Корнеев пнул его носком.

— Брысь! Не спроста, что-ли... Ишь, дико́й.

Пес отбежал, палкой напружив жесткий хвост. И упираясь лапами в землю, вытягивая кривую и острую, точно шило, морду к заводской трубе Пельмана, заскулил протяжно и истошно.

3.

На слободском отшибе, в дырявой бане живет Симка, лёжанная и гулевая баба. Глаза у нее заманны, вертлявые—не глаза,—галки.

Слушок был, что Симка шинкарит. Да как же ей и не шинкарить. Спина у ей жирнее налима. Надо же бабе пропитаться чем либо. Такое тело огородом не ухолишь.

Баба милая — пахнет от ее, что от пахоти, хорошим пьяным по́том.

Когда гости в слободу заявляются, их приваживают всегда к Симке. Иначе негде. Слобода нага и тоща—там не до гостей.

Фельдфебель Корнеев с отрядом постой суточный нашел тоже у Симки.

Нынче у Симки угар.

В печи пирог, а на столе соленые огурцы и стопочки.

— Ребята, угощайся... Эх, Симка, огурец у тебя дуплястый, а то хороша закуска.

Корнеев ломает огурец пополам, отхлестывает с него воду и грызет с хрустом.

— В нашем ходе, ребята, и кот запьет. Прими, Симка.

Расплескивая, одной рукой подносит стопку Корнеев, а другой играет по бабьей узорчатой кофте. Дразнит лукаво перстеньком.

— Отцапися. Успеешь.

— Успею? Хы-ыы... а у меня, может, пожар горит... Так, ребята?

Солдаты смеются. От смеху еще хмельней Корнееву.

— А ты говоришь, успею. Да я, может, на пожаре живу. Что? По какому параграфу смеешь отказывать?

Прижалась баба к печи. Сама ее больше, теплее.

Галки вертятся. Перстенек бурмистрово зерно—клюют.

— Ужё.

— Узё... Узё... жид обещает, а ты крещеная. Где хрест у тебе, куды дела?.. Хрест верней пачпорта.

И за жаркую бабью пазуху лезет, что в печку, пальцы жгет.

— Отлипни.

А самой лестно. Борода ведь Корнеева круглая, литаврой, крепкая.

Хорошо, когда медною бородою мужик шею щекотит.

Для виду, конечно, баба скажет. Баба, известно, существо ехидное.

— Надо с понятием, а так нечего же совать. Слава Богу, не сё-толочь какая, а военный кавалер.

Отскочил Корнеев.

Гремит литавра.

Ногами подтоптывает.

— Ту... баба! Ловко в шеренгу поставила.

А весело.

Хмель в голову колотит.

Калганит.

А буйно.

— Ту! А мы беспонятные. У нас команда. Так, ребята?

Нога ногу погоняет.

А не догнать—разбегаются.

Бунтуют ноги.

Пылают.

— Ух, баба... отрыжка у меня. Запить надо. Лей!

Эх, эх, эх...

Пошел Корнеев в притопочку, колдуя четким перебором.

Память отшибить, эх!

В пляс пошел человек... а-а-а...

— Си-амка, потешь. Кавалер я легкой, а жительство мое тяжелое... Мил-лая...

И около голубем режет. Голубем.

— ... уважь душу...

Воркуют, скрипят подметки.

И эх, да эх, эх, эх-ха...

Паехали, паехали,
Хто пра-жира,
Хто пражи-ренок,
Хто есть жлукта...

Симка на припечье. Дрожат бока, что тяжелые ведра. Подкатился к ей фельдфебель, наседает бесом.

Борода горит. На погонах шевроны тают.

Хто ганец
Хто карыто
Стой, дубина! А-а...
Ак!

Упал Корнеев.

— Что пьем, то пьянеем, что живем, то блудеем... Ребята, убей меня. Ей-Богу, чего сделать с отрыжкой, не пойму...

Фельдфебеля уложили на полок—чтобы остыл.

Тою порой вечер уж небо спеленал, а по пеленкам звезды высыпали.

Солдаты полегли в предбаннике.

Баба Симка подошла к окошку—взглянуть на слободу.

Пожару, не дай Бог.

Чего с огнем бегают... Слобода лиха и гола, не остерегается.

Поглядела баба еще на черный выгон, почесалась животом о подоконник и, оправив у кивотика лампадку, полезла к фельдфебелю на полок.

4.

Горючие камни, песок, промоины в берегу и бурьян.

Лежишь у воды, что в корыте, а наверху небо.

Когда впитали камни вечернюю росу, комиссар Рыбин очнулся.

И сразу сердце ошпарило кипятком, сразу оно спотело и теплые обручи поползли к коленам. Шумела кровь.

— Жив!

Ощупал ноги. Одна пудовая, бухлая—не поднять.

— Пустяки... жив!

Лежал и слушал, как грохочет живое сердце. Не сердце—завод.

А над головой небо, тихое и благостное, как книга.

Ропочет сбоку бурьян.

Там ветер и птицы.

— Жив!

И ничего, кроме одного этого слова, придумать не мог Рыбин.

Будто все до него померкло; крестом перечеркнуто все, что было до минуты, когда нащупал ногу и ощутил сердце, и понял, что не то важно—жил или не жил Рыбин, убил или его убивали, а важно понять: птицу, ветер, то—что не слышишь, не видишь, а знаешь.

Кружится земля.

Под телом шуршат зерна песку, рядом моет гальку вода и урчат твердые камни.

Рыбин встал на колена.

Хочет идти. Трудно. Нельзя.

Отполз и прижался к траве, пестрой и ситцевой от ночного свету.

Как зовется трава, Рыбин—городской человек, не знает.

Если-б и знал—не вспомнить.

— Жив.

Отдыхало и шумело в теле.

А Рыбин обернул уши внутрь и слушал, как стучит в теле завод.

И не заметил, что подошел к нему пес—пробуя зубами плечо.

И только тогда, когда уткнулись в упор чужие, жестокие глаза—понял Рыбин.

— П-шла.

Пес удивился. Взвизгнул. Но остался на месте.

Пестрая, мокрая шкура его отливала снегом.

Глаза у пса были настойчивые и старые, и сам он казался старым, старее земли и холодней камня.

— П-шла!

Пес вздохнул.

И почудилось Рыбину, будто, отвернувшись лениво задом, пес улыбнулся.

И потому, как нагло торчал и мотался в двух шагах от Рыбина жесткий, песий хвост—видно было, что пес издевается и ждет своего часа.

Липли от боли глаза.

Рыбин хотел еще немножко отдохнуть, но когда трава под спиной сделалась совсем приятной и теплой, рядом вдруг кто-то начал жмякать, рвать и захлебываться.

Приподнявшись на плече, Рыбин увидел, что пес грызет человечью ногу, отдирая когтями жилы.

И песий зад дрожит от жадности.

— Труп!

Крикнул Рыбин, и крик разбился о берега.

Нашарив ладонью щебень, Рыбин бросил им в пса.

Но пес даже не обернулся.

Лишь зарычав, сердито отбросил песок задними лапами.

Рыбин испугался—ощупал свои ноги.

— Нет... это труп.

И пополз от пса по обрыву.

Пес лаял.

Стало страшно, что он удержит.

Ведь, пес живет в обрыве, как хозяин, хозяйствуя над водой, камнями и мясом.

Когда, добравшись до черного выгона, Рыбину удалось стать на ноги, и он, хромая, наугад выбрал путь, опять ошпарило кипятком сердце:

— Жив!

Молитву забыл, а помолиться можно-б...

Разлезалася под ногами осенняя земля.

Рыбин торопился и падал, и ветер трепал его, хватая за широкие, белые подштанники, точно собака.

А когда, где то с отшиба моргнул навстречу огонек—якорь, радостно кликнул Рыбин, падая от боли, от слез на оконце:

— Люди! Люди!

5.

Но там была контр-разведка.

Рыбина внесли и уложили на припечье.

Еще зевали со сна солдаты, и Корнеев, спускаясь с полка, путался на ходу в гашнике от синих рейтуз.

— Засупонило, Матвей Корнеич.

Смеялись солдаты.

А сверху заглядывала Симка, протирая любопытные галки. И тоже слезла, вслед фельдфебелю, запахивая на груди рубаху.

Груди еще не проснулись, еще гудят они и жгутся с ночи.

От этого Симка злеет. И голос у ее хрипнет.

— Ну, его, кого голого выудили... что простынка.

И посмотрев на белое тело, узкое и мокрое, как у угря, плюнула.

— Лавку то опоганите...

Не любит баба таких.

— Да верно, невись что... склизняк.

Симка любит тугих и горелых, чтобы землей от их пахло и крепкой волос по телу рос, щекотал.

— Заткнись, дура жадная. Раскладай его, ребята.

Рыбин молчит, и опухшая нога тянет тело, что болванка.

Увидал Корнеева. Понял. Опять спотело сердце. И одно забилось—тайное:

— Спаси... спаси...

Будто ножом по горлу.

Рыбин закрыл лицо руками.

— Чей ты есть человек, в голом виде, а?

Прячет лицо Рыбин, что в коробку.

Корнеев нагнулся ниже и растрясся вдруг со смеху, точно яйца бьет.

— Ай, ребята, да ведь это наш... турман-то... Ну и парень ловкой... Ну чего теперь, побежишь, а? Симка, накрой его корявкой какой. Теперь, брат, не улепетнешь, ни-и... теперь я тебя представлю прямым сообщеньем.

Рыбин сказать хочет. Да язык вязнет. И болванка тянет ко дну. А холод моет бока.

Конец?

Пес-то лаял. И стало сразу—все равно. Вот и пес взглянул жестоким глазом. Дождался пестрый.

Ладно.

Опалило баню туманом.

И Рыбин потерял память.

Солдаты опять ушли в предбанник: досыпать.

Фельдфебель же, икая, крестился, точно баранки в рот пихал.
— Нет, теперь мне не заснуть, шабаш. Сон у меня противный, ежели перебьют, пропасть можно.
Чесал бороду—и скребся у стола, что крыса.
— Теперь не убегешь, ни-и... Тоже летчик называется.
А Симка завалилась на печь. Кряхтит. Переворачивается. Так неспокойный боров брюхо чешет.
— Ты бы, Симка, встала. А? Ей-Богу... Чайку бы заварила что-ль... Не заснуть мне. Нынче затменье сонцу быть, в штабе читали, знаешь?
А Симка с печки еле-еле:
— Затменье сущее...
Вздыхает, что кислая, стоялая опара.
А Корнееву хочется на живой разговор ее свесть.
— Подумать только, до чего народ дошел... Да что ты кряхтишь? Иль блохи тебя оглодали?
Вдруг с печи скатилась Симка. Об пол треснулась звончей горшка.
— Вон, ирад, вон, рыжая каменюга, вон уходи. Кабы знать, что у те руки мараны, дык...
Обиделся Корнеев, но разговор у его фрунтовой и ясный—не выспоришь:
— Дык, дык... не подходящая ты баба! Как понимаешь? Служба. В сапогах ходить хочешь, пить—есть хочешь... Дык!
Тут стукнули в оконце—зовет.
— Симка.
Вышла баба из бани, клямкой жалобно звякнула.
— Кто здесь?
За частоколом жмется Панька из слободы.
— Я, баба Сима...
Шепчет сам и давится.
— У тебя ночуют эти..
— Ну, ночуют... чего?
— Ничего... Ты их придержи.
И дернулся, чтоб бежать, хвост задрав, вроде теленка.
Да Симка схватчива.
— Не-е, стой, чего тебе, говори пред Истинным?
Пинжаченка у Паньки переметаный, еле висит.
— Не знаю. Зарезать будто хотим. Нынче Литейная бунтует.
Всплеснулась Симка.
— Осподи, за советскую, что-ль...
— Не знаю. Гудок ставят опять. По гудку чтобы...
И уж пятки грязь хлещут,—убежал.
Вернулась Симка.
Не то на печь лезть, не то чай рыжему ставить.
Муторно бабе разбирать и темно.
Понятье бабье, что колодец, нельзя мутить.
Весь вкус спортишь.
А Корнеев мужик с чином и тугой, правильной. Да озлобили бабу, кинулась на него:
— Уу... ирад .. Аслабани мене, уд-ди с‘ызбы. Зарежут вас поничи заводские.
— Слобода?
Мигом Корнеев сообразил, что делать.
Борода наежилась, дрогнула.
— Восстанье? На коммунью сторону?
— Не знаю. Удди!
Собрал солдат, вещи, наспех, шинель на плечи—и бабу ласково за живот уколупнул.

— А ты, приятная, заткнись. Придержи их, понимаешь?

Вспомнила Симка Паньку и слова Панькины, такие же—смешно...

Жует баба смешок, что волчью горькую ягоду.

Понимает.

А я тебе перстенек подарю, приятная. Самоцветного хочешь?

Снимает Корнеев кольцо с пальца.

Глаза у бабы прожорливы, галчьи.

Подумала, взяла.

Солдаты ушли, звякнув клямкой.

Корнеев в спешке забыл в бане рыбинские сапоги и свою гимнастерку.

Да не вернулись, когда тут...

Сидит Симка на лавке, нехорошо жует губами горькую ягоду.

Ждет.

Заутрело.

Улыбнулась теплу баня.

Рыбин лежал на припечье—узкий и белый, закатив крепко глаза.

И лоб у его засинел.

Поглядела на его Симка, пожевала наливною губой.

На перстенек—зерно бурмистрово—полюбовалась.

И опять на Рыбина перекинула взгляд путаный, что узорное полотенце.

— Счастлив лядащий, живым выдешь...

Жгет бабью грудь не то ягода волчья, не то самоцвет—жадный камень.

Не знает баба.

Улыбается.

6.

Небо русское—цветом помягче голубя. Родные просторы—зола, корчевье и пни.

Сухота. Старого лесу нет. Птице негде отдохнуть.

А нынче еще тухнут поля.

Прибывает на солнце тень.

Будто ломает его кто с краю, что краюху медовую ест.

Уж жирный кусок отхватил.

Слободские идут по выгону с винтовками, прямо к Симкиной бане.

Черно. Конца выгону не видишь.

Банька сжалась. Впотьмах от желвака не отличишь.

Над слободой спиралью сгибается пельмановский, заводский гудок.

Начали.

В баню вошли уверенно.

Сапоги у них не молотом-ль клепаны?..

— Показывай.

— Нету их...

— Чего?

Дядя Катагоров, слободской слесарь—удивился. Тавлинку достал из сальных, копченых штанов.

А голос мерный—что станок. С кашлем говорит, горло попорчено.

Понюхал. Чихнул, табак с усов стряхая. А борода брита.

— Упустила, стерва. Тебе-б...

Поддало Симку.

— Сам едакой. Ушли. Не с пушки-ль я-ль палить тебе стала-б...

И нахально задрала ситцевый подол.

Но Катагорова не собьешь. Обернулся к своим. Те в углу— тучей.

— Дела. Вспороть ей разве организм...

Опять к Симке.

А она:

— Не знаю.

И сам Катагоров между ней и своими, что тяжелая чугунная туча.

Ух-ха...

Вздохнули веско.

— А это кто?

Симка подолом утерлась.

Злее на чугунную тучу глянула.

— Не знаю...

Нагнулся Катагоров, фельдфебелеву гимнастерку заметил.

Поднял.

— Ишь, блястит шкурка... Его?

— Не знаю.

Заплыл хитрый бабий глаз.

— Вона и сапоги, форсистой сволочь... Тоже не знаешь? Паскуда...

Дядя Катагоров показал бабе сердитую чугунную спину и, осторожно подойдя к Рыбину, скинул с тела корявку.

— У, настоящий белой... Пузо узкое, шелковое...

Ухом к груди приложился.

Послушал...

— Ничего... работает...

И будто делом—правую руку к своим протянул.

— Струмент, товарищи, подай. Да не то, револьверт свой у мене. Тут нужно тихой... Береги пулю.

Нажал литым ножиком по горлу и горло, точно замок, отомкнул.

Рыбин хлипнул. Поджал ноги. Опомнился.

— Жив.

А из горла уж выполз густой, багровый пузырь.

Симка завыла на печи.

— Не реви баба. Не себя режем, а этту мерзасть не жалей. Камуну заведем.

Катагоров был тверд и спокоен.

А с черного выгона, прямо на отшибе ждет пестрый пес, облизывается.

Песий нюх вострее ведь глазу.

— Не себя режем,—кашляет Катагоров.

А пес ждет, жестким хвостом мутит, играет.

А от песьего хвоста тень бежит, растет тень по солнцу.

И все суровей, все темнее тухнут голые поля.

Поле за поле.

Черен наш выгон. Земли черней и суше.

А пес старее земли и холодней камня.

И шкура его отливает снегом.

Ник. Никитин.

Утешение.

(Касыда)

Я. С. Х.

1.

Был человек. Имел жену, детей,
Дом с черепичной кровлей,
Сад, колодец,
Вола, осла и слуг, служивших верно.

2.

Однажды он, идя домой, глядит
И видит дым на небе,
Слуг, спешащих
Туда, сюда,—и отчий дом в огне.

3.

Он узнает, что нерадивый раб
Поджог в саду солому,
Испугался,
И, бросив дом, бежал от наказанья.

4.

Вскипев от гнева, поспешил и он
Тушить пожар с другими,
Суетиться,
Таскать добро, кричать, хрипя, в дыму.

5.

Но дом сгорел. Жена свела детей
К испуганным соседям.
Головешки
Еще дымилися на пепелище.

6.

— Построим снова!—молвил человек:—
Верни-ка, друг, кубышку,
Что отдал я
Тебе хранить на наш на черный день!—

7.

В кубышке было золото. Сосед
Его давно расстратил.
Молвил:—Что ты!
В бреду с беды? Какая там кубышка!—

8.

Взревев как зверь, ударил человек
Неверного соседа.
Тот свалился—
И умер. Был виновник взят в тюрьму.

9.

Жена-же с бесприютными детьми,
От одного к другому,
С униженьем
Скиталася,—и хлеб их стал им горек.

10.

— Будь я одна, мне было б легче!—Так
Подумала однажды.
Слышал, верно,
Ее злой дух,—и смерть взяла детей.

11.

Не снесть-бы ей потери, но ума
Она лишилась с горя.
И в припрыжку
Ушла бродить, играя с кем-то в прятки.

12.

Да со смешком, блудя глазами, рот
Как дети, оттопырив,
Оступилась
И утонула в тот же день в пруду.

13.

Меж тем судья, все дело разобрав,
В нем не нашел убийства.
Отпустил он,
С советом быть разумней, человека.

14.

Тот вышел и спросил, где сын?—Погиб.
Спросил, где дочь?—Погибла.
О жене он
Тогда спросил, и был ответ: мертва.

15.

Он на чужой порог присел без слез.
Очами напряженно
Высматривал,
Как-будто бы читал перед собою

16.

И шевелил губами про себя.
А раб, их дом поджогший,
Днем и ночью
Тем временем терзался в злой тоске.

17.

И так несносен сердцу был укор,
Что в жажде облегченья
Воротился,
Бил в грудь себя и пал пред человеком:

18.

— Прости, прости!—Тот взор в него упер,
Узнал и, торопливо
Продолжая
Немую речь свою, сказал рабу:

19.

— Не ты,—сказал он,—в этом виноват.
Ну, ты поджог солому,
Правда, правда.
А дети? А жена моя? А злато?

20.

— Уж тут не ты! Иди себе, иди.
Коль хочешь, так прощаю—
Обратился
К нему очами и простил его.

21.

Упала тяжесть с совести раба.
Вскричал он:—Друг, спасибо!
Не забуду
Всю жизнь мою, что мне сейчас даруешь!—

22

И встрепенулся бледный человек:
— Ты говоришь, „спасибо"?
Ведь лишен я
Теперь всего: я гол, как перст, я нищ,

23.

Нет у меня на маковку добра,
А ты сказал „спасибо"...
Неужели
И нищие давать дары умеют?—

24.

И встал тогда, и ходит человек
К болящим и скорбящим.
И находит
Такое слово, чем кому помочь.

25.

И не бесплодны скорбного слова,
А сам он ликом светел.
Божьим детям
Дается, утешая, утешенье.

Мариэтта Шагинян.

13 апреля 1921.

Подземные ручьи.

... «участвуют все инструктора»—вдруг одна нога взлетела на воздух, за ней спешит другая, слишком просторная калоша изображает неискусно цеппелин по непрочной мартовской синеве, а туловище Струкова через старое пальто чувствует холодную лужу. Он даже не поспел с упреком взглянуть на обледенелый бугорок, с которого так неожиданно свернулся, засмотревшись на об'явление скетинг-ринга. Недостаток прохожих не дал падению Струкова сделаться уличной сценой. Мальчишки с папиросами были далеко. Но компания деловых людей на время перестала произносить варварские названия разных учреждений и поспешила пройти, да старуха с мешком сочувственно заругалась и запророчила, вроде Мережковского, близкий провал всего Петербурга.

Павел Николаевич отряхивался, не отодвигаясь от беспрерывно капавшей на него воды, как услышал, очевидно, к нему относившиеся слова:

— На вас льет, и вы стоите в луже. Вот ваша калоша.

Молодая еще дама пробиралась к нему, осторожно держа грязную, отлетевшую калошу. Струков растерянно шаркнул ногой по воде и зачем-то представился. Дама улыбнулась и проговорила:

— Это не важно. Не то не важно, что вы—Струков Павел Николаевич, а то, что вы свалились.

— Для вас, конечно, это не важно.

— Да и для вас не особенно. Неприятно, конечно, но важности особенной нет. Петербург от этого не провалится. Только не чистите платья, пока оно не высохнет. До свиданья.

Струков почему-то очень хорошо разглядел и запомнил совсем обыкновенное лицо этой женщины и машинально удержал в памяти низкий и немного глухой звук ее голоса, отлично почувствовав при этом, что эта несколько унизительная для него встреча—нисколько не начало какого бы-то ни было романа, о котором, положим, он и не думал.

Максим Иванович Крылечкин был старик огромного роста, несмотря на идиллическую свою фамилию и от преклонного возраста походил на разбитый бурями фрегат. Особенно, когда он несся, ничего, по близорукости, не видя, шатаясь и останавливаясь на каждом шагу, в крылатке с дождевым сломанным зонтиком и с распиханными по всем внутренним и внешним карманам книгами. Он исстари был книжником, в свое время был закрыт, в свое время торговал у Владимирской церкви и теперь сидел в кооперативе, номинальными хозяевами которого являлись три молодых писателя, авторы небольших книжек стихов, понимающие в торговле столько же, сколько Максим Иванович в готской грамматике. От времени до времени, раза три в

год он заходил пить чай к Струкову, которого знал еще гимназистом и которому по стариковской вольности говорил «ты».

На этот раз он пришел с подарком, принеся довольно редко встречающееся «Путешествие младого Костиса» и зная, что Павел Николаевич большой охотник до мистических сочинений, издававшихся в конце XVIII и начале XIX века Новиковским кружком.

— Бери, бери не бойся. Не разоришь. В книжке четырех страниц не хватает и двадцать страниц переплетчиком перепутаны. Любителю или коллекционеру не продашь, а не любителям не нужна она. А ты ведь книги читаешь, не на показ держишь; поймешь и без четырех листиков. А мне она в придачу почти вышла от одной барыни, Петрова фамилия, Мария Родионовна. Не слыхал?

Струков о Марии Родионовне Петровой ничего не слыхал, за книгу поблагодарил и стал поить Крылечкина американским чаем, который нужно варить, а не заваривать. Но книжник еще раз вспомнил про Марию Родионовну и даже рассказал некоторые известные ему части ее биографии. Оказывается, что у Петровой еще четыре года тому назад был расстрелян муж по ошибке вместо сидевшего с ним же в тюрьме однофамильца налетчика Петрова. Последний же вскоре был освобожден, так как дело мужа Марии Родионовны не было серьезным. Налетчик не постеснялся явиться на квартиру ко вдове и просил от него не отрекаться, так как все равно этим мужа она не воскресит, а его погубит. Петрова, неизвестно по каким причинам, согласилась исполнить его просьбу, что сделать было и не трудно, так как они были приезжие и покойного мужа почти никто не знал. Но слух об этом поступке как-то просочился и достиг даже Максима Ивановича, совсем не близко знавшего Петровых. Старик не искал психологических об'яснений, а просто передавал событие, как известия о кражах, новом тарифе и холодной весне.

— И что же,—она живет с этим налетчиком, как с мужем в одной квартире?

— Нет, что ты, он тотчас ушел, говорят в ноги поклонился.

— И так с тех пор и не видаются?

— Не знаю. Кажется, иногда заходит в гости. Да он и не налетчиком оказался на поверку.

— Кто же такой?

— Кто его знает! Мало ли Петровых!

— Все таки странно.

— Она чудная, Мария-то Родионовна. Всегда довольна. Это теперь-то. А уж всего, кажется, лишилась. И не думай, что она там какая-нибудь... Петрова, конечно, фамилия простая, а ведь барышней-то она какую фамилию носила. Выговорить подождать надо,—так высока. И ничего, как ни в чем не бывало.

Крылечкин стал прощаться, отыскивая спинной мешок, который он на всякий случай всегда таскал с собою. Струкова крайне заинтересовала эта история незнакомых ему людей, и он охотно принял предложение книжника зайти на следующее утро вместе к Петровой посмотреть оставшиеся книги.

Проходить нужно было через кухню. По старой привычке холодных зим и уплотненного житья она была наполнена людьми и остатками неподходящей мебели. В простенке стояли даже старинные английские часы, медленно и степенно звонившие одиннадцать, когда посетители вступили в пар и чад. Три женщины и подросток с мешком крашеных старых досок смотрели на свет бумажные деньги, и, не обратив особенного внимания на пришедших, послали их в комнаты. Но из узкого коридорчика почти в ту же минуту вышла молодая

дама, которую Струков сейчас же узнал. Это она на-днях уверяла его, что не важно провалиться в лужу. Она торопливо провела их в просторную, очевидно, не жилую, судя по отсутствию длинных труб через все пространство, комнату и, указав на пыльные полки с книгами, проговорила:

— Будьте добры, Максим Иванович, посмотрите книги без меня, что годится, отложите. О цене столкуемся. А я очень занята. Все минуты расчитаны. С этой службой, да хозяйством не видишь, как время идет. Того и гляди, что в одно прекрасное утро проснешься старухой.

— Ну, вам еще о старости рано думать.

— Да я и не думаю и нисколько ее не боюсь.

— Какая храбрая!

Мария Родионовна слегка нахмурилась и более задушевно произнесла:

— Храбрая? Ну, какая там храбрость! а что многих глупостей я теперь не боюсь, которые прежде представлялись непереносимыми, так это правда. Впрочем, моей заслуги в этом мало.

— Да, жизнь всему научит.

— И слава Богу, если научит.

Струков зачем-то вступился:

— А ведь мы с вами встречались, и я даже вам представлен. Струков, Павел Николаевич.

— Вероятно, давно еще в провинции.

Петрова не смутилась, но неохотно взглянула пристальней на покупателя.

— Верно, боится, что я знал ее мужа,—подумал Струков и поспешил добавить:

— Дня четыре тому назад на Бассейной.

— На Бассейной?

— Да, я, простите, свалился и попал в лужу.

— Да, у вас был довольно таки жалкий вид, значит, мы—старинные друзья,—весело закончила хозяйка и протянула руку, которую Павел Николаевич поцеловал, хотя у него мелькнула странная уверенность, что это—не начало и не продолжение романа.

В разрозненном томе Вольтера Струков нашел мелко исписанную тетрадку. Не подумав, он начал читать и опомнился только когда кончил. Тогда же он сообразил, что это—не дневник позапрошлого столетия, а заметки последних лет и, всего вероятнее, самой Марьи Родионовны. Тогда же он обратил внимание и на строчку вверху тетрадки:

— Читать после моей смерти.—

Но кто же предполагался читателем? Во всяком случае не он, не Павел Николаевич Струков. Ему было страшно неловко, но дело было сделано. Бежать сейчас к ней и признаться, или все скрыть? Может быть, она схватится этой тетрадки и будет еще больше волноваться, не зная, в чьи руки она попала. Там были и куски дневника, и мысли, и выписки из книг, чаще всего (или это так показалось Струкову) именно из «Путешествия младого Костиса», которое, очевидно, за последние годы внимательно было прочитано.

И почему «после смерти?» Что побуждало молодую женщину искать выхода такого непоправимого из положения, и что ее удержало?

Отрывки из тетрадки. Дат нет, но, повидимому, все написано в 1918—21 годах. Струкову запомнились они не в том, может быть, порядке, как они следовали один за другим в рукописи, но так, как

они в голове у него соединились, об'ясняя автора. Может быть, более драматические сцены, более важные мысли им опущены, но то, что запомнилось, запомнилось не без причины же. Какой то подземный ход души за этими разбросанными кусками был ему ясен.

«Конечно, я нисколько не запомнила его лица и только на третий, на четвертый раз разглядела. Он простоват, но красивый и стройный. Полувоенная форма (как теперь говорится, «комиссарская») очень идет к нему, как и ко всем молодым людям. Когда Яков Давыдович в 45 лет напялил френч, это, конечно, смешно. Но видеть его мне очень тяжело. Зовут безвкусно—Аркадий. Странное все-таки положение, очень романтично, хотя без всякого романа.

Хорошо, что я барышня была деревенская и не презирала никогда физических занятий. Какими глупостями у нас набиты были мозги.

Сначала мне все снились всякие любимые кушанья, теперь перестало. Я ем все. Если случается, с удовольствием покушаю вкусные вещи, но от недостатка их не страдаю. Так и во всем. Это не аскетизм, а более точная оценка наших потребностей, все становится на свое десятое и даже двадцатое место. Физические наши потребности могут быть сведены до минимума. Это большое освобождение. Жалко, что я приведена к этому необходимостью, но приобретение остается приобретеньем.

Только не терять хорошего и бодрого расположения духа,—и все выиграно. Да и кого я испугаю своею злобою или малодушием?

Название учреждения, где я служу, чудовищно, но слова в таком роде я уже читала в книге телеграфных сокращений. Это—деловитость, конечно. Помнится, у Хлебникова теория, что для житейского и делового обихода введутся цифры, предоставя слова и их полнозвучное магическое значение—одной поэзии.

Письмо от Лидии, она в Шанхае. Кто в Праге, кто в Цюрихе, Лондоне, Токио. Мы рассеялись, как в Библии, и мир тесен, как в XVIII веке. Всесветные граждане. Алексей Михайлович очень скучает в Берлине. Я думаю. Такой русский человек. И опять предрассудок. Родина это—язык, некоторые обычаи, климат и пейзаж.

Выписка из «Путешествия младого Костиса»:

«Дух злобы продолжал: для того старался, во-первых, разделить человеков на столько разных народов, сколько возможно было; повсюду возбуждал я национальную гордость, дабы одна нация ненавидела и гнала другую; везде старался ввести иные нравы, иные мнения, иные обычаи, иные одежды... Когда я разделил таким образом все народы, которые вообще долженствовали составлять одно общество, то принялся делить потом каждый народ. Разделил их на классы и отравил гордостью каждое сердце, дабы одно состояние почитало себя лучше другого, и беспорядок умножился. Через разность мнений отвел я человеков от чистейшего разума и от пути к истине, чрез самолюбие—от любви к целому, чрез корысть—от пользы общественной. Одинакие органы, одинакие чувства, одинакие нужды имеют все человеки вообще, и для того равное почитание, равная любовь и равные

выгоды необходимо должны соединять их. Равное ко всем почитание должно руководствовать ум ваш, как закон, равная любовь должна руководствовать сердце ваше, как средство; равная польза должна руководствовать действия ваши, как цель».

Конечно, это—общие просветительные места XVIII века, но истина живет в них, и я понимаю преследования со стороны Екатерины II-ой.

Земной рай—бессмысленное мечтанье, но, кажется, неискоренимое в человечестве.

В детстве у нас была ящерица. В положенное время она меняла шкуру. Нужно было видеть, как она вертела и била хвостом, терлась о стенки, старая кожа лопалась и сухими колечками разлеталась от ударов ее хвоста, покуда, веселая, помолодевшая, она не делалась ярко-изумрудной и блестящей. Так с нас, иногда не без труда, один за одним, слетают всевозможные предрассудки и зависимости, нелепые и смешные.

Мне мило многое и—очутись сейчас с Лидией в Шанхае, я не без удовольствия посидела бы в ресторане, смотря на розовое море в компании с международными моряками, но мне очень скоро это надоело бы. И потом я знаю теперь, что жизнь не в этом, что это—не главное, так же, как знаю, что не состоянием мостовых измеряется культура страны и что от неба нельзя отгородить ни вершка в личное пользование.

Не Аркадий ли дал толчок к моему перерождению? Может быть, и он,—и смерть мужа, не говоря об общих причинах. Странна только его (да не только его, а многих) жадность к жизни. Сама эта жадность понятна в двадцать лет, но направлена она на такие пустяки; на сапоги, палки, франтовство, театры. И это серьезно. Именно на то, от чего я благополучно избавляюсь. А любовь к жизни так нужна, так нужна! Но в какой то другой форме, более одухотворенной, что ли! Может быть, это упоение вещественными благами, прежде для него недоступными, и пройдет. Подумать: к какому краху привела эта слепая вещественность Западную Европу?

И потом я перестала считать свою почтенную личность пупом земли, и от этого только выиграла. Что называется «Награжденная добродетель»...

Струков все-таки отнес тетрадку Марьи Родионовне. Она смутилась немного, поблагодарила и спросила:

— Вы не читали этого?

— Признаться вам, читал.

— Ну что же делать. Вы не знали, что это секрет.

— И я вам очень благодарен.

— За доставленное удовольствие?

— Без шуток. Вы достойны удивления.

Петрова прищурила слегка серые свои глаза и сказала тихо:

— Не принимайте только, пожалуйста, всего этого за главу из романа, тем более, что муж мой, оказывается, жив и скоро возвращается из лагеря.

— Как же Аркадий?

— Причем тут Аркадий? Это—не роман, а самая настоящая жизнь. Мужа не расстреляли, а сослали на работы, положим, за вину однофамильца, а теперь и он свободен. Я верно его дождалась и даже стала лучше, приспособленнее.

Струков вдруг вспомнил.

— Марья Родионовна, можно вам задать один вопрос?

— Пожалуйста. Все равно, ведь мы, вероятно, больше не встретимся с вами.

— Почему ваши записки носят характер предсмертных? Да там и надпись даже есть соответствующая.

— Они и предполагались мною такими, а вышли «записками перед жизнью». Я собираюсь жить и даже очень.

Помолчав, она начала:

— На прощанье и я вам задам один вопрос, более простой.

— Вы бывали в Олонецкой губернии?

— Нет, не случалось.

— Это—страна диковин и колдунов. Там есть реки, ручьи, исчезающие на время под почвой, потом за много верст снова выбивающиеся на незнакомом свежем лугу. Так и я. Теперь я подземно, слепо, может быть, прорываю свой путь и верю, эта долина будет прохладна и душиста, куда пробьются верные мои волны.

М. Кузмин.

I.

Играю в карты, пью вино,
С людьми живу—и лба не хмурю.
Ведь, знаю: сердце все равно,
Летит в излюбленную бурю.

Лети, кораблик мой, лети,
Кренясь и не ища спасенья.
Его и нет на том пути,
Куда уносит вдохновенье.

Уж не вернуться нам назад,
Хотя в ненастье нашей ночи,
Быть может, с берега глядят
Одни, нам ведомые, очи.

А нет—беды не много в том.
Забыты мы—и то не плохо.
Ведь, мы и гибнем, и поем
Не для девического вздоха.

II.

Улика.

Была туманной и безвестной,
Мерцала в лунной вышине,
Но воплощенной и телесной
Теперь являться стала мне.

И вот—среди беседы чинной
Порой с растерянным лицом
Снимаю волос тонкий, длинный,
Забытый на плече моем.

Тут гость из-за стакана чаю
Хитро косится на меня.
А я смотрю—и понимаю,
Тихонько ложечкой звеня:

Блажен, кто завлечен мечтою
В безвыходный, дремучий сон
И там внезапно сам собою
В нездешнем счастьи уличен.

Владислав Ходасевич.

Прислуга.

(Рассказ).

I.

Рано утром в передней началась возня, не совсем обычная: с участием новых голосов и звуков. Кто-то притаптывал ногами, как бы отряхая снег, длинно крякал, потирал руки, вздыхал. Тащили что-то по полу, шуршали. На возню выходили из разных комнат жильцы. Вышла Зоя Феликсовна, жилица. Суетилась Катя, ее прислуга. Выходил Жиркевич, жилец. Выходил Григорий Петрович, тоже жилец. Скрипела дверь рабфаков, занимавших вшестером одну комнату.

Голоса были тихие, приглушенные. Отдельные слова и фразы доносились такие:

— Да... Тяжелая езда... Господи, твоя воля... Смололо... Совсем... да... Одному руки, другому ноги... Что? На этих самых... да... На буферах... Ох-хо-хо... Что? Да. Восемь суток... Тяжелая езда...

Горлов, разбуженный голосами и топотом, слушал, слушал, хотел встать, но посмотрел на холодную печку с холодной грязной трубой, укрылся через голову и опять уснул.

Проснулся через час и услышал тоже самое.

— Восемь суток... езда... смололо...

И опять — кряканье и потирание рук. Кто-то, как будто сокрушался и согревался одновременно.

Горлов встал, надел пальто и валенки и вышел.

В передней, где лежали дрова, стояли друг на дружке корзины, над корзинами висел велосипед, а над велосипедом сушилось на веревке белье—сидели в углу, на мешках и узлах, двое: пожилой мужик и молодая девушка.

— Вы к кому?—спросил Горлов.

— Мы к Кате,—встал с мешка мужик.—С одной деревни... Приехали... Это дочка моя. Двоюродной сестрой Кате приходится... Да... Мы тут погреться маленько... Дочку, вот, в город привез, место бы ей найтить...

— Какое место?

— Известно, прислуги... Голодно у нас... Жалованье, как говорится, не так... Главное, прокормить бы.

Девушка, молодая, пунцовая, с высоко-подвязанной грудью, тоже встала, с безразличнейшим выражением разглядывая дверной косяк.

— Езда была тяжелая... да... Двоих из нашей деревни, с нами вместях ехали, смололо... Одному руки, другому ноги. На буферах ехали—ну, известно, заснули... Господи, воля твоя...

Из комнаты Зои Феликсовны вышла Катя и вынесла своим гостям по чашке чаю.

Горлов повернулся, чтобы уйти к себе, но Катя окликнула его, попросила тоном легкой светской общительности:

— Николай Матвеевич, может—знаете, кому прислуга нужна... Спросите...

— Хорошо. Спрошу,—ответил Горлов, и вдруг—так просто и складно подумал: «а не нанять ли ее мне?»

Подумал так просто, точно это была не новая, острая, неожиданная и немного страшная мысль, а самая обыкновенная, привычная.

Он зашел в свою комнату, сел на кровать, огляделся, задумался...

А задуматься было над чем: комната у него была маленькая, прокопченная, сырая, пол—черный,—по углам—мешки с картошкой, корзина с щепками, сундуки, платье, бумаги, книги. На подоконнике—сложная дрянь из давно немытых кастрюль, сковородки, чашки, каких-то банок, двух-трех тарелок, ножа, вилки... Все это было заскорузлое, отвратительное, гнусное... Из тарелок торчали папиросные окурки, какие-то бумажки...

Дальше, около печки—дрова, те самые, сырые, что выдали на службе, по ордеру...

А самая печка—этот его личный и злейший враг... Сколько часов потерял он, стоя на коленях перед ее жестокой оскаленной пастью и приходя в бешенство от того, что она не растапливалась...

А колка дров! Особенно с тех пор, как по предложению домового комитета колоть можно было только во дворе... А белье... Он посмотрел на темные груды, торчавшие из-под кровати...

Вся комната, маленькая, тесная, закиданная вещами, мешками и корзинами, с черной трубой, прямо и тупо возвышавшейся в центре от печки—скучно напоминала маленький, ёрнический, грязный пароход, неизвестно куда и зачем плывущий...

— Нет, прислуга—это... это... Это, кажется, дело.

Кстати, вскоре должна с юга приехать жена, которая года два все едет и едет и никак не может приехать. Вот и будет сюрприз для нее: честная, деревенская прислуга, двоюродная сестра Кати, которая, хотя обслуживала только Зою Феликсовну, соседку, но все же успела хорошо зарекомендовать себя в глазах всех жильцов.

«Кажется, это—идея»,—почти решил Горлов.

Платить ей придется гроши. Зоя Феликсовна платит Кате сто тысяч в месяц. Главное—кормить. Но и это не страшно...

Николай Матвеевич, советский служащий, недавно получил добавочный паек, на который совершенно не рассчитывал, затем, теперь, он будет получать жалованье, конечно, по золотому курсу... Затем, у него есть остатки прежних пайков.

Он посмотрел на мешки, лежащие на полу, затем наверх, где высоко над комодом косо висел, точно летал—еще мешок (это, чтобы не добрались крысы) и решил окончательно нанять прислугу.

II.

Застегнув пальто, Горлов вышел в переднюю. Мужик и девушка пили чай.

Он хотел сказать, что готов нанять прислугу, но почему-то вспомнил упорный вопрос в бесчисленных анкетах, которые он заполнял за четыре слишком года революции: «пользуетесь ли вы наемным трудом?» и тут же внутренне-резко подумал, что это—чепуха. Затем вспомнил фразу из газет и брошюр «власть человека над человеком», и опять подумал, что это в данном случае тоже чепуха. Затем ясно представил себе, как секретарь домового комитета, с которым у него была не одна ссора, будет прописывать прислугу именно, как личную прислугу такого то—уже он-то будет точен, мерзавец!—и об этом подумал:—«чепуха».

Но от обилия дум вдруг забыл все слова, необходимые для найма прислуги.

— Я... мм... вот... я... Одну минуточку...—не очень ясно начал и так же кончил он обращение к мужику. (Девушка имела вид, мало располагавший к деловым обращениям: она, сидя на узле, с молитвенной серьезностью пила чай, а в свободные промежутки смотрела круглыми глазами в потолок или на дверной косяк).

— Где Катя?—спросил Горлов.

Катя вышла в переднюю. Горлов пригласил ее к себе и сказал ей, что решил нанять прислугу. Может ли она рекомендовать свою двоюродную сестру.

На оба вопроса Катя ответила сразу—сначала мимически: с кратковременной грустью во взоре окинула комнату, как бы сказав: «о, да, это давно пора», а затем светло и торжественно улыбнулась: «можете, мол, не сомневаться».

И добавила:

— Очень будете довольны. Девушка хорошая, честная, чистоплотная. Через два дня комнаты не узнаете. Она хоть и девушка, можно сказать, деревенская, но и обед вам состряпает и все сделает. А то я гляжу, гляжу, как вы сами себе, Николай Матвеич, стряпаете, стряпаете—смех один...

Она засмеялась, но прервала смех вопросом:

— А где вы ее спать положите, Николай Матвеич?

— С вами, как-нибудь она спать не может?

— Где же со мной? Моя Зоя Феликсовна и приходить-то ко мне никому не разрешает—вот, видите—сродственники в передней чай пьют—не то, что спать... Уж... (Катя прикрыла дверь) вы сами знаете, какая она... Да и сама-то я на кушетке сплю... Ничего, Николай Матвеич, она у вас тут на диванчике поспит, а потом, когда теплей станет—будем с ней вместях на кухне спать.

Катя приоткрыла дверь и сказала:

— Иди, Таня, место тебе есть... Иди сюда, вот, Николай Матвеич тебе береть.

Таня, топоча крепкими мужскими ботинками, вошла в комнату. Отец остался за нею, в передней.

— Хотите у меня служить?—спросил Горлов.—Вот, у меня, как видите, всего одна комната, работы немного. Только, вот, привести все в порядок, а потом...

— Мы могим, чего ж...—сказала Таня.

— Ну, и оставайся,—сказала Катя.

— Благодарим покорно,—сказал из передней отец.

— Таня верхней стороной указательного пальца вытерла нос, глядя при этом в потолок, пошла в переднюю, взяла свой узел, втащила в комнату, развязала платок у шеи и стала между печкой и заставленным грязной посудой подоконником.

— Что-ж, растопи печку,—сказала Катя—приготовь барину завтрак.

— Пожалуйста, Таня, зовите меня не барином—(Горлов криво улыбнулся),—какой же я барин!—а просто Николаем Матвеичем... Вот так, как Катя...

Катя, придав лицу официальное выражение, подтвердила:

— Или так: Николаю Матвеичу,—тоном подчеркнув, что это, в сущности, одно и тоже.

— Покорно благодарим,—некстати сказал еще раз отец из передней.

Катя вышла и закрыла за собой дверь.

Таня, ничего не говоря, еще раз пальцем вытерла нос и принялась растапливать печку.

Горлов, стесняясь одеваться, сидел еще в пальто поверх рубашки и в валенках.

Печка сразу растопилась. Стало тепло.

— Вот вам картошка и сало,—сказал Горлов.—Вы умеете, конечно, поджарить? А тут—чайник. Заварим в нем кофе и позавтракаем. Потом, Таня, пожалуйста, не смотрите, на меня, отвернитесь. Я оденусь.

Таня отвернулась и принялась чистить картошку.

Через двадцать минут Горлов был одет, умыт и сидел за столом, просматривая бумаги и ожидая, когда будет готов завтрак.

Таня возилась у печки за его спиной.

Пока поджаривалась картошка—она убрала постель, затем опять подошла к печке.

Горлов, вчитавшись в отчет, вдруг ощутил прикосновение чьей-то руки к своему плечу.

— Где соль-то у тебя?—спросила Таня, тронув его за плечо.

Этот способ обращения сначала кольнул его, но тут-же и умилил: «Какая непосредственность!»—подумал Горлов.

Он дал ей соль и сел завтракать.

Пока он ел, она стояла около печки.

— Отчего-же вы не завтракаете, Таня?—спросил Горлов.

Таня ничего не ответила. Она была серьезна, неразговорчива.

— Вот, возьмите тарелку, положите себе картошки и ешьте.

Она положила себе—очень мало—и села за печкой на низенький, коротенький диванчик.

— А удобно вам там?—спросил Горлов.

Она ответила после долгой паузы:

— Ничего. Удобно.

Уходя, Горлов сказал отцу Тани:

— Значит, ваша дочь остается у меня. Ей тут будет приятно служить—рядом с Катей. Ну, до свидания.

Мужик протянул ему руку, пожал и, затем, торжественно поклонившись, сказал:

— Покорно благодарим. Счастливо оставаться!

III.

Как-то, месяца через два, подвечер, Горлов вернулся домой, но не мог зайти в свою комнату, так как Таня мыла пол.

Утомленный, Горлов с портфелем подмышкой прислонился в передней к стенке.

Зоя Феликсовна, вышедшая зачем-то из своей комнаты, пригласила Горлова к себе:

— Николай Матвеич, зайдите пока ко мне. Пожалуйста! Что-же это вы в передней стоите!

До этого, целых два года, между Зоей Феликсовной, дамой с бриллиантами, нарядами и коврами, за которой приезжали на автомобилях «комиссары» (так говорили в квартире) и Горловым, скромным советским служащим из интеллигентов—никаких отношений, если не считать глухой неприязни, не было.

И Горлов удивился столь неожиданной любезности.

Он вошел в комнату Зои Феликсовны.

— Пожалуйста, присядьте,—предложила она.

Горлов сел.

— Ну, как ваша Тяня?

— А что?—удивился Горлов.

— Ничего особенного. Вы, конечно, очень довольны ею? Но, знаете... (она нехорошо засмеялась)... знаете... немного смешно получается... И...

простите, маленькие неприятности... Моя Катя, с тех пор, как у вас появилась Таня, ужасно испортилась...

— Так,—вздохнул Горлов, предчувствуя неприятный разговор.— Что-же тут смешного?

Зоя Феликсовна, сидя на диване, вспорхнула, как птица, поправила вязаный платок на плечах и со сдержанной резкостью продолжала:

— Смешно? Очень даже смешно... Таня у вас живет, как барыня! Обедает вместе с вами за одним столом, пьет чай вместе с вами... (она пожала плечами). Моя Катя только и делает, что говорит с утра до вечера о вас и вашей Тане... Каждый вечер вы Таню отпускаете на два-три часа, а разве можно так обращаться с прислугой? Простите меня за откровенность, но я этого не понимаю! Катя теперь, из за вас, говорит мне ужасные дерзости и уходит часто без спросу... Я не понимаю... Вы—интеллигентный человек!.. То, что вы спите в одной комнате с прислугой—это еще понятно, Катя тоже спит здесь,—кухня, ведь, у нас не отапливается и вообще при большевиках мы привыкли мучиться (вздох), но (гордый взгляд, полный собственного достоинства) обедать с прислугой за одним столом меня никто не заставляет!.. (С достоинством кутается в платок). Притом, она у вас совсем не чувствует себя прислугой. Каждый вечер, каждый вечер уходит! Крадет у меня пудру и пудрится... Раньше одна Катя крала, а теперь обе... Ваша берет пример с моей, а моя с вашей... Но в последнее время Катя ужасно испортилась... И, главное, слова сказать нельзя... Чуть что—сейчас «Николай Матвеич, Николай Матвеич»... Потом, эти паршивые рабфаки научили ее грубо отвечать и угрожать профессиональным союзом... Я ей не позволяю разговаривать с этими хамами, и раньше она не якшалась с ними, а вы Тане разрешаете...

...Когда Горлов говорил с коммунистами или горячими сторонниками советской власти—его распирало от обилия оппозиции. Он изумлялся узости, ограниченности их воззрений, мыслей, даже фраз и слов... Он всем существом ощущал себя умнее, шире, разнообразнее, тоньше их.

Но, когда ему приходилось сталкиваться с буржуазной обывательщиной—он чувствовал приступы лютой ненависти, и ненависть эта была искренна...

Самые жестокие мысли приходили в голову.

«Мало еще вас расстреливали»,—думал он, глядя на неуёмное хамство, непреодолимую жадность и подлый эгоизм возрождающейся буржуазии.

Глядя на их рестораны, бриллианты, наряды, на все эти до глупости дорогие пальто и шубы, на раскрашенных жирных женщин, изнывающих от обжорства и скуки—он чувствовал себя убежденным, стойким, непримиримым пролетарием...

И теперь, слушая эту «пухлую самку» (так мысленно называл он ее), этот «паразитический элемент» (как в газетном стиле он мыслил ее, невольно, как сосед, знакомый с ее образом жизни), Горлов опешил и не знал, какому чувству раньше дать проявиться: возмущению-ли, что посторонний человек, с которым он не имеет и не хочет иметь ничего общего, нагло вмешивается в его личную жизнь, или-же злорадному удовольствию, что чем-то он все-таки, хоть и косвенно, а досадил этой великолепной «буржуйке».

То, что Таня, которая по-женски быстро освоилась с городской жизнью и новой обстановкой, обедала с ним за одним столом—самого его частенько покалывало и слегка раздражало. В принципе он был всецело за это, но практика утомляла. Дело в том, что, обедая с Таней за одним столом, Горлов чувствовал себя до некоторой степени передовым человеком, это было в его глазах все-таки снисхождением, и если-бы Таня стеснялась и чувствовала себя неловко, все было-бы

хорошо, это было-бы той оплатой, в которой нуждается гуманность, но цельная натура Тани не понимала, что это гуманность и снисхождение: она чувствовала себя уже через неделю свободно, и икала, когда ей нужно было, и рассказывала, громко чавкая жирными губами, что этажем ниже, в десятой квартире, где живет красивая дама—«ейный хахаль купил ей бриллиант с полфунта весом—Манька сказывала».

Раздражало хозяина в прислуге и многое другое, но теперь, слушая Зою Феликсовну, Горлов забыл об этом.

Он был горд, почти счастлив, что в обращении с прислугой оказался непохожим на нее. А услышав недовольство по поводу того, что он отпускает Таню по вечерам—он широко и саркастически улыбнулся и решил хорошенько помучить соседку, которая давно тайно уговаривала Таню бросить службу у «нищего большевика» (сведения эти он аккуратно получал от Тани-же) и перейти к ее, Зои Феликсовны, тетке, у которой на каждое воскресенье пекутся пироги.

Он собирался хорошенько пробрать Зою Феликсовну, потому что Горлов отпускал Таню по вечерам не просто—он отпускал ее на вечерние занятия в школу по ликвидации бесграмотности.

— Да,—начал Горлов,—очень жаль, что Катя испортилась с тех пор, как у меня служит Таня... Очень жаль... (Он замялся, придумывая, что бы такое сказать ей особенно-злое)... Но, многоуважаемая, еще более жаль—уж вы простите и меня за откровенность—что Катя портится от вашего просвещенного общества... В том, что она обедает не с вами за одним столом (он грубо засмеялся)... Это, конечно, большое несчастье для нее! (Горлов был уверен, что речь у него выходит необыкновенно-язвительной)... Да... С моей точки зрения это уже не такое большое несчастье... А если вы уже изволите вмешиваться не в свое дело, то разрешите и мне сказать вам, что Кате тоже следовало-бы уходить по вечерам туда, куда ходит Таня... Да... Более того: вам придется отпускать ее, если даже вашей милости это неугодно будет... Да... Ей не помешало-бы, чем слушать ваши умные рассуждения о большевиках и политике—лучше посещать школу по ликвидации бесграмотности, которую посещает Таня... А засим, всего лучшего. Спасибо за гостеприимство, но нам разговаривать совершенно не о чем.

Зоя Феликсовна, еще вначале его речи начавшая весьма неприятно багроветь—к концу речи успела заменить на лице своем красную краску бело-зеленой и, сверкая глазами, вскочив с дивана, сжав кулаки и концы платка, крикнула истерически:

— Я давно знаю, что вы—хам! И ничего другого не ожидала! Но вы, ркоме того, еще и дурак! Таня вас обманывает, как мальчишку... Ха-ха! Он думает, что она ходит в школу... Ваши рабфаки лучше знают, в какую школу она ходит!.. Нашелся тоже защитник прислуги... Стыдно! Барин! Хорош барин! От роду, должно быть, не видал прислуги... Самого-бы в приличный дом и в лакеи не приняли-бы... А я... А я... Не позволю вам так по-хамски разговаривать со мною!! Невежа! Я найду защиту! Нахал!

Горлов зашел к себе и плотно прикрыл дверь.

Он дрожал от волнения.

— Сволочь...—отплевывался он, тяжело дыша.—Лезет, куда ее не просят... Дрянь...

Пол в комнате был вымыт. Тани не было.

Горлов отдышался и успокоился.

«Значит, она меня обманывает?!—подумал он.—Неужели обманывает?! В самом деле—как дурака?! В школу не ходит?!»

Это открытие обидело его больше, нежели поток ругательств, каким обдала его соседка.

Горлов открыл дверь и крикнул:

—Таня! Таня!

IV.

Из комнаты рабфаков с официально-огорченным лицом вышла Катя и сказала:

— Пожалуйста, Николай Матвеич, не зовите Таню. У ей беда.

— Какая беда? В чем дело?

— Она письмо получила. Рабочий принес с парадной. Читает там. А Танька ревёт, ка-ак...

(Рабфаков Катя и Таня звали упорно рабочими, ходили к ним запросто, дружили с ними, считали своими).

— Какая-же беда?—допытывался Горлов.

— У ей снаряд украли...

— Какой снаряд? В чем дело?

— Снаряд... Ну, приданое. Украли все, весь сундук.

— Где?

— В деревне. Отец уехал. Мать в избе одна осталась. Воры в трубу забрались. Что ей одной против них? Она теперь без памяти лежит. А сундук весь забрали.

— А что там было в сундуке?

— Много добра... Весь снаряд. Она—единственная дочка, Танька-то, у ней снаряд был богатый... Теперь плохо ей будет... В нашей деревне замуж никто не возьмет.....

К вечеру, когда Таня успокоилась, она перечислила Горлову содержимое «снаряда»:

— Два платья цельных, шестнадцать юбок ситцевых, кофточек тоже шестнадцать, десять платков больших, теплых, шесть полушалков, двадцать пять полотенцев одно другого краше, две дюжины рубах, десять простынь, материя на платье, две пары ботинок, два полушубка, три пары штанов для жениха, двадцать пять платков носовых, десять пар перчаток вязанных...

Она опять заплакала, но мгновенно опять успокоилась, и теперь—окончательно. В восемь часов, она, как всегда, стала собираться в школу.

— Вы куда, Таня?—спросил Горлов.

— В школу, Николай Матвеич,—ответила она спокойно.

— А скажите, Таня, как ваши успехи? Читать уже умеете?

— Нет.

— Как-же так? Ведь вы больше трех недель школу посещаете? Неужели еще не научили? Отчего-же это так?

— А почем я знаю...

— А буквы знаете?

— Знаю.

Горлов нарисовал на бумажке печатную букву «Р» и спросил:

— Это какая буква?

Таня посмотрела и задумчиво произнесла:

— А почем я знаю, какая это. Я знаю «А», «Б». Больше не знаю.

— Кто-же должен знать?—вспылил Горлов.—Да вы ходите-то в школу или нет?

Таня взглянула на него и с глубоким равнодушием к самой теме разговора ответила:

— Мало хожу.

— Сколько раз вы были в школе?

— Раза два была... Скушно там.

— А куда же вы ходите каждый вечер? И зачем меня обманывать?! Зачем, спрашивается, обманывать?! Таня молчала. Смотрела круглыми глазами в потолок. Это был, очевидно, способ самозащиты во всех трудных моментах ее жизни.

— Фи, какая гадость! Какая гадость!—начал ходить по комнате Горлов.—Что за народ такой! Что за люди!! Дикари! Животные! Как ни обращайся—ничего не выходит! Ну, за что вы меня так глупо обманываете? Для чего? Разве я такой зверь, что не отпущу вас вечером куда хотите и без вранья? Зачем врать, что идете в школу?! Зачем врать, не понимаю! Или я обращался с вами плохо, может быть? Обижал?

Таня, спокойно, медленно перевела взгляд с потолка пониже и, теребя пальцами кончик платка, сказала:

— Чего кричите! Конечно, обижали.

— Кто?! Я?! Вас?!

— Ну да. На Рождество Зоя Феликсовна Кате подарок дала, ситцу на платье, да ботинки свои старые подарила, еще хорошие, носить можно, а вы мне ничего не дали. В десятой квартире Манька тоже получила подарок... А тут сиди безо всего... Да и какое это место мне у вас... У вас-то и у самого ничего нету... Все картошка, да картошка...

V

«Будьте вы все прокляты»,—злобно думал Горлов одновременно и о Зое Феликсовне и о Тане и обо всем этом мире, в котором всё перепутано, в котором мелкие жадные глупые черви, в роде Зои Феликсовны, способные устроить дикий скандал на всю квартиру из-за разбитой чашки, знают, что прислуге надо дарить ситец на платье и ботинки, а такие хорошие люди, как Горлов, этого не знают. Будь проклят этот мир, в котором молодые девушки, имея такое имущество, какое имела Таня, идут в добровольное рабство к нищим Горловым, причем ценить человеческого отношения к ним не умеют и в ответ на хорошее отношение лгут, мелко и нагло, и, в конце концов, с животной непосредственностью высказывают какую-то правду о каких-то своих мелких, низменных, животных интересах.

— Ну, их к чорту!—махнул рукой Горлов. Не надо мне никакой прислуги!

Утром он рассчитал Таню—благо, у нее уже было наготове место в одной из квартир того же дома, на которое ее втихомолку устроила Катя.

Несколько дней не мог успокоиться Горлов...

Что-то угнетало его, что-то тяготило...

Раньше, до революции, у него бывали и сменялись прислуги, но он ничего об этом не знал. Бывали по утрам иногда какие-то крики на кухне, но ими управляла жена, которая после криков, с красным лицом, входила в комнаты, а на вопрос Горлова отвечала кратко:

— Это тебя не касается...

Значит, и тогда это было не просто. Значит, и тогда не так гладко процветал этот вид «невинного» рабства...

И теперь Горлову было жаль, что он нарушил стиль своей жизни, установившийся за годы революции.

Теперь ему казалось, что совсем уже не так трудно топить печку, колоть дрова и, если нужно, приготовлять себе пищу...

Через неделю Горлов почти забыл о своей прислуге.

На подоконнике опять накапливалась немытая посуда. Горлов стоял перед печкой на коленях, внимательно ощупывал каждое полено—прежде, чем сжигать его. Сжав челюсти, он попрежнему вел борьбу с сырыми дровами... Хорошо сгоравшие поленья он бессознательно считал своими друзьями, на не-горящие смотрел, как на личных врагов и, стоя на коленях, со сжатыми челюстями, с ненавистью боролся с ними...

Зато сидел у печки с довольным видом победителя, когда огонь, разведенный его руками, пожирал непокорные дрова...

Москва, март, 1922 г. **Ефим Зозуля.**

Красный флаг.

(Отрывки из новой книги Б. Келлерманна «9 ноября». Перевод с немецк.)

I.

День занялся, а светящийся пояс все еще пылал вокруг Берлина.

Несколько недель тому назад, в январе ослепительные дворцы фабрик в предместиях внезапно, на несколько ночей, погрузились во тьму. Железные ворота были закрыты, колеса не вертелись, котлы остыли. Сотни тысяч прилежных рук—где оне были? Что случилось?

Забастовка! Забастовка,—теперь, теперь, как раз в тот момент, когда делались приготовления к последнему большому усилию, долженствовавшему дать победу. Английское золото гуляло—генерал это утверждал—английское золото работало на улицах Берлина, миллионы, много миллионов. Толпы агентов высланы Альбионом, чтобы взорвать фронт отечества. Кругом кишело шпионами. На домах появлялись листки, летучие прокламации распространялись на фабриках—английское золото было всемогуще.

Дошло даже до сборищ—там, снаружи. По городу ходили патрули, ездили кавалеристы с карабинами, пулеметы были поставлены на чердаках, там и здесь—пусть они попробуют придти—оттуда, из предместий! Мальчишки-подростки ходили по Унтер-ден-Линден и посвистывали. Но полицейские выскакивали из домов и избивали их.

Трамвайные вагоны сбрасывались с рельс. По городу ходило много вагонов с выбитыми стеклами. «Английское золото многого достигло».

Бастующие послали делегацию для переговоров. Но министр вдруг стал надменным—отказался, отклонил—заметьте себе. Он требовал законных представителей. Он чуял тут нечто непозволительное, что то, чего вообще не бывало до сих пор, что осмеливалось потрясать самые устои...

Бастующие требовали хлеба, и правительство обещало.

Бастующие требовали—они только намекали, но это было ясно видно по их беззаконному, изменническому поведению... Им казалось, что пришло время подумать. Герцогские шляпы и королевские короны можно раздавать направо и налево всевозможным родственникам,—ну, ладно, если это доставляло удовольствие,—но все же им казалось, что пора начать думать. Последняя медная кастрюля была отобрана, реквизирована из кухни бедняка, паровозы отказывались служить, в казармах муштровали детей и калек. В конце концов Америка все же держава, с которой нужно считаться, даже если она не в состоянии строить аэропланов и, как доказывалось черным по белому, не может никоим образом переправить армию через океан. Все таки, германские войска стояли в Финляндии, на Кавказе, на—

Нет, они определенно не говорили этого, но они хотели совсем скромно намекнуть, что в сущности пора бы—

Но именно это, гм, возмущало министра. Он чуял—

В конце концов генералы взяли дело в свои руки, и в один миг стачка кончилась. Нужно было только взяться, как следует, и дело пошло на лад. Генералы стояли за индивидуальное лечение. Кто мог носить оружие, был послан в окопы, другие запрятаны в тюрьмы, некоторые—в сумасшедший дом. Разбитые стекла трамваев были заменены другими—ничего не было. Ничего не оставалось, кроме тихого, подземного ворчанья, неслышного для ушей, росших на старческих черепах.

Хотя забастовка длилась всего лишь несколько дней, генерал все же допускал возможность, что она помешает победе—возможность, только возможность...

Это было в январе. Но теперь снова работали бесчисленные прилежные руки, раз'еденные плохим маслом, брызгавшим со станков и вызывавшим масляную чесотку. Феерические дворцы снова сияли по ночам, световой пояс снова пламенел вокруг гигантского города. А серым утром, когда наступала смена, как и раньше, катились поезда, переполненные людьми,—как будто ничего и не было. Сотни желтых лиц в каждом вагоне, сотни желтых лиц на платформах, на подножках, повсюду. И бледные изможденные девушки,—упаковщицы патронов, визжали и кричали.

И в это серое утро так же, как всегда, катились поезда, наполненные желтыми и смертельно бледными лицами. Кашляя и дрожа, комки платья неслись в тревоге по улицам предместий,—успеть во время пройти через контроль у железных ворот. Западная часть города еще спала крепким сном; сторожа, оберегавшие сон богатых, зевали.

И в это утро минута в минуту отходил знакомый поезд на западный фронт. Из окна смотрел на платформы труп, искал, даже что то просвистал—труп—это был капитан Фальк.

Да где же пропадает этот мальчик? Но Отто (сын генерала) не было, и капитан Фальк поднял окно, укутался в шинель и мгновенно заснул, еще прежде, чем поезд покинул станцию.

«Огневой каток» ехал обратно,—

Вставал день над картофельными и свекловичными полями на восток от Берлина, и серые облака тащились над огородами, меж красных и желтых кирпичных стен предместий, над ямами полными щебня, сора, обрывков бумаги и старых дырявых ведер. Но за серыми облаками показалась искра! Искра пламенно лизнула край облака, и из него вырвалась молния. Тогда желтые и красные кирпичные стены предместий начали расцветать, стекла сверкали, миллионы глаз гигантского города засветились. Трубы зазвучали во дворах казарм, и тысячи людей поднялись со своих жалких постелей.

. . . .

* * *

Медленно шел генерал по бесконечному коридору. Он любил этот коридор, и идя по нему всегда ощущал особое удовольствие, хотя этот коридор был так же безобразен, пуст и вонюч, как все коридоры огромного казенного здания. Но кое чем он отличался от других коридоров: он беспрестанно дрожал и вибрировал из за машин, работавших в подвале. Они наполняли его пустоту своей энергией.

Как всегда, вестовые и писцы останавливались и прижимались спиною к стене, как только к ним приближался генерал. Они не сводили взгляда с его сурового лица, пока он не проходил мимо. И даже тогда они некоторое время глядели ему вслед. Только после этого они

уходили, сделав поворот. Офицеры, имевшие несчастье выйти в этот миг в коридор, останавливались и застывали в почтительном поклоне. И генерал касался пальцем головного убора, как всегда, как каждый день, не глядя на расступавшихся перед ним людей. Его взгляд был опущен вниз, на каменные плиты, истертые гвоздями солдатских сапог. Казалось, что вся тяжесть войны покоится на его плечах.

Под этими каменными плитами работали типографии. День и ночь ротационные машины выбрасывали кипы карт, которые складывались в стопы, пахнущие клеем и свежей краской, и постепенно заполняли все коридоры огромного здания. Это были карты всевозможных стран, от Ледовитого океана до экватора—всюду проникал острый взор генерала.

Из этих стоп карт генерал черпал свое вдохновение. Так, в этот момент генерал, совершенно об этом не думая, ясно увидел озеро Пейпус и стратегическую границу Германии на востоке, которую начертал еще его великий учитель Мольтке.—Между прочим, странно, швейцар, этот старый ветеран, был немного похож на стареющего Мольтке,—конечно, совсем отдаленно, поскольку вообще может быть похож на полководца служащий из унтер-офицеров.—Эта линия,—да. И на севере союзником должна быть сильная Финляндия, тесно связанная с Германией: с револьвером у виска—Россия будет принуждена к миру.

Счастье, что это убогое творение дипломатов в Брест-Литовске только временное соглашение.

Внезапно что то потревожило стратегическую восточную границу, которая шла на юг от озера Пейпус, прямо точно прорезанная бритвой. Что же это? Широкая, серая солдатская шинель мелькала сквозь нее!

Вот она опять, смотрите...

Уже несколько недель тому назад ему бросилась в глаза эта шинель, притом только потому, что ни одна шинель не развевалась так странно, как эта. Хотя всегда—странная случайность—он успевал увидеть только кончик этой шинели, исчезавшей за углом, он все же мог установить, что это шинель рядового, и притом надетая неряшливо, не по солдатски,—одним словом, противно уставу. Когда он бывал плохо настроен, он даже замечал в этой развевающейся шинели что то вызывающее — один из тех признаков упадка дисциплины, против которых он боролся приказами—еще на фронте, что многим тогда не нравилось.

Но на этот раз шинель прямо шла ему в руки, на этот раз она не уйдет.

Солдат подошел ближе, и теперь, когда он замедлил шаг, генерал заметил, что тот немного хромает на одну ногу.

Широкая шинель стояла смирно у стены, как все, что встречалось здесь с генералом.

Генерал увидел простого солдата, лет двадцати пяти, среднего роста, широкоплечего, с резкими и слишком строгими для его возраста чертами. Но особенное внимание генерала обратили на себя глаза. Они были карие и необычайно кроткие. Это были самые кроткие глаза, когда либо виденные генералом. И сам парень, бледный и истощенный, как все вестовые и писцы в этом здании, сам парень производил такое же кроткое и мирное впечатление. Только его черные волосы были немного слишком длинны и выбивались из под шапки. Выправка его была безукоризненна. Между тем, что то было в выражении его лица—да, как это передать? В теплых карих глазах поблескивала—или ему показалось, может быть—незаметная улыбка, и эта незаметная улыбка лежала на его несколько бледном лице, несмотря на всю его серьезность.

Генерал разглядывал это лицо совершенно спокойно—как рассматривают какую нибудь резьбу. Но солдат не смутился, не волно-

вался, выражение его глаз не изменилось, веки двигались не быстрее обычного. Он остался спокойным и равнодушным.

Этот солдат, повидимому, не ощущал никакого страха от того, что его рассматривала такая высокая персона; его взгляд спокойно выдерживал взгляд генерала—никакого беспокойства, ни малейшего. Гм!

Впрочем генерал где то, когда то видел это лицо, хотя и был уверен, что никогда в жизни его не встречал. Это было лицо, какие встречаются на старых картинах—лицо из прошедших эпох, так сказать. На старых картинах, гравюрах—бывают такие лица у монахов, поэтов и прочих мечтателей.

Легкая краска залила бледную кожу лица.

Быстро, как удары молотка, посыпались вопросы и ответы:

— «Как вас зовут?»

— «Аккерманн».

— «Кто такой?»

— «Младший писарь!»

— «Прежняя профессия?»

— «Студент!»

— «Где ранены?»

— «На Сомме!»

Голос генерала зазвучал строже.

— «Хоть вы и студент, все же можете застегнуть шинель по уставу!».

Руки солдата схватились за пуговицы шинели.

— «После, сын мой»,—сказал генерал, немного мягче, и пошел дальше.

Уже он исчез за обитой зеленым двойной дверью.

Несколько неуверенно делал свой доклад капитан Вейсбах, ад‘ютант. Раненую руку Отто только что рентгенизировали. Через несколько недель Отто будет совершенно здоров.

— «Значит, врач полагает, что это не помешает его дальнейшей карьере?»

Вейсбах видел своего повелителя сквозь какой то туман сверхестественно большим. Он ощущал, что выдыхает целые тучи алкоголя. Если поднести к нему спичку—ради Бога, осторожнее!—то он мгновенно запылает ярким пламенем,—вот какое неприятное ощущение было у ад‘ютанта. К тому же еще паркет каждую минуту мог провалиться и сбросить его в погреб к ротационным машинам, день и ночь выплевывавшим карты всевозможных стран.

Не прошло еще и получаса с тех пор, как он вернулся от Штребеля. Мужские вечера Штребеля—Сахарет в счет не шла—обычно затягивались до утра. Ровно в восемь часов снимался последний банк. Потом купались, брились и завтракали. Великолепный мокка был у Штребеля, булочки с маслом—одним словом все. Потом еще рюмочка коньяку—и конец! Несчастный случай с Отто им сообщили по телефону. Вейсбах немедленно, как и полагается ад‘ютанту, «принял свои меры». Все по телефону. Он хотел поехать в госпиталь, как только будет немного времени. Он знал, что от него требовалось.

Генерал приказал соединить его с полковым командиром Отто на фронте—и потом: есть ли просители?

— «Один господин, представитель прессы».

— «Просите!»—Вейсбах едва не упал от изумления.

Уже целую неделю этот господин от прессы ожидал приема, и Вейсбах уже не решался докладывать о нем. Генерал презирал все, что было связано с этим ремеслом—всех этих ученых, писателей и

недоучившихся студентов, которые имели претензию, руководить общественным мнением.

Высокие, полукруглые окна отражались в начищенном паркете, широкая золотая рама большого императорского портрета блестела на стене. В остальном, в кабинете царствовали холод и пустота, в нем обитали лишь портрет его величества с маршальским жезлом и блистающей орденами, крестами, звездами, шитьем и шнурами генеральской грудью.

Узкие длинные занавески на высоких полукруглых окнах были торжественного, темно-синего цвета, серебристо серыми были стены— они иногда уходили вдаль, когда генерал работал—и тогда ему казалось, что он сидит среди бесконечного тумана.

Генерал направил взор на императорский портрет—он ежедневно обменивался взглядами со своим повелителем. Но вдруг ему представились глаза солдата в широкой шинели: странные глаза, действительно—совсем как на старинных картинах.

Господин от прессы уже входил—с торжественным поклоном,— до самого паркета. Теплый оттенок в голосе генерала ободрил его, и он подошел поближе.

Вейсбах прервал разговор.

— «Полк»,—доложил он,—«прикажете, господин генерал, включить сюда?»

— «Пожалуйста—это не помешает?» Господин от прессы оценил такое необычайное доверие должным образом.

И генерал начал кричать в телефон: «—уже известно—да—прощальная пирушка, господин полковник, продолжавшаяся до шести утра».—Теперь генерал слушал и кланялся в телефон. Командир полка выражал надежду скоро снова увидеть своего храбрейшего офицера. Он отчетливо произнес—храбрейшего—здесь генерал поклонился—и снова закричал в телефон. «Настроение великолепное, скажите чудесное настроение—уверенность—скоро пойдем вперед»—и снова генерал засмеялся в телефон.

— «Простите, что я вас задерживаю. С моим сыном случилась небольшая неприятность. При укладывании,—он сегодня должен был вернуться в полк,—револьвер цепляется за что-то и вдруг дает выстрел».

Черты представителя прессы изобразили крайний испуг и глубочайшее сочувствие.

. . . .

* *
*

Генерал ежедневно завтракал у Штифтера. Руфь (дочь) в это время всегда была занята в своей общественной кухне, а сидет одному в пустой столовой, дома?—Нет. Она днем была еще неуютнее, чем вечером—и мертва.

В ресторане Штифтера, по крайней мере, были люди и немного шуму, как раз столько, сколько производят за обедом воспитанные люди,—успокаивающий, благотворный шум. Звенело серебро.

Здесь, в своей нише, за кактусами и пальмами, генерал чувствовал себя защищенным от назойливости мира. Лишь временами какой нибудь любопытный взгляд проникал сквозь пальмы, чтобы тотчас же почтительно отпрянуть.

Заведение Штифтера не было обыкновенным рестораном, а скорее гастрономической часовней: цветные церковные окна, полумрак, матовые лампочки и толстые ковры. Еда принимала здесь форму религиозного культа. Лакеи торжественно бормотали, как священники, выслушивающие исповедь.

Между заведением и его посетителями создался молчаливый договор: заведение обязывалось хорошо кормить своих гостей всю войну, а посетители обязывались молчать и платить. В ресторане Штифтера бывали почти исключительно завсегдатаи. Больше всего высокие сановники, черпавшие тут новую энергию для утомительной работы, и помещики, приезжавшие в Берлин из своих больших имений и знавшие кухню ресторана. Порой забредали сюда и сомнительные элементы— но тогда немедленно подходил обер-кельнер,—к сожалению, все уже заказано, господа извинят.—

Как орга́н, гудел низкий голос обер-кельнера. Он наклонялся к красному уху генерала ближе всякого другого смертного.

— «Бульон с мозгами или с клецками, Ваше Превосходительство?— С клецками? слушаюсь!»

— «Куриный паштет, Ваше Превосходительство? Сегодня не мясной день, но—конечно, только для наших старых клиентов—шатобриан.—Получено также немного икры. Разрешите подать порцию, не называя цены?»

Генерал надел золотое пенсне и поглядел на человека во фраке.

— «Вы сказали—?»

— «Да, через Финляндию. Мир с Россией уже дает о себе знать. Впрочем, видели ли уже Ваше Превосходительство флаг на русском посольстве? Нет? В первый раз сегодня подняли. Порцию пуддинга или камамбера?»

— «Камамбер!»

— «Слушаюсь Ваше Превосходительство.—Вино я уже приготовил. Слушаюсь.»

Генерал обычно выпивал к завтраку полбутылки шампанского. Порой же он только отпивал из стакана, это зависело от самочувствия.

Ливерные клецки, таявшие на языке, паштет из дичи с шампиньонами и кореньями, шатобриан по английски, икра—целое событие после стольких лет; новая сила наполняла нервы,—несчастный случай с Отто, треволнения службы забывались. Ничего не оставалось, ничего, это было чудесное ощущение погружения в ничто. Только соседи напротив мешают гармонии. Не переменить ли место?

Напротив сидели два ротмистра. Со своими гладко выбритыми, круглыми черепами, с шишками и бородавками, пухлыми лицами, розовыми жирными затылками, они являлись типичными «тыловыми свиньями», никогда не видавшими пуль. Никого так не ненавидел генерал, как тыловиков. При этом они еще носили ордена во всю грудь. Они не стыдились носить даже полумесяц, хотя никогда не были в Турции,—орден, которого даже генерал не имел. Они все шептались, все хихикали, все время подливали себе вина, причем показывались золотые браслеты на их волосатых руках. Они выражали свое почтение по отношению к генералу весьма умеренно: они ведь принадлежали к тому же общественному слою. Генерал же презирал их до глубины души.

Но обер-кельнер уже появился перед ним с горящей свечой.

— «Сигару, Ваше Превосходительство»?

Слава Богу, оба эти господина уже уходили.

Генерал с наслаждением откинулся в кресле.

«Ну, а лошади»? спрашивал внутренний скептический голос. День ночь он был занят вопросами войны. «Смогут ли лошади выдержать напряженную работу наступления —»?

«Лошади отдохнули—хорошо откормлены и в хорошем состоянии», отвечал второй, уверенный голос.

Снова покой, снова чудесное погружение в ничто. Генерал исчез в дыму гаванской сигары.

Сегодня вечером он будет ужинать у Доры. Была пятница. По вторникам и пятницам генерал, как уже сказано, ужинал у госпожи фон Денгофф.

Глаза закрылись только щели оставались, щели, полные блестящего льда.

. . . .

— «Как? Как? Что такое»!—крикнул генерал, выйдя из ресторана Штифтера. Он зашатался.

— «Как? Как»!»

— «Разве это возможно»?

«Что же, люди, действительно, с ума сошли»?

Действительно, реально ощутил он колебание почвы под ногами.

— «Значит это возможно? В Берлине»?

«Унтер ден Линден»?

Красный цвет бил ему в глаза.

Напротив, на крыше, напротив, весело развевался, как самая обыкновенная вещь,—кроваво красный, кроваво красный, сияющий флаг!

Он привлекал к себе все взгляды.

Представьте себе: красный флаг в городе, где даже красный галстук считался вызывающим, где красный цвет был вообще запрещен, где сабли полицейских автоматически изрубили бы каждого, кто посмел бы вынуть из кармана красный платок, чтобы высморкаться. И здесь—без всяких—как естественнейшая вещь—красный флаг, красный сияющий штандарт, поднятый на настоящем флагштоке, на крыше! Прохожие поворачивали головы, застывали; не верили глазам, подмигивали—.

Далеко бросало свое сияние красное знамя и возвещало победу русского народа над господином виселиц, семихвостных кошек и свинцовых рудников.

Оно сверкало, сияло над бесконечным морем домов Берлина.

«Что ж они там совсем с ума сошли»?

Он имел в виду Вильгельмштрассе *).

И генерал погрузился в мрачное раздумье, в то время, как автомобиль мчал его по Унтер ден Линден.

Этот флаг—пропитанный кровью коронованных особ и высоких сановников...

Позор.

Порой ему казалось, что он слышит над головою потрескивание, треск—

* * *

— «Я верю»!

— «Я верю в человека»!

— «Я верю в доброту человека и в его чистоту! Я верю в его святое предназначение и его божественную душу! Я верю в братство, дружбу, в освобождающую любовь к людям! Вот мой символ веры, великий бог над тьмой»!

Со всем жаром своих двадцати пяти лет, солдат Аккерманн произносил этот символ веры. Только что пролетел мимо него знакомый серый лимузин.

— «Я верю»!—Звонок трамвайного вагона зазвенел, и он отскочил в сторону. Он едва не попал под трамвай. Его широкая, серая шинель развевалась по направлению к Бранденбургским воротам. Большими, быстрыми, как всегда, шагами, шел он туда. Он яростно

---

*) На Вильгельмштрассе находится министерство иностранных дел.

жестикулировал, и его безумные темные глаза пылали на бледном, худом лице.

— «Я верю в братство тех народов, которые теперь убивают друг друга! Я верю, что наступит день, когда пушки и броненосцы будут разрушены, границы стерты и знамена сорваны! Я верю, что наступит день, когда люди будут говорить на одном языке, все равно на каком, потому что дело не в языке, а в мыслях, которые он выражает»!

— «Я верю, что наступит день, когда не будет эксплуатации человека человеком, когда не будет ни белых, ни черных, ни желтых рабов, когда будет равенство прав при равенстве обязанностей! Да, я, Аккерманн, верю в это! Я верю в победу справедливости над неправдой, над ложью! Я верю, что божественные идеи, а не пушки, двигают мир вперед».

— «Да, я, несчастный из несчастных, я верю в грядущее царство человека на земле—царства разума, справедливости, счастья и красоты»!

— «И в тебя верю я, мой народ»! крикнул Акерманн, с безумными, пылающими глазами, и прошел Бранденбургские ворота. «Это хорошо, вздыхая, подумал он, иногда повторять свой символ веры,— в этой страшной тьме—так хорошо становится».

В этот момент его быстрые шаги внезапно замерли. Что-то необычайное, неожиданное, чудо! Огонь пробежал по его телу, краска бросилась в лицо, руки горели. Небо ослепляло, небо ликовало, Красным пылало над Берлином небо.

— Уже—? Уже—? Исполнение...

Он остановился, сдвинул шапку назад на черных волосах, и— так он был возбужден—указал рукой на красный флаг на крыше. Его губы дрожали. Без движения стоял он, с огненной верой в глазах.

Потом он снял шапку.

— «С Востока свет. Утренняя заря—».

II.

. . . .

«Дорогу»!

«Дорогу»!

Несутся автомобили.

Серые шинели, солдатские шинели торопливо мечутся по городу. Здесь, там, везде. Их сотни, тысячи. В глине, в пыли, замазанные известью Шампани, илом Фландрии, с пятнами крови, обожженные гранатами, выцветшие от газов, продырявленные — рассыпались по городу, наводнили его шинели.

Туда спешат автомобили, увешанные гроздьями вспотевших лиц. Люди на подножках, на крыльях, на моторе—с винтовками и ручными гранатами. Трепыхаются красные знамена—они спешат туда.

«Дорогу»!

Это молодые, что пришли, новые лица, смелые и дерзающие.

«Слава вам—смелым, дерзающим, слава»!

«Предвестники грядущего человека, слава вам! Вы—гонцы, предвозвещающие новое царство, вы надеющиеся, сильные, горящие любовью—слава вам»!

Широкая шинель Аккерманна развевается между красными флагами, порхающими на улице. Треск выстрелов. Пыль поднимается над городом.

Вулкан изрыгает огонь, и дрожит земля...

Разрушено—все, в один час...

Армия идет с фронта. Полки, дивизии, корпуса—сотни тысяч, да, сотни тысяч. Сотни тысяч—миллионы. Сотни тысяч лошадей и телег десятки тысяч орудий—наводняют улицы, тяжело дыша, колесо к колесу, со скрипом, лошадь за лошадью, покрытые пеной—день и ночь, ночь и день—вот в эту минуту.—

Генерала не берет сон.

Он *видит* шествие гигантской армии, зрелище, неслыханное в истории, он *слышит* его! Он видит аэропланы, кружащиеся над улицами и отдающие приказы.

Одна заминка—и сотни тысяч обречены на голодную смерть.

Одна заминка—и сотни тысяч попадут в лапы наступающему врагу—его передовые отряды уже видны на горизонте!

Одна заминка,—и паника охватит сотни тысяч, гигантская армия разлетится на тысячи обломков, и банды отчаявшихся хлынут на немецкие земли.

Чудо... только чудо героизма и выдержки—судьба Европы висит на ниточке.

Нет, сон отлетает от глаз генерала.

Он *видит* гигантскую армию в ее беспримерном шествии—беспримерном и неслыханном—но он видит, что она шествует вспять.

Вспять!

Форсированным маршем, по указке врагов.

Никогда, никогда—непостижимо.

Где-то горит электрическая лампа, и порою в темном зеркале показывается серый облик.

Непостижимо, абсолютно непостижимо.

Генерал заикается, он не находит слов—его бледные губы шевелятся, не произнося ни звука...

А за темными занавесями, за спущенными шторами—вот! Слышно опять!

Снова то же самое!

Шаги! Стотысячные, без особого шума, точно народ вырвался и идет к своей цели—без излишней поспешности, потому что он уверен, что достигнет цели. Эти шаги преследуют его. Днем и ночью раздаются за его окном шаги сотен тысяч ног. Армия встала и идет. Армия, которая была спрятана где-то. Где были они до сих пор? Он никогда не видал их. Неужели они жили в одно время с ним, в одном городе? Но почему он никогда не видел их? Как их много, незнакомых—с глазами, глазами не человечьими—волков, лисиц, орлов, коршунов. С этими лицами, которые он до сих пор видал только во сне. Где жили они до сих пор, где они прятались?

Вот опять! Куда? Зачем?

Бесконечно, не смолкая раздается топот сотен тысяч. Даже в коротком сне изнеможения он слышит его.

Генерал в мягкой шляпе и с серым каменным лицом—серым, как пыль на улице—выходит в маленький пустынный садик перед домом.

Глаза волков и лисиц, пронизывающие глаза коршунов, испытующе скользят по широкому серому лицу, и взор их проникает в сумрак черных глазных впадин. Но там в сумраке этих черных пещер он начинает сверкать и гореть—он еще не так далеко ушел.

Земля родила новое поколение—таинственное, неведомое, нечаемое, никогда не виданное.

Крики и возгласы носятся над шумящим потоком новым, невиданным никогда. Генерал не понимает их. Знамена, плакаты, надписи—непонятно. Гимны, песни—непонятно.

Тихо стоит он, точно дерево, листья которого осыпались, лысое дерево, и кругом ничего, ничего—туман, насколько видит глаз вокруг. И дерево зябнет и гнется от ветра.

Поистине, бесконечно! Разверзлась земля и потекла лава—медленно и безостановочно.

Он уже бродит возле бесконечного потока и теряется в улицах. Руки в глубоких карманах старомодного охотничьего пальто, мягкая шляпа надвинута низко на лоб—усы он немного подстриг, немного, на один-два пальца.

Он идет по бесконечным улицам. Он пересекает площади, заглядывает в переулки. Его мрачный взор следит за шествием демонстрантов. Даже автомобилей с красными знаменами не пропускает он, не оглядев лиц. Он не падает духом,—дальше, вниз по улице, вверх—он ищет.

Да, он ищет.

Улицы наводнены людьми. Плотины взорваны, и волны гуляют по городу. Из предместий, что по ночам—о, как много ночей—светились, пришли они, с желтыми лицами, с руками из'еденными скверным маслом, с глазами, воспаленными от режущего света дуговых фонарей. Даже бледные и изможденные, что уже многие годы не видали света—и те пришли. Пришли и те, что питались репой и гнилой картошкой в то самое время, как кельнер в ресторане Штифтера шептал секреты на ухо своим гостям. Пришли и те, которые пожертвовали свои тоненькие обручальные кольца, в то время, как во дворцах громоздились над столами тяжелые серебряные и золотые подсвечники. Пришли и те, бездомные, на теле которых уже не было рубахи.

Оттуда—оттуда——!

Слепые, забытые и забитые, заживо погребенные, проклятые, мучимые, распятые—да, с крестов слезли они и пришли.

Пришли и женщины, отдававшие без спора генералам плоды своего чрева.

И они пришли—женщины, мужья которых давно истлели в общих могилах, пришли и матери, что видели, как умирает их младенец у пересохших грудей!

И те пришли, безумные, которым война и нужда стóит рассудка, и умирающие, до смерти измученные скорбью и горестями—и те приплелись дрожащими ногами. И отчаявшиеся, которые измеряли свою жизнь уже только часами—и те пришли.

Пришли и отважные, те добрые, что даже в самые страшные годы не потеряли веры в торжество их дела. Да славится имя их!

— Они рождены матерями? Зачаты на постели?—спрашивал генерал.

Ну да, конечно, что за вопрос—рождены матерями; зачаты на постели—и где попало, под заборами, на скамейках общественных садов—что за вопрос, как будто от этого что-либо зависит?

Поскребли землю—и они вылезли. Бесформенные, недоделанные, сами еще—земля. Засыпанные вышли на свет Божий; взрыв освободил их. Казармы и тюрьмы тоже выскребли. Арестанты—тысячи и тысячи, что были еще в пути—были свободны. Был свободен и тот индиец, которого тайный совет держал три года под арестом, и теперь его палач достал ему комнату в отеле, чтоб немедленно самому бежать за-границу.

Исчезли дрессированные на человека лошади и те самые фигуры, что бросались с обнаженными саблями. Исчез и полицейский мозг, составивший Библию всевозможных постановлений, которые регулировали жизнь человека от колыбели до могилы. Туда ему и дорога!

Насыпи и лестницы переполнены. Повсюду ораторы. На автомобилях, на вагонах, экипажах, скамейках. *Немой* десятки, сотни лет безмолствовавший, заговорил!

Солдаты везде в одиночку, группами, отрядами, в своих убогих изодранных мундирах. По морю крови шагали они, из моря крови

встали они, еще опьянены они запахом человечьей крови, но уже горит в их взоре новая надежда.

Мрачно скользит по ним взор генерала, он кривит губы: „германская армия“.—

Он вздрагивает.

Свободны и военнопленные. Стаями пробираются они сквозь толпу: французы и русские, итальянцы и англичане, шотландцы и ирландцы, канадцы, негры, австралийцы, индейцы во всевозможных одеяниях. Они курят, почесывают комично щеки, плюют, горланят. Один ковыляет на деревяшках, и все же смеется. Да и почему не смеяться? Война выиграна, президент поцелует его в щеку и навесит медную бляшку ему на грудь. Его отечество даст ему ренту, двадцать, может быть, сто франков в месяц, он бесплатно получит шарманку— о чем-же ему еще заботиться.

Уже ходят они гордо и неприступно по бурлящим улицам, вся грудь в орденах, красные полосы на брюках, на рукавах, на фуражках; они сияют и светятся: победители! Аромат лавра вьется по их следам.

Взор генерала замечает их еще издалека. Он быстро переходит на другую сторону улицы и видит, как они идут.

Они. Кости брошены.

Даже в его мрачных снах.—Да, часто мучили его тяжелые сны, часто казалось ему в часы изнеможения, что уже слишком, да, несмотря на великолепную армию и отличную организованность ее, слишком— но даже в самых мрачных снах ему не представлялось возможным, чтобы мундиры вражеских генералов беспечно гуляли по Унтер-ден-Линден.

Четкий на фоне сияющего синего неба, четкий и яркий развевается над дворцом красный флаг. Обещания—ложь, свободное мнение—тюрьма, свобода—картечь: потому то и взвился над замком красный флаг.

В здании Рейхстага заседает парламент ноябрьских мужей, они совещаются в залах, где вчера еще старцы спорили о пустяках. Там, где все шептались, бьется тревога, там, где лакей косился на сапоги незнакомца, сидят на корточках караулы у своих пулеметов. Долой сюртуки и галоши, развевающиеся старческие бороды, блестящие лысины, изогнутые спины!

Берегись! Огненным взрывом зажглось в небе новое солнце. Омоченное кровью и слезами идет оно из далекой России. Оно перешло Вислу. Оно перейдет Рейн. Оно перейдет канал—окропленное слезами и кровью. По ту сторону Атлантического океана встанет оно из моря, и стальные стены небоскребов расплавятся в пламени—ведь, и пирамиды египетских царей,—и те стали бессмысленными грудами камней.

Встанет оно когда-нибудь и из волн Тихого океана, там, где обитают желтолицые.

Старых, жестоких, нахальных, тех, кто правит судьбами народов, пожрет оно, новое солнце; раньше, чем они узрят его—раньше, чем они произнесут слово—их не будет уже.

История запишет их имена, как записала имя Нерона, сжигавшего людей, вместо факелов. Но перед их именами побледнеет имя Нерона.

Бернгардт Келлерманн.

Вопросы современности.

Дни нашей жизни.

I.

Русский дух всегда—в необ‘ятности целей.

«Никто необ‘ятного обнять не может»,—это—саркастическая улыбка русского духа над самим собою.

Русский империализм (от океана до океана), русское мессианство (с Востока свет), русский большевизм («во всемирном масштабе»),—все это величины одного и того же измерения. Но... «никто необ‘ятного обнять не может». И тут уже сказывается наша слабость, разыгрывается драма русской души... Трагедия Раскольникова—самая тяжкая русская трагедия. Вначале обуревает mania grandiosa... «Все позволено»... Наполеон... А потом волевая спираль не выдерживает, лопается... Грустная растерянность, приниженность...

Наша сила и вместе наша слабость—в постановке универсальных задач, в устремлении к окончательному и абсолютному. Это—типичная черта религиозного сознания. Религиозное сознание пролагает себе путь к широким массам, ибо для воплощения своего требует «соборного действия», создает свой церковный жаргон, свои хоругви. Высшую идею свою упрощает, вульгаризирует, сводит к двум противоположным силам—добру и злу: Ормузду и Ариману. По одну сторону умиленное и благостное «во имя»; по другую—воинственная ненависть. Сегодня зло заостряется на татарине, жиде, германском империализме (особо и исключительно германском), завтра—буржуе. Сегодня засучивай рукава во имя православия и народности, завтра—во имя прогресса, братушек, малых национальностей, но обязательно засучивай и бей в кровь.

Помню, в начале 18-го года я в Москве посещал заседания всероссийского церковного собора и слышал приснопамятного о. Востокова, который в иносказательной речи призывал к всероссийскому крестному ходу во имя свержения «ига израильского племени». Речь христианского пастыря была вдохновенной, и, как повторный refrain, в ней звучало: «Все великое строится на крови»!..

В русской жизни как бы установился неписанный ритуал: неохватная вселенская задача, религиозная идеология, вульгаризирующая демагогия, засученные рукава и... кровь... Кровь и чужая и своя... Жертвенная, пламенная, религиозная. Потом трагическое—«с неба—в лужу» и саркастическое—«никто необ‘ятного обнять не может».

Боже, до чего повторяется это в нашей жизни!..

* *
*

Теперь, задним числом, может быть, многие отрекаются от идейного участия в русско-германской войне, отыгрываются на митинговых словечках о «преступной империалистической бойне, затеянной цариз-

мом», но мы хорошо помним, что война эта была воспринята всей русской общественностью, как самое важное национальное дело; вся интеллигенция была **за** войну. Потом судили ген. Сухомлинова за то, что он легкомысленно и безответственно возгласил: «мы готовы»! Но возглашали и другие, начиная от Родзянко («Государь, дерзай!») и кончая Плехановым и Кропоткиным. Монархист, октябрист, социалист и анархист об'единились на одном,—на необходимости войны.

... Были страстотерпцы, серые герои, Карпаты, Перемышль. И качнулся маятник обратно: Перемышль—Брест.

Не под силу была мировая война России при ее хозяйственном, техническом, культурном и правовом состоянии. Ибо последняя война была меньше всего состязанием армий, или, как это думал Гинденбург, нервов. Уж на что русская армия многочисленна и боеспособна была, уж на что германские нервы были сильны!

А потом судили ген. Сухомлинова, будто тем лишь мы к войне были неготовы, что имели мало ружей и патронов.

Готовиться к войне мы должны были долгие десятилетия, и готовиться гораздо больше в области промышленности, путей сообщения, финансов, народного просвещения и государственного устройства, но именно в этом отношении мы не были готовы, и это мог и должен был знать Родзянко не хуже Сухомлинова, и Милюков не хуже Родзянко.

Правда, мы имели колоссальные людские резервы, но эти резервы имела и Индия, и черная Африка. Трагизм нашего участия в мировой войне заключался в том, что мы были **сипаями** этой войны, что мы умели для нее поставлять лишь «сырье» и нуждались в технических средствах и фабрикатах, т. е., еще задолго до развязки, даже в самый разгар побед, были, в сущности, не воюющей державой, а воюющей **колонией**.

Будучи по техническим рессурсам своим и по экономическому состоянию колониальным звеном мировой цепи войны, мы претендовали на исключительную, на первую роль. И в этом несоответствии, в этом противоречии возможностей и притязаний был роковой для нас из'ян.

Непосредственным разрешением кризиса была революция. Но общественность наша не познала и не признала истинной природы революции. Кризис углублялся и заострялся, и к концу 17-го года мы должны были выйти из игры. Могучему потоку пытались ставить плотины морализирующих слов о недопустимости сепаратного мира, измены союзниками пр. и пр. Но пришел час расплаты за неподготовленность, и плотина была проткнута, как гнилая солома.

Суд над Сухомлиновым был придирчивой расправой над стрелочником. Суд в Бресте был судом подлинным над русской государственностью и общественностью. Суд за грех максимализма. Суд над Раскольниковым, возмечтавшем о роли Наполеона, рассчитавшим в своем преступлении все, кроме самого себя и своей неподготовленности; суд за ребяческую и наивную веру в антантовских друзей, в миссию войны—освободить «малых сих», в нашу миссию в войне—«в бездну повалить тяготеющий над царствами кумир».

* *
*

По иронии судьбы, ответ держали в Бресте за недомыслие и непосильные притязания, не агитаторы войны, а агитаторы мира. Но опять **агитаторы**, пришедшие с новой идеологией, с новой религией, с проповедью новой миссии, новых неохватных и вселенских устремлений. Место обиженных и униженных наций заняли обиженные и униженные классы.

И как это характерно для русского национального самосознания!

«Русь,—писал В. В. Розанов в своих посмертных записках («Апокалипсис нашего времени»),—слиняла в два дня. Самое большее—в три. Даже «Новое Время» нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась, до подробностей, до частностей»... И в другой главе: «Переход в социализм и, значит, в полный атеизм, совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно «в баню сходили и окатились новой водой». Это—совершенно точно, это действительность, а не дикий кошмар».

Остро наблюден у Розанова этот перелом, но ложно воспринят. Слишком далек был Розанов от социалистической идеологии и слишком оторван от совершавших перелом народных масс. Социализм равнозначущ атеизму лишь в узко богословском толковании. А эмоционально, по психологическому устремлению своему социализм крайне религиозен. И в этом вся сущность, «весь гвоздь» вопроса.

Стихийно-религиозное народное самосознание совершило переход не к атеизму, не к отрицанию, а именно к действенному и пламенному утверждению религии. Одну сменила другою.

Под «огненной завесой», этой новой идеологии было легче выйти из проигранной войны. В психологическом отношении (отнюдь, конечно, не по реально-историческому своему содержанию) революция была фиговым листком нашего поражения.

По первому впечатлению то же было и в Германии. Здоровый психический организм народа и там не хотел неприкрытого национального отчаяния. Вместо траурных нарядов Берлин расцветился красными флагами. Но до вершин религиозного экстаза революции не подняли, новой миссии на себя не возложили, пан-германизм—«панкоммунизмом» не заместили, хотя экономически для коммунизма созрели уж, конечно, больше нашего.

«Обнять необ'ятное», по обыкновению, взялась Россия. Взялась с религиозным порывом, тысячью нитей переплела свою национальную судьбу с судьбой нового грядущего обетования.

И вот уж скоро пять лет, как она жаждет нового часа искупления, нового явления чуда—мировой социальной революции. Для этой цели положено много сил, на этот жертвенник пролита героическая, а потому—священная кровь. Но революции все нет. Мы пристально смотрим на Запад, мы высмотрели глаза, но чудо не явлено.

— «Пролетарий будет мерить в ту же меру, в которую ему мерили,—писал Герцен в 1851 г.—Коммунизм пронесется бурно, страшно, кроваво, несправедливо, быстро. Середь грома и молний, при зареве горящих дворцов, на развалинах фабрик и присутственных мест явится новая заповедь, крупно набросанные черты нового символа веры».

И вот было уже и бурно, и страшно, и кроваво, и несправедливо. Но чудо справедливости еще не явлено, коммунизма еще нет. А неприкаянный «красный призрак коммунизма» как Вечный Жид, бродит по Европе 65-й год. Перебрался уже в Америку и в Азию, предрассветным пурпуром заполнил уже всю планету, а коммунистический день все не приходит. Пропустил уже, казалось, все сроки, обронил все счастливые излучины возможности.

И вспоминается другое пророческое предупреждение Герцена:

— Беда революционного суб'ективизма состоит в том, что он принимает второй или пятый месяц беременности за девятый...

65 лет, как мир забеременел коммунизмом, если считать от рождества «Коммунистического Манифеста», но сроки все еще не исполнились. Вся наша великая российская революция была только первой схваткой мучительных родов. За первой схваткой, с неотвратимостью законов природы, последует вторая. Но когда? Для истории, может

быть, скоро. Для нас—бесконечно долго. Ибо срок в пару десятилетий для истории—мгновение, для нас—половина человеческой жизни.

Наш «локомотив истории» погрузился в туннель. Когда он воспарит вновь к свету белого дня,—кто скажет?

* * *

И всплывает и тревожит вопрос: нужна-ли нам мировая революция и впрямь **уже сегодня, сейчас-же** и безо всякого промедления? Скажем прямо. Если-бы революция на Западе разразилась тотчас-же, сокрушительно и громоносно, мы задохнулись-бы в своей нищете. Ибо как-же возродиться нам после войны и революции, после мора и голода, среди разорения и невежества, без помощи со стороны, без притока извне капиталов, машин и умелых рук? Никого мы шапками сейчас не закидаем; самим-бы хоть какую нибудь засаленную фуражонку на нечесанную голову надеть, да наготу и срамоту прикрыть.

Европе нужна хозяйственно оправляющаяся Россия, а России, пока что, нужна экономически крепкая Европа.

Наши соседи, ближние и дальние, с мучительным трудом восстанавливают сейчас, после потрясений войны, былое равновесие. Получат-ли они необходимую нам крепость после нового потрясения, дополнительного, революцией принесенного? Особенно в первые годы, при гражданской войне, которая на Западе, благодаря бо́льшей сопротивляемости буржуазии и более высокому военно-техническому совершенству, будет упорней, длительней и хозяйственно разрушительней нашего!

Мы видели, как революция в чужой стране (в Венгрии, отчасти—Германии) довольно неопределенное время требует **нашей** помощи,—продовольственной, вооруженной...

Мировая революция—это осуществление конечных целей великой русской революции, претворение в реальность давнишних идеалов демократической общественности, лучшее «вложение капитала» для страны революционной. Но вот беда,—всякий капитал у нас иссяк, и нечего вкладывать в предприятие, какие бы выгоды, духовные и материальные, оно в будущем ни сулило. Сейчас, в данную минуту, мы слишком бедны и нищи, чтобы так счастливо разбогатеть.

Не о величавом и торжественном апофеозе революции можем и должны мы нынче думать, а о простейшем физическом бытии страны, отдавшей уже делу международной революции сотни тысяч лучших жизней, обескровленной и опустошенной, дошедшей до травоядения и людоедства,—сегодня, сейчас, сию минуту не способной завершить дело революции, как в 1917 году не способна была, после миллионных кровавых жертв, завершить дело войны.

* * *

На нашей спине и на наших костях победил антантовский империализм. На наших костях победит в свое время и международный коммунизм.

Плодами первой победы нам воспользоваться не удалось, удатся-ли вкусить из плодов второй?

Россию в войне заместила Америка. В бой она вступила последней и жертв понесла менее всего. Зато и выиграла более всех. За годы революции Америка заместила Россию и экономически. Теперь она стала житницей Европы.

И вот ныне совершается суд. За наш героизм, за нашу жертвенность судят нас в Генуе. Судят бывшие союзники. И за все лишения и жертвы начтут сложные проценты новых лишений, придравшись к

тому, что Россия стала советской. А Америка, пожинающая на мировой арене плоды наших жертв, в Геную даже не соизволяет... Разбогатев на мировом рынке потому, что мы оскудели, она бросает нам мелкую и медную монету «Ар'овской» благотворительности от щедрот своих.

Мы платимся за то, что взвалили на себя непосильную задачу, поставили себе необ'ятные цели. Давали кровавые жертвоприношения и множили их, чтоб оправдать первые могилы. Напряглись до крайности и надорвались, лопнули. Начали с беспримерных по героизму боев,—кончили «к Покровам». Вы помните этот единодушный голос фронта, многократно повторенный устами армейских делегатов в августе и сентябре 1917 г.: «до Покрова; больше не можем и не будем держать фронта ни одного дня».

Начали кличем «jusqu'au bout», («до конца»), кончили лозунгом «до Покрова». Начали «все для войны», кончили—«все для мира», «мир во что бы то ни стало».

На первых порах мы могли взять массой, напором, мостами трупов. Так мы дошли до Перемышля. Но потом маятник откачнулся до Бреста.

От международной войны перешли к международной революции.

Опять ухватились за необ'ятное и непосильное. Красная волна докатилась уже и до Перемышля и до Будапешта. И теперь опять откатывается до Нэп'а Генуэзского.

Мы—великие зачинатели. Мы—мощное бродило в мировом социальном котле. Мы ставили и ставим мировые неохватные задания. В этом—наше величие, но в этом же наша слабость, ибо норовим «лечь перегноем», прорваться прямым лобовым ударом, полагаясь на одну свою бездумную жертвенность и религиозный порыв.

Искони русская драма дошла в наши дни до своего апогея. Величие настигнуто слабостью и немощью у самой последней грани. Провозвестник бунта против мирового капитализма, искалеченный и измятый, распухший от голода и холода, завшивевший в сыпняке, сгнивающий от цынги, павший до человекопожирательства,—он стал ныне побираться по миру, христарадничает и стучится в неприветную дверь того-же капитализма. Во имя чего? Во имя спасения живота своего.

Кто это сказал, что на распутьи—интеллигенция? На распутьи сама Россия и именно новая Россия, духовно несоразмерно богатая, материально непомерно нищая.

II.

Не торопитесь со скороспелыми попреками в интеллигентской немощи, безволии и прострации. Не для того подвел я к самой пучине отчаяния, чтобы сеять панику и слабодушие. Есть грех горший, чем слабодушие—прекраснодушие. Он слепит глаза, темнит рассудок. Так пусть же будет у нас полная ясность, как-бы неприглядны ни были порой ее показания. Только она может осмыслить наш дальнейший путь и ответить на волнующее: «где мы и что мы»?

Позади остались великие годы, великие притязания и дерзания, великий максимализм утопий. Они уже вошли в историю, вдвинулись в нее, как хорошо прилаженные ящики доброго «довоенного» шкафа. Поэзия—кружевница легенд—уже облюбовывает вдохновенную тему российской революции. Но не будем смешивать восприятия поэтического с оценкой политической, сегодняшний день—со вчерашним. С восторженно религиозных эмпирей спустимся к грузному эмпиризму действительности. Ибо после медовых лет начинаются будничные десятилетия, разливается терпкий вкус пореволюционного времени.

Россия оказалась на перепутьи—богатая и нищая, в ореоле величия, с печатью изнеможения. И явились перед ней только две возможности: принять бескомпромиссную смерть во имя неохватного, или оппортунистическую жизнь во имя реальных достижений.

Россия—не в конце своего исторического пути,—далека еще и до зенита; она лишь накануне цветения,—и по здоровому инстинкту жизни избрала второй путь. Анемично красивому жесту Голгофы предпочла пьянящий кубок жизни. От самоубийства отпрянула,—пришла к самоограничению. Станем-ли осуждать ее за это?

Самоубийство—безнадежно; самоограничение оставляет надежду на будущее и неизрасходованные запасы революционной энергии обращает на преодоление национальной нищеты и разрухи сегодняшнего дня.

Новая Россия нуждается в долгосрочном кредите. Она затеяла электрофикацию—требует срока; мелиорацию—требует срока; международную социальную революцию — тоже требует срока. Брошены семена революции на плодотворную почву европейского разложения, и они дадут свои всходы. Но мучительная сложность положения именно в том и заключается, что все это придет когда-то, а жить надо уже сегодня и завтра.

Жить сегодняшним днем—значит признать его самодовлеющую ценность, значит отказаться от маниакальной и убийственной мысли, что он лишь—**средство** для какой-то высшей, потусторонней **цели**; отказаться от его **служебной** роли. Право-же, признание советским правительством сегодняшнего дня de jure и de facto—не менее знаменательное событие, чем международное признание самого советского правительства.

Революция, тем паче такая, какова она была у нас,—явление слишком крупно исторического порядка, разрешает задачи, уготованные слишком долгим прошлым, устремляется к слишким заповедным далям, чтоб отражать сегодняшний день и считаться с его докучными и назойливыми для нее нуждами. Отвращая свой лик от черного прошлого, зачарованно устремляясь в будущее, революция **не видит** ран на ногах, не примечает бледной худобы истощения, стесненного без свободы дыхания. Таков ее дальтонизм. Всякий гений односторонен, и к известного порядка мыслям, идеям, словам—глух, слеп и нем. Может-ли быть действенный гений революции иным?

Революция—это стремительный, динамический мост от далекого прошлого к далекому будущему, а сегодняшний день со всей целокупностью его богатств, с живыми людьми, с накопленным запасом навыков, знаний, культуры—лишь **строительный материал**, мертвые бревна для этого иррационального исторического моста. Для революции сегодняшний день, со всем, что он в своих скобках заключает,—величина количественного, а не качественного измерения: энное количество бойцов, едоков, инвентаря.

Весь трагизм нашего поколения в том и заключается, что оно было дважды строительным материалом, дважды—лишь средством, а не целью, не самоцелью. Но пришло время,—и в сознании современника идет обратный процесс: он готов настаивать на абсолютной ценности того, чему революция не придавала абсолютно никакой ценности.

— Верую в Царствие Небесное,—восклицает он,—но сегодня хочу царствия земного. Приемлю мировую революцию, но хочу сытости сейчас-же, «еретической» буржуазной сытости. Хочу мирного обывательского доможития. Довольно состояли в Чайльд-Гарольдах!..

Это «пораженческое» настроение одинаково сильно по обе стороны баррикады.

Злая гримаса наших дней—в том, что сейчас,—таковы, каковы мы есть, мы одинаково истощены для всякого максимализма—и белого, и красного.

В данный момент для всех россиян,—«старо-российцев», как и «ново-российцев», есть только один исход: приняв наследие революции, на созданной ею почве отстраиваться, выздоравливать, действенно проявить волю к бытию и силе.

Выздоравливающий никогда не бывает героем; в лучшем случае, он—**бывший** герой.

И начав жить в реальной атмосфере сегодняшнего дня, не как унылые тени потустороннего царства, а как живые люди, как органическая часть порожденной нами и породившей нас революции, приобщившись ее духа, мы с изумлением обнаружим, что сегодняшний день, безо всякой нарочитости и насильственности, естественным самотёком своим служит преображенному грядущему: национально-хозяйственное строительство России будет вернейшим путем способствовать осуществлению высших интернациональных идеалов человечества.

Ибо весь мир делает сейчас мучительное напряжение, чтобы сбросить с себя ветхого Адама, окраситься по иному национально, переродиться социально, воспрянуть культурно и духовно. На скудную иссохшую землю обильно пролилась кровь. Но преображения жизни все нет,—нет даже для победителей.

И вот, в сущности, в самом разгаре ратных трудов, среди начавшейся и не законченной серии национальных войн, среди начавшейся и не завершенной серии социальных революций—мир с напряжением следит за Россией и ее судьбами.

Усталое, здравое и трезвое европейское человечество ждет от опыта нашей революции не романтического величия, а реальных достижений. Жизнеупорна-ли революция или всем ее великим завоеваниям грозит быть похороненными и гранитной плитою придавленными? Вот вопрос, который волнует Запад, который стоит перед нами без ласкающего глаз романтического оперения, будничная, терпкая горечь которого разлита в наших днях.

Ответ нужен здесь. Выход из коллизии великого и смешного только на этих путях. С незнаемой в прошлом методичностью, постоянством и упорством мы должны разрешить задачу национально-хозяйственного строительства; этим вернее всего сохраним завоевания революции, надежней всего приблизимся к общечеловеческим обетованиям. Да, именно «завоевания революции»! Эти слова не могут быть опошлены, как-бы часто ни повторялись, как не может наскучить каждодневный хлеб.

* *
*

Волна событий проносит нас сквозь туннель меж двух революций. Период, своеобразие которого заключается в том, что он—**по**-революционный и, вместе—**пред**-революционный. Нечто подобное мы пережили на перегоне между 1905 и 1917 годами. Но то были мрачные годы безвременья. То был выход из революции политической и не удавшейся; здесь—из революции социально-политической и, в главном, преуспевшей. Естественно, что пора сейчас иная, понимание эпохи иное; иные перспективы.

Переживаемый период есть период органического усвоения завоеваний революции преходящей и социально-волевого устремления к революции грядущей.

Что такое органическое усвоение и каков его процесс?

Это,—раньше всего—разложение воспринятого на его составные части, отбор питательных элементов, сочетание их с прочими, прежними «старыми» живительными соками организма, синтетическая переработка «старого» и «нового», претворение их в формы, соответствующие

конструктивному складу питаемого тела,—наконец, отметание и выбрасывание лишнего, негодного, не поддающегося усвоению.

Жизнь облегчает нам эту задачу. Она, как-бы идет навстречу созревшей потребности. Она отсекла и отсекает утопический хвост революционной новизны; она выбросила и выбрасывает за борт все гнилое наследие старины. Нам остается только об'единить и сочетать это пропущенное сквозь жесткое сито реальности **новое** с пропущенным сквозь суровое сито революции **старое**.

А дальше идет строительная работа на пепелище разорения,—её непочатый угол.. Была бы только добрая воля, да душевная бодрость, да творческая устремленность. Надо зализать раны, обстроиться после всероссийского пожарища, прекратить пьяное экономическое шатание, стать на крепкие ноги.

«Тактика» России должна быть по времени. И в период залечивания никак не может быть хирургической. Период залечивания, в который мы сейчас вступили, поляризует крайности, стирает острые углы противоположностей.

Наш путь не устремляется непосредственно в дерзновенные исторические дали, а, значит, при нынешних об'ективных условиях—в пучину. Он не змеится в панике к прошлому, к реставрации. Он идет вглубь, в самую землю, в защитные окопы. **Не революция и не реакция, а революционный консерватизм**.

Лозунг консерватизма, хотя-бы и революционного, звучит в нашей публицистике как-то вопреки «традициям». Но кто-же не знает, что мягкий халат и туфли интеллигентской традиции давно стащил один из двенадцати Блоковских героев,—содрал прямо со спины. Сгорели в огне революции халат и туфли романовской интеллигентской традиции. А те старые дятлы, которые теперь выстукивают дореволюционную прогрессивно-либеральную дробь, давно уже перестали быть и прогрессистами и либералами. Они стали просто реакционерами, в современной обстановке состоят «вридзам'ами» Маркова II, хоть и не всегда отчетливо это сознают и никогда не признаются.

И все-таки,—реакционеры были; консерватизма на Руси не было. Консервативное умонастроение — несомненный продукт революции. Горечь утрат нас делает более ревнивыми к тому, что мы имеем, к тому малому, но жизненно ценному, что мы сохранили от прошлого, и—одновременно—к тем дарам нового, которые куплены такой дорогой и тяжкой ценой, к положительному наследию революции, к революционным завоеваниям.

* *
*

Рожденный в утробе революции консерватизм внутренне противоборствует тому духу непоседливости, который мотал нас с одного фронта на другой,—с продовольственного на топливный, с топливного—на транспортный, с транспортного—на санитарный, из города в город, с этаж на этаж, из квартиры в квартиру. В пьяной лихорадке, в горячечной суете, «на холостом шкиву», вертелась эта вздорная карусель перманентной реорганизации.

Реорганизация убивала организацию, подрывала самую возможность правильной творчески-строительной работы, споспешествовала всеобщему диллетантизму и верхоглядству, плодила самоуверенно-наглых и лживых всезнаек, которые с умненькой одесской бойкостью и панельной развязностью брались за любое дело. Сегодня он—советский исправник, завтра—начхоз, еще через день—ремонтирует холодильники, а там зачислился уже в Главспичку. Не правда-ли, совсем, как Петр:

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник...

Вершилась великая революционная реорганизация, коренная перестройка государственных и бытовых условий жизни, и ей вослед, бессменным докучливым спутником, как уродливо пляшущая тень на стене, катился, приседал, подпрыгивал поганый бес суеты, непоседливый дух перестановок и мелочно-каррикатурных реорганизаций.

Думаю, что так-же тяготились в свое время кочевьем древние племена при переходе к постоянному оседлому земледелию.

После революционного кочевья мы чувствуем себя крепкими земле хлебопашцами. После зыбкости, неустойчивости, неуверенности вчерашнего дня—мы стремимся к твердой и надежной почве под ногами. Мы пришли на новые места, утучненные навозным перегноем прошлого, и здесь хотим оседлости, дифференциации труда и опыта, знаний и воззрений.

Это не значит, что мы считаем сегодняшний политический день идеальным и возглашаем оцепенение status quo, «умри, мгновение!» Мы полагаем только, что сегодняшний день можно и должно принять за **исходный пункт** равномерного творческого развития и под'ема. Всякий иной путь был-бы несоразмерен нашим нынешним силам, уносил-бы либо в утопическую даль, к изжитым иллюзиям, либо круто поворачивал к Врангелю, к Рейхенгаллю, к вчерашним убийцам В. Д. Набокова.

Напрасно пытались нас загипнотизировать справа и слева, эмигрантская и коммунистическая печать, митинговыми словами о двух единственно возможных путях и об исключенном третьем. Мы верим, видим, знаем, что современная Россия выходит из революции в новых, с каждым днем крепнущих настроениях здорового консерватизма, охраняющего благотворные завоевания, критически отметающего бесплодную шелуху, усваивающего социально-питательные элементы пережитого.

Консерватизм этот не есть догма, твердо закостеневший религиозно-обрядовый устав. Он определяется скорей, как регулятивная идея, как направление воли и сознания, как действенная тенденция. То, что настроения эти с каждым днем упрочиваются и в деревне и в городе, не видят лишь слепые или безнадежно отравленные нетерпимостью ворчливые старухи обоего пола.

А если иным взыскательным критикам покажется несовместимым, внутренне-противоречивым и «беспочвенным» об'единение в одной концепции социальной революции (вне России) с «мелко-буржуазным» доможитием и строительством (внутри России); дальнобойного исторического Завтра с краткострельным Сегодня,—то новая Россия в кавычках и без кавычек возразит на это кратко и упрямо:

— Наша почвенность не логическая, а биологическая!..

* * *

Чтобы перейти от кочевья к оседлости, чтобы прочно зацепиться за землю и на новом месте начать муравьиную, а в коллективной сумме—циклопическую работу земельной культуры, древний хлебопашец искал реку, лес, плодоносный участок. Это были первые, естественно-природные координаты, на которые ориентировался бывший кочевник и в направлении которых развертывал свою молодую зиждительную энергию.

И сейчас, при переходе в новую полосу российского хозяйственно-государственного бытия, мы, подобно праотцам нашим, первым зачинателям хлебопашества, ищем эти определяющие координаты строительства. Пытливо и вдумчиво мы вглядываемся в расплывчатый лик наших дней, и схватываем четыре черты, как-бы четыре измерения современности: **самоограничение** революции, **самопреодоление** коммунизма, хозяйственно-бытовое **самоопределение народа** и идейно-общественное **самоопределение интеллигенции**.

Вот четыре узловых отправных пункта. Между ними должны лечь соединительные тропы и разграничительные межи. Эти тропы и эти межи, в совокупности своей, и обозначат **консолидацию внутренних сил страны**.

Необходимость такой консолидации диктуется отнюдь не политическим благодушием, как не может быть предотвращена и политическим озлоблением. Частные симпатии и антипатии здесь не при чем. Здесь несомненно звучит стихийное повеление истории, которая имеет свою надволевую логику. После войны, а стало быть, массовых смертей, увеличивается рождаемость. Точно также — после разрыва в вихре революции соединительных тканей народно-хозяйственного и социального организма, увеличивается сила сцепления, тяга к новым повторным органическим соединениям, на сей раз—освеженным и более крепким. Никаким колдовством и заклинаниями этого процесса не остановить. Наоборот, ему нужно всемерно содействовать. Консолидация новых и старых сил страны для нас—не только холодное умопостижение, но и насыщенное творческим запалом устремление.

Консервировать—значит сохранять. А, чтобы сохранить, надо привести в соответствие с жизненными запросами, эластичными пальцами ваять революционный воск по контурам современности.

Мы видим, как страх отстать от колеса жизни, от стихийно вертящихся жерновов по-революционной современности, как опасение «отрыва» побуждают коммунистическую власть искать связей с деревней с одной стороны и с квалифицированными работниками науки, техники и культуры—с другой. Чтоб избежать этого отрыва, коммунистическая идеология вынуждена была осознать необходимость самоограничения революции и самопреодоления коммунизма.

Но осуществление консолидации знаменует и другое: **превращение вчерашних об'ектов государственного строительства — в суб'ектов**. Идущие навстречу зову консолидации новые силы в продвижении своем попутно и выявляют себя, повинуются не только слепому закону сцепления, но и закону сознательной дифференциации. Крестьянство ищет нового хозяйственно-бытового самоопределения; интеллигенция—самоопределения идейно-общественного.

Наряду с консолидацией внутренних сил идет консолидация внешних сил: интернационально-революционных и национально-государственных. Консолидация внешних сил революции достигается так называемым единым рабочим фронтом. Консолидация России с внешним миром—включением в международную систему государств и экономическим согласованием интересов Европы.

Последний с'езд коммунистической партии, с'езд трех интернационалов и конференция в Генуе— это три угла одного и того-же треугольника, это три точки приложения одной и той-же силы, три формы одного и того-же процесса, имя которому—консолидация.

Именно консолидация внутренних и внешних сил России есть зов современности, предуготованное русло жизненного потока. Полноводно вступить в это русло—очередная наша тактическая задача. Без этого — неотвратимый провал.

Сегодняшний день требует жизненного согласования всех сил, и старых и новых, построяющих здание грядущего. Над построением новой России (и только в эту меру) должны об'единиться Кремль и Сити. Для построения новой России (в полной и совершенной мере) должна интеллигенция вернуться в лоно народа, на этот раз не на поводу кисло-сладких «заветов» революции, а на почве ее великих и реальных поучений. В этом—главное достижение; к этому—главное устремление.

И. Лежнев.

Под знаком Нэпа.

Мы едем в Геную, как купцы, а не как коммунисты.

В. Ленин.

Пока руководящие слои революционной России жили верой в немедленную мировую революцию, они и в области международной политики, естественно, искали союзников в горизонтальном, так сказать, разрезе, т. е. хотели опираться не на те или иные государства в целом, а на определенные социальные слои во всех государствах. Но теперь уже официально признано, что мировая революция отсрочена. Надолго-ли,—вопрос, на который никто не решается ответить даже приблизительно. Да с практической точки зрения это и не так важно: во всяком случае, перед нами лежит некоторый период, когда учитывать один только горизонтальный разрез уже невозможно, а необходимо принять во внимание также и вертикальный, т. е. установить те или другие отношения с отдельными государствами в целом. «Нэп» внутренний неизбежно ведет и к «Нэпу» дипломатическому.

Этот вопрос становится перед Россией во весь рост именно сейчас, когда она выходит из своего изолированного положения и возвращается на арену обычных международных состязаний, где как раз царит небывалая, кажется, сложность, путаница и неустойчивость. Необходимо разобраться в этой картине, чтобы определить, какие существуют данные для консолидации международного положения России

I.

«Франция бряцает оружием не из сознания своей силы, а из чувства страха. Паническое настроение ее происходит от сознания того, что она, сорокамиллионная нация, не может конкуррировать в военных силах с 66-миллионным германским народом».

В этих строках «Daily Express»—ключ к пониманию международного положения на европейском континенте. Победительница отлично знает, что она физиологически спускается по нисходящей линии, в то время, как побежденная быстро поднимается по восходящей.

Последняя перепись показала, что население Франции с 1913 г. уменьшилось почти на полмиллиона, несмотря на присоединение Эльзаса и Лотарингии, в которых числится до 1.700.000 жителей. Французская промышленность, получившая страшный удар во время войны, оправляется с трудом. Французский государственный бюджет еле держится только благодаря репарационным немецким платежам: собственных сил страны на него далеко не хватает.

По подсчету «Deutsche Allgemeine Zeitung», всего, что Германия должна уплатить в 1922 г. (и чего она уплатить все равно не в со-

стоянии) хватило бы покрыть лишь 35 сотых той суммы, которую Франция должна внести в виде процента по долгам. «Это—обанкротившееся государство, и будущее его всецело зависит от того, простят ли ему долги Англия и Америка».

Между тем, Виктор Камбон приводит в «L'Information» ошеломляющие цифры, которые показывают, что Германия в 1921 г. произвела металла в полтора раза больше, чем Англия и Франция, взятые вместе, что немецкий торговый флот, сведенный Версальским миром к нулю, насчитывает теперь свыше миллиона тонн судов новейшей конструкции, что немецкие морские порты довели свою работу почти до нормы довоенного времени. И все это несмотря на невероятную тяжесть репарационных платежей, несмотря на потерю промышленных районов Лотарингского, Саарского, Верхнесилезского. «Мы убаюкивали себя обманчивыми химерами, когда надеялись, что возвращение Лоррени передаст металлургическое господство на континенте из рук Германии в руки Франции»,—восклицает В. Камбон.

Перед лицом этой необычайной живучести немецкой расы руководители французской государственности ясно видят, что, если представить ход событий естественному течению, то в самом недалеком будущем единоборство с Германией станет для Франции совершенно безнадежным. Отсюда ни с чем не считающееся стремление задушить экономическое развитие Германии насильственными мерами и одновременно—создать в тылу ее могущественный милитарный противовес. Но оба эти приема, вместо того, чтобы укрепить положение Франции, только приводят ее к новым непреодолимым трудностям.

* *
*

Общим местом во всей европейской печати, кроме части французской, стало теперь утверждение, что в настоящий момент экономические соображения берут в международных отношениях решительный верх над политическими. Между тем, по справедливому замечанию «Manchester Guardian», «вся экономическая будущность Европы зависит от Германии и России, Россия и Германия держат ключи от экономических загадок Европы, и главный ключ находится в руках России» возрождение которой, в свою очередь, неразрывно связано с возрождением Германии. Стремясь разрушить немецкую экономику, в угоду своим политическим расчетам, Франция становится, таким образом, в разрез с требованиями мировой экономики. Железным законам природы, по которым развиваются живые силы народов, она хочет противопоставить упрямую жажду власти, опирающуюся не на избыток собственных сил, а на истребление чужих, при том же более богатых и жизнеспособных. Не желает признать, что, разоряя врага, разоряет весь мир, и самого себя в том числе. Но кругом-то нее почти все сознают, и чем дальше, тем решительнее напоминают ей о необходимости прекратить безумный азарт.

Работа над созданием милитарного противовеса на востоке приводит к неменьшим осложнениям. Естественного союзника, вернее—вассала, Франция нашла прежде всего в Польше. Но вся сумма франко-польских отношений к России сразу приобрела характер открытой враждебности, и на этой почве возникли разговоры, что экономическое германо-русское сближение, которое давно уже представлялось неизбежным, превратится в политическое. Этот призрак неотступно стал перед парижскими и варшавскими политиками. О «военном союзе между Берлином и Москвою» постоянно твердила французская печать, о нем говорили в парижском парламенте, на него еще в январе указывал в сейме Скирмунт, как на «большую опасность».

* * *

Немцы о «военном союзе», естественно, предпочитали помалкивать, хотя иногда и проговаривались косвенно. Так, серьезный «Berliner Tageblatt» в одной из декабрьских статей заметил, что Франция «боится новой окрепшей России, способной снести польский вал и заключить дружбу с Германией. Вся основная тенденция французской политики направлена на защиту польской сатрапии и к предотвращению «германской опасности», путем удержания России в состоянии полнейшего безсилия». Зато «экономическое единение» с Россией стало лозунгом дня в Германии. Там усердно проповедуют, что «только с помощью германского труда удастся вновь оживить сотни тысяч изсякших в настоящий момент экономических источников России». Всеми способами при этом стараются доказать, что такое предложение сотрудничества не скрывает за собою ни малейшего посягательства на нашу самостоятельность. Сам Вирт заявил 26 января в декларации перед рейхстагом: «Задача восстановления России может быть осуществлена лишь в полном единении с самою Россией. Германия готова приветствовать всякое предложение, исходящее из признания этого основного принципа. Но она отнесется с величайшим недоверием к политике, отводящей России роль колонии».

Около того же времени Ф. Розен напечатал в «Berliner Tageblatt» обширную статью, содержащую полный отказ от прежней германской политики по отношению к России,—политики, жаждавшей расчленения и ослабления восточного соседа. Теперь эта мечта сбылась полностью, но положение оттого только ухудшилось, ибо французский империализм вьет себе гнездо в отколовшихся от России кусках и в других государственных новообразованиях. Германия поняла, что возрожденная, окрепшая Россия для нее выгоднее, чем современное положение вещей. «Россия не является больше угрозой для Германии, как и Германия не желает больше угрожать России». А деловитая «Frankfurter Zeitung» в своих авансах по нашему адресу зашла так далеко, что «Neue Züricher Zeitung» увидала в ее статьях «тенденциозное произведение, вдохновленное советскими теоретиками и позорным образом отражающее нетерпение Германии».

Но нетерпение Германии понятно и помимо всяких советских вдохновений. Она видит спасение в том, чтобы стать «лихорадочным очагом труда, который, подобно вулкану, будет выбрасывать массы товаров на мировые рынки». Однако планы такого вулканического производства наталкиваются на серьезнейшие об'ективные препоны. Лишенная основных рудных районов, Германия принуждена ввозить сырье из Скандинавии и Испании, но валюта в этих странах так высока по сравнению с германской, что изделия из чужого сырья оказываются для внутреннего рынка слишком дорогими, а страны с высокой валютой стали отгораживаться от немецких товаров высокими ввозными пошлинами. При таких условиях блестящий поступательный ход германской промышленности за прошлый год уже начинает сменяться «недопроизводством». Сейчас наростание кризиса еще несколько замедляется запасами сырья, закупленного раньше, в момент сравнительного под'ема немецкого курса, но эти запасы близки к концу, и для промышленной Германии сейчас становится вопросом жизни и смерти связаться как можно скорее и как можно теснее с русским сырьем и с русским потребительским рынком. Возможно даже частичное перенесение немецкого обрабатывающего аппарата на русскую территорию.

Предпосылки, обусловившие германо-русское соглашение 10 апреля, были ясны уже задолго до подписания этого акта.

* *
*

При таких условиях неудивительно, что в глазах парижских политиков германская опасность выростала в германо-русскую, а Польша из противовеса против Германии превращалась в барьер между Германией и Россией. Но для такой роли Польша слишком слаба. И вот начинается подыскивание новых бревешек для укрепления утлого сооружения, на сей раз уже откровенно по признаку страха перед Россией. В первую голову, конечно, за одну скобку с Польшей становится вороватая Румыния, подтибрившая под шумок Бессарабию и чувствующая себя на бессарабском сундуке еще менее прочно, чем Польша на белорусско-украинском. Карельские события возродили было надежды на присоединение к этой комбинации и Финляндии. Далее делались усиленные попытки вовлечь сюда же Эстонию и Латвию, и при том в весьма спешном порядке, ибо „в виду эволюционирования России, усиливаются руссофильские элементы в Прибалтике“ (слова п. п. с. Недзялковского в Варшавском сейме).

Но французские планы не ограничивались мечтой о создании союза государств от Печенги до Добруджи.

Сравнительно уже давно образовалась Малая Антанта, союз Чехо-Словакии, Юго-Славии и Румынии, имеющий основной целью помешать возрождению Габсбургской монархии. Теперь к Малой Антанте присоединяется Польша и образуется Четверное Согласие, обнимающее 70-80 мил. населения и трактуемое французской печатью опять-таки, как „мощный и непроницаемый барьер завоевательной силе германизма“. Но и на этом полет мысли парижских политиков не останавливается. Еще прошлым летом года они начали шаги, чтобы ввести в состав Малой Антанты Австрию, Венгрию и Болгарию, т. е. осуществить старую мечту Габсбургов об об‘единение придунайских и балканских народов,—только, конечно, под главенством Франции.

Если мы вспомним еще о соглашении с Турцией, которое заключила Франция за спиной англичан, к великому их неудовольствию, то задуманный в Париже план вырисуется во всей своей грандиозности и... фантистичности. Она желает получить под свой протекторат все, что откололось от России, плюс старые владения Габсбургов, плюс балканские государства и через Турцию выйти к своим новым владениям в Сирии. Все эти огромные территории с огромным населением она, конечно, рассчитывает организовать в боевую силу со всем искусством своей милитарной техники и сделать их орудием для утверждения своего господства на всем европейском континенте и в Передней Азии. При таких условиях не страшны уже были бы 66 мил. населения Германии, ей можно было бы смело диктовать свою волю, равно как и у России можно было бы штыками исторгнуть платежи по старым долгам и простор для новой эксплоатации, словом, подвергнуть ее колониальному режиму к вящщей выгоде рентолюбивого французского буржуа. План по-истине Наполеоновский. Но ведь и Наполеон в свое время потерпел фиаско, а среди современных французских политиков что-то не видать Наполеонов.

II.

Все эти комбинации искусственны и в значительной мере противоестественны. Выкапывая яму для жизненных интересов собственной нации в угоду своей мегаломании, парижские политики толкают на не менее самоубийственный путь и своих малых союзников. Но среди этих последних чем дальше, тем больше наростает трезвое понимание вещей.

Идея польско-финского союза находит в Финляндии сторонников только в шюцкорских кругах, т.-е. среди шовинистического мещанства, организованного в стрелковые общества (белую гвардию) для борьбы с рабочим движением. Этот слой, лишенный сколько-нибудь широкого государственного понимания, весьма влиятелен в стране, но более сознательные группы ясно понимают нелепость франко-польской ориентации, направленной против России и Германии. Ведь, как раз с этими странами Финляндию связывают серьезнейшие экономические интересы, в то время, как связи ее с Францией ничтожны, а с Польшей—равны нулю. Поэтому вполне естественно, что переговоры о военном союзе с Польшей привели всего только к взаимному обязательству „соблюдать благожелательный нейтралитет" в случае нападения третьей державы (т. е.. России) на одну из договаривающихся сторон. Но даже и эту маленькую запятую серьезная финляндская пресса квалифицировала, как политическую ошибку, опасаясь, что она вызовет раздражение в России.

Еще осторожнее относятся к комбинациям, могущим вызвать обострение с Москвою, Эстония и Латвия, потому что их экономика находится в полной зависимости от России. Только русским транзитом живут их порты и торговля, только на русском сбыте может возрождаться их промышленность, всегда рассчитывавшая свой размах на имперский рынок, а не на крохотный местный. Их отталкивание от новой России подсказывалось главнейше страхом перед „красной опасностью", и в этом отношении то, о чем говорил в сейме Недзялковский, в высшей степени знаменательно. Поскольку московская власть серьезно выдвигает на первый план удовлетворение нужд крестьянства, постольку настороженность перед ней выветривается в Прибалтике. И наоборот, латвийская аграрная реформа, ударившая больно по помещикам, в частности—по польским в Курляндии, обостряет отношения Латвии с Польшей, которая считает своим долгом вступаться за интересы своих соплеменников.

Что касается до Литвы, то эта по преимуществу мужицкая страна и социально, и национально до такой степени противупоставлена Польше, так ею утеснена и обижена, стоит под такой угрозой польской аннексии, что о вхождении ее в анти-русский союз с Варшавой не может быть и речи. Наоборот, опыт войны 1920 года показал, что для нее естественным и желанным является как раз теснейший союз с Россией.

Всю свою игру в Прибалтике Франция окончательно скомпрометтировала, обнаружив и тут свою жадность неумолимого и нерасчетливого заимодавца. Когда она предъявила прибалтийским новообразованиям требование уплатить часть русского государственного долга, они пришли в чрезвычайное волнение, и пресса их единодушно констатировала, что их реальнейшие интересы требуют единого фронта с Россией для защиты от французской жадности.

Таким образом, все об'ективные данные подсказывают вывод, что в Прибалтике французская политика не имеет никаких шансов на успех, и что там имеется на лицо солидная почва для русской ориентации.

* *
*

На песке построена и придунайская политика Франции.

Прежде всего совершенно не удались попытки втянуть Малую Антанту в антирусские комбинации. Чехия и Юго-Славия решительно отгораживаются от них. По условиям чешско-румынского оборонительного союза, взаимные обязательства на случай нападения третьей державы прекращаются, если нападающей страной явится Россия,—тогда

подвергшаяся нападению страна должна защищаться собственными силами. Равным образом, и в Юго-Славии, по случаю помолвки короля Александра с румынской принцессой, пресса, горячо приветствуя этот брак, сочла, однако, необходимым подчеркнуть, что он отнюдь не гарантирует румынам Бессарабии и Буковины (даже!).

Далее, попытки Франции сплотить все придунайские государства в одну федерацию под ее главенством вызвали не только самое недоброжелательное брожение в Италии, но и решительное сопротивление в Праге и Бухаресте и острое неудовольствие в Белграде. Французские интриги в Венгрии заставляют ее соседей опасаться, что „честный маклер" не прочь посодействовать возрождению венгерского империализма под своим крылышком. А вместе с тем, налаживая дунайскую федерацию, Франция слишком откровенно надеется использовать ее в своих милитарно-политических целях, хотя бы и в явный ущерб жизненнейшим реальным интересам народов Малой Антанты.

Между тем „консолидация южной части центральной Европы" действительно, необходима. Территория старой австро-венгерской монархии, хотя и разорвана на куски, но экономически она все-таки составляет одно хозяйственное целое, и отдельные части сохраняют тесную зависимость друг от друга. В это целое входят и балканские государства, естественный рынок для австро-венгерской промышленности.

Инициативу по установлению необходимой консолидации на здоровых основаниях взяла за последнее время в свои руки Чехо-Словакия. Играя видную роль в системе Четверного Согласия, она в тоже время заключила договор с Австрией и осторожно нащупывает почву в Венгрии. Но комбинация, выковываемая Бенешем, по своему основному смыслу, не только разнится от французской, но и противоположна ей. Бенеш, твердо стоит на почве экономических интересов консолидируемых стран, и если менажирует Францию, то лишь постольку, поскольку это допускает чувство здорового государственного эгоизма. А так как экономические интересы Малой Антанты базируются в существенной степени на германской промышленности (в довоенное время около половины всего австро-венгерского ввоза и вывоза приходилось на Германию), то конфликт с основным нервом французской политики неизбежен, и уже был случай, когда Чехо-Словакия протестовала против применения санкций к Германии, рискуя полным разрывом с Францией. И чем больше об'единительная политика Бенеша будет иметь успеха, тем больше дунайская консолидация будет ускользать из французской орбиты.

Что касается до России, то экономические наши связи с дунайской монархией всегда были ничтожны, с Сербией же их и совсем не было. Правда, что теперь Бенеш очень озабочен, чтобы обеспечить за Чехией и ее союзницами возможно солидное участие в так называемом восстановлении России. Насколько это удастся, предвидеть трудно. Но за то наши культурные связи с славянской частью Малой Антанты необычайно прочны, можно сказать—незыблемы. Ведь, и теперь в Чехии и Юго-Славии царит единодушное руссофильство, только наша эмиграция до сих пор сбивала их с толку, утверждая, будто бы настоящая Россия не та, что оставалась на своем месте, а та, что сбежала за рубеж. Но теперь, надо полагать, это недоразумение скоро рассеется, и мы найдем в тылу Польши и Румынии искренних и стойких друзей. В свою очередь и они не мало выиграют оттого. При могущественной дружбе России, чехам будет не страшна ни германская опасность, ни венгерские мегаломанские мечтания, а сербы получат сверх того надежду на более для них благоприятное разрешение затяжных недоразумений с Италией.

* * *

При таких перспективах и при наличности добрых русско-германских отношений, Польше и Румынии придется подвергнуть свою ориентацию серьезнейшему пересмотру.

Суть тут, конечно, в русско-польских отношениях. Румыния—только деталь, и весь ее азарт сразу бы упал, если бы она почувствовала себя один на один с Россией. Но с Польшей дело серьезно,—боюсь сказать—трагично, потому что ее руководители больше считаются с романтикой прошлого, чем с реальной обстановкой настоящего.

Ведь это—набивший оскомину трюизм, что польская промышленность жива русским рынком, что выход для ее продуктов на Запад—невозможен, что, запертая в тесные туземные пределы, она должна с'ежиться, увлекая за собою к оскудению и всю экономику страны. Известна также и та роль, какую играл в Польше германский капитал. И все таки, политика Польши, получившей так долго жданную независимую государственность, сразу довела до крайнего обострения и с Россией, и Германией.

Сознание роковой нелепости такого положения не чуждо польскому общественному мнению. „Kurjer Polski", например, еще в январе писал, что возобновление сношений с Россией является настоятельной потребностью для всей экономической жизни Польши. „Rzecz Pospolita" еще раньше, обсуждая ту же тему, упрекала варшавских дипломатов: „В нашей дипломатии преобладает мнение, что установить связь сможет Польша только с третьей Россией, но наша дипломатия забывает, что третья Россия это—идущие на всё большие компромиссы большевики, это—вазрождающийся экономически русский народ. С этой именно Россией должны мы установить необходимые сношения и сделать это теперь, или мы этого не сделаем уже никогда".

С особенной остротою встали эти вопросы после Каннской конференции. Печать забила тревогу, что Польша рискует упустить все выгоды, которые естественно должна была бы получить при «восстановлении» России, как ее ближайший сосед и естественный транзитный путь.

Но, к сожалению, до польского сознания, как будто, не доходит та простая мысль, что нельзя искать экономического сотрудничества, сохраняя политически враждебную позицию. Польская политика продолжает жить настроениями и идеологией XVIII-го века, и в этом лежит страшная опасность: для нас — моральная, для Польши — и матерьяльная. При таких условиях нормальные отношения фактически невозможны, но мы от этого страдаем гораздо меньше, чем польский народ, в целом нимало не повинный в непригодности своих политических вождей.

* * *

Краткого обзора довольно, чтобы обнаружить, как мало вышло из грандиозных планов парижских политических инженеров, и вместе с тем, как много шансов у России установить дружное и прочное сожительство с подавляющим большинством народов Восточной и Центральной Европы. Если к этому прибавить те общеизвестные могущественные мотивы, которые сделали из Англии застрельщика в деле пересмотра международного отношения к Германии и России, если оценить ту готовность, с которой Италия, свалив франкофила Торетту, пошла по английской линии, то политическая изоляция Франции и благоприятные перспективы для России становятся совершенно ясными в той части вопроса, которая обращена к Европе.

III.

Вот как характеризовал в конце прошлого года «Manchester Guardian» положение вещей в Передней и Центральной Азии: «Большевистская внешняя политика стремится дать всем национальностям совершенно искренно и бескорыстно действительную, а не фиктивную самостоятельность. Большевики не только дают самостоятельность, но еще и помогают всеми силами восстановить и укрепить ее».

Дело простое. Европа всегда смотрела на Азию, как на об'ект колониальной эксплоатации, требующей для своего удобства политического подчинения колонии. Россия всегда была слишком бедна для надлежащей эксплоатации своих собственных богатств, и, следовательно, в колониях не нуждалась. Но пример заразителен, и за последние десятилетия перед катастрофой мы, без всякой надобности, затевали колониальную политику то на Дальнем Востоке, то в Персии и т. п.,—до Абессинии включительно. Революционная Россия покончила с этой аберрацией радикально, и за добросовестность новой линии ручается полная для нас ненужность какой-либо иной.

Вместе с тем, идеология правящей группы в этом пункте счастливо совпадающая со здравой и исконной линией нашей внешней политики, заставляет нас всемерно содействовать эксплоатируемым народам Азии в их борьбе против эксплоататоров.

Когда Афганистан в 1919 г. победил англо-индийскую армию, вторгшуюся в его пределы, мы первые поздравили его с завоеванной фактически независимостью и вступили с ним в дружеское соглашение. Мы поддерживаем борьбу персов против английских колониальных аппетитов, мы помогли Ангорской Турции отстоять свою независимость. И вот теперь мы пожинаем плоды этой мудрой политики. Указанные три страны вступили в связь друг с другом, и на нашей южной границе складывается тоже своего рода Антанта, постоянно, не только в разговорах с нами, но и в переговорах между собою, расточающая с восточной пышностью восторги перед великодушием северного друга и формулирующая вполне деловой тезис, что поддержание и укрепление дружбы между ними и дружбы всех их с Россией составляет основную гарантию их независимости.

Не подлежит сомнению, что и Индия, которая в ближайшем будущем, конечно, добьется положения доминиона, будет питать к нам самые дружелюбные чувства, равно, как и всякий успех эмансипационных движений в Сирии и Месопотамии может нам послужить только на пользу в том смысле, что наши границы будут обрастать все более и более широким валом дружественных народов.

Продолжением этого вала на восток служит Монголия, в лице которой мы имеем мирного соседа, извлекающего значительные выгоды от общения с Россией и не имеющего никаких причин для расхождения с нею.

А дальше мы вступаем в сферу, где находится второй, и самый страшный, фокус возможных в будущем международных осложнений,—в бассейн Тихого океана.

Как складывается наше положение по соседству с этим пороховым погребом?

* * *

Тут мы прежде всего сталкиваемся с открытым и упрямым стремлением Японии к захвату нашей территории,—не с колониальным внедрением, а именно с вооруженным захватом. В то самое время, когда русские и японские представители заседают рядом в Генуе и рассуждают о мире всего мира, японские войска в Уссурийском крае наступают на народную армию, хотя она и на словах заявляет, и на

деле доказывает абсолютное нежелание ввязываться в вооруженный конфликт с Японией.

Нечего закрывать глаз. Тут на лицо непримиримый конфликт реальных интересов. Мы не может уступить этот, хотя бы и столь отдаленный, очаг русской культуры с его русским, в значительной мере крестьянским, населением. Мы не можем допустить, чтобы Восточная Сибирь стала японским гинтерляндом. И с другой стороны, японская экспансия на материке диктуется тем избытком сил, который скопился на японском архипелаге. Этот же избыток толкает страну Восходящего Солнца на агрессивную политику в Китае и на Тихоокеанских островах и непримиримо сталкивает ее интересы с американскими. Это не то, что польская романтика или французский на песке построенный империализм. Тут причины конфликта глубоки, реальны и неустранимы, и наша задача сводится только к тому, чтобы разыскать в общемировой кон'юнктуре также реально-существующие элементы, которые позволили бы нам разрешить его благоприятно для нас и с наименьшими затратами.

Сближение с Китаем подсказывается общей линией нашей международной политики и, при отказе от прежних захватных планов, не может встретить никаких препятствий,—наоборот, сулит обоюдные, хотя и не столь великие, экономические выгоды обоим народам. Политически же, в будущем, когда силы Китая организуются, русско-китайское единодушие, конечно, обезопасит Восточную Азию от всяких внешних угроз. Но теперь, когда Китай является об'ектом, а не суб'ектом международных борений, русско-китайское сближение само по себе ничего не решает.

Тем необходимее нам договориться до конца с четвертым фактором Тихоокеанской проблемы—с Америкой, и тут неодолимых препятствий встретиться не может. Наоборот, из всех держав Старого Света Россия имеет наибольше общих интересов с Америкой и наименьше реальных причин для столкновений.

Америке нужно завоевание иноземных рынков и помещение капиталов. В этом деле мы с ними нигде не встретимся, как конкурренты. Мы сами—хороший для них рынок, нам самим нужны их капиталы. Им стала поперек дороги Япония,—она и нам враждебна. Вытеснение японцев с нашего Дальнего Востока выгодно и американцам, у которых давно уже разработаны планы для эксплоатации этого огромного, богатейшего района. Они тут много наживут, но и мы в итоге много выиграем от оживления якутских и приморских пустынь, недостижимого нашими собственными нищенскими средствами. Опасаться же политического захвата края Америкой не приходится: к тому времени, когда подобный вопрос мог бы реально встать, мы будем уже достаточно сильны, чтобы он и не подымался.

И в европейских делах мы по существу солидарны с Америкой, отрицая французский милитаризм и систему удушения Германии. Что касается до наших собственных вооружений, то учиненный Чичериным в Генуе «скандал» ясно показал, что тут корень зла не в нас. А известные свойства революционной государственности, отталкивающие американских руководителей, конечно, утрамбуются в итоге всех происходящих сдвигов.

Таким образом, русско-американское сближение предвидится, как естественный результат всей обстановки, создавшейся на Тихом океане. Именно оно консолидирует наше положение на Дальнем Востоке и заставит Японию оставить Владивосток в покое,—по крайней мере, до тех пор, пока не пробьет час «решительного боя» за гегемонию на Тихом океане. Но в этом бое России едва-ли придется принимать особо видное участие.

В итоге мы видим, что мировое положение, взятое в вертикальном разрезе, обнаруживает довольно удовлетворительные данныя для консолидации нашего международного положения в течение того периода неопределенной длительности, который отделяет нас от эпохи мировой революции.

Комбинации, направленные против России в Европе, нежизнеспособны и в значительной мере уже рассыпались. То, что от них еще осталось, компенсируется с избытком возможностью сближения России с Германией и с рядом малых государств. У нас нет таких острых и неотложных нужд, удовлетворение которых заставляло бы нас взяться за оружие. Нет у нас также и не должно быть таких международных обязательств, которые могли бы автоматически нас втянуть в войну, не нами начатую. И если бы где-нибудь в Европе вспыхнула такая война, то нам нет необходимости в нее ввязываться, если она не повлечет прямого на нас нападения. Впрочем, вероятность европейской войны на ближайшее время весьма не велика, и при умелом дипломатическом использовании нашего международного веса может приблизиться к нулю. Россия очень скоро обнаружится, как существенный фактор европейского мира, и ее трезвый, некорыстный, но авторитетный голос поможет бескровному улажению конфликтов, которыми кишит Версальская Европа.

Положение России в Передней и Центральной Азии почетнее и неуязвимее, чем когда бы то ни было. Мало того, его можно назвать многообещающим.

Лишь на Дальнем Востоке—черная туча. Отвести грозу или хоть отсрочить, можно только при помощи американского громоотвода.

С. Адрианов.

Городское строительство.

Ниже мы приводим сокращенную стенограмму заседания III сессии В. Ц. И. К. от 22 мая, на котором обсуждался вопрос о „мероприятиях по восстановлению коммунального хозяйства". Документ этот представляет живейший интерес для широких интеллигентских кругов, издавна работавших на поприще муниципальной общественности и в частности для деловых элементов (инженеров, врачей и др.), которые и ныне ведут практическую работу в области городского строительства.

Обнаружившиеся в докладе и прениях обстоятельства крайне характерны для нашего переходного времени. Разруха городов с одной стороны и новая экономическая политика—с другой—ставят на очередь вопрос о функциях старых городских самоуправлений, и В. Ц. И. К. делает попытку разрешения этого вопроса в новых организационных формах.

Белобородов (докладчик, зам. Нар. Комиссара по внутр. делам). Прежде чем перейти к изложению тех пунктов, которые имеются в розданном вам проекте, я должен указать на то обстоятельство, что в вопросах о восстановлении коммунального хозяйства, мы за последнее время имели чрезвычайно много точек зрения. И самые „экстремистские" (я бы так их назвал) из этих точек зрения сводились к попытке восстановления городского и земского самоуправления под видом органов управления коммунального хозяйства.

В проекте, который выдвинут был одной из наших братских республик, можно увидеть, что одна из групп коммунальных работников там предполагала организацию специальных городских коммунальных советов, выбираемых в особом порядке сроком на 6 лет. Другая точка зрения, которая была по этому вопросу, наша отечественная великорусская, сводились к тому, чтобы вокруг коммунальных отделов организовать и соединить все те отрасли народного хозяйства, которые переведены на местный бюджет, другими словами, мы тут имели попытку почти аналогичную с первой—создать из коммунальных отделов те самые учреждения, которые ведают без исключения всем местным хозяйством, т.-е., восстановить под тем или другим видом бывшее местное самоуправление. При этом предполагалось произвести и некоторые организационные перестройки в нашей советской системе, а именно: организацию городских исполкомов, существующих, как исполнительный орган городского совета, в отличие от существующего положения, когда исполнительным органом городского совета является соответствующий губернский или уездный исполнительный комитет. Дальше были попытки в направлении некоторой ломки нашей финансовой организации. Здесь в Москве возник проект, предполагавший передать все местные сборы и налоги в сферу компетенции коммунальных отделов, с созданием при них специального финансового и налогового аппарата. Все это вместе взятое имело последствием то обстоятельство, что когда мы встретились с товарищами в коммунальной комиссии, организо-

ванной ВЦИК, то эти точки зрения, чрезвычайно резко противоположные друг другу, в результате некоторого примирения и компромисса, были приведены к одной точке зрения, которую мы условились разделять и проводить на ближайшее время. Эта точка зрения сводилась к следующему: коммунальное хозяйство нужно собирать, ибо оно до сих пор остается чрезвычайно распыленным. Например, когда Питер приступил к пересмотру своих учреждений, то обнаружил, что в губернских транспортных отделах имеется служащих более 1000 человек, которые работают по местному транспорту. В связи с этим петроградский исполком принял постановление о том, чтобы часть местного транспорта передать в коммунотделы, а заведывание другой его частью возложить на специально организуемые транспортные конторы, которые должны быть построены на началах самоокупаемости.

По нашим сведениям, примерно в 12—15 городах эта работа в данный момент проделывается.

В таком-же духе разрешаются и другие вопросы (об электростанциях, о бойнях, о телефоне и проч.). Задача сводится к собиранию отдельных частей коммунального хозяйства, разбросанных до сих пор между отдельными ведомствами.

Далее законопроект трактует об организации соответствующими исполнительными комитетами коммунальных отделов, городских касс мелкого кредита, городских страховых учреждений и других хозяйственных органов, которые позволили бы, при настоящем положении коммунального городского хозяйства, находящегося в состоянии крайнего разрушения, привлечь максимум средств и частных и общественных, в частности кооперативных, к делу городского и коммунального строительства.

Само собой разумеется, что это новое городское строительство, с привлечением частного и общественного капитала, должно быть и естественно построено на тех правовых нормах, которые были несколько времени тому назад приняты. Один из пунктов этого постановления трактует о том, что сессия ВЦИК должна поручить СНК разработку декретов о порядке заключения внешних займов и предоставления концессий в области коммунального хозяйства. Нужно заметить, что и в этом отношении некоторые наши города работу эту уже проделывают; в частности, соответствующую работу ведет Петроград, кажется, несколько городов на Украине, вопрос поставлен на очередь в Москве и в некоторых других наших городах. Но так как до сих пор нет определенных норм, которые указывали бы, каким образом, на каких условиях и в каком порядке Губернские Исполкомы могут заключать эти договоры и концессии, само собой разумеется, эта работа затягивается. Переговоры на Украине, например, ведутся чрезвычайно долго, вследствие того, что нет специальных указаний в законе, определяющих права Губисполкома, который мог бы точно представить себе, что и в каком порядке он может сдавать на концессии в городском коммунальном хозяйстве и в какой форме могут привлекать заграничный капитал для городского строительства. Здесь также имеется указание на необходимость издания закона относительно наделения городов землей.

Этот закон в проекте уже внесен в СНК.

Этот вопрос для некоторых городов имеет чрезвычайно существенное значение. Ибо огромное количество дефицитных хозяйственных статей в городском коммунальном бюджете естественно наталкивает коммунальные отделы на мысль об организации таких видов подсобного хозяйства, которые давали бы некоторую прибыль для компенсации других убытков коммунального хозяйства.

Наряду с этим вопросом здесь пришлось внести еще один пункт, касающийся организационной стороны вопроса, в частности об организации в уездных и губернских городах, с числом жителей свыше 50 тысяч, специальных коммунальных городских отделов.

В сообщениях целого ряда товарищей с мест указывалось, что нужно создать такие органы, которые занялись бы исключительно вопросами город-

ского строительства, но по этому поводу организовывать городские исполнительные комитеты нет надобности; это привело бы в конце-концов к тому, прожитому уже периоду советского строительства, когда у нас существовал в одном городе и городской, и губернский Исполкомы. Поэтому для того, чтобы разрешать такие хозяйственные вопросы деловым образом, нужно создать технический аппарат, подчиненный соответствующему исполнительному комитету, который бы ведал вопросы исключительно городского коммунального строительства, причем за губернскими коммунальными отделами, естественно в своей численности уменьшенными, должны остаться вопросы, подлежащие ведению их вне городской черты, т.-е. в уездах, ведение дорожным строительством, вопросами наделения городов землей и т. д. Вот примерно то, что предлагает настоящий проект.

Совершенно бесспорно, что новая экономическая политика естественно давит на существующие организационные формы, и нам в этом отношении нужно прямо себе поставить задачу: или пойти на компромисс, в виде создания специально городских коммунальных отделов, или поставить твердую плотину этому давлению, условиться, что в этом отношении никаких отступлений на местах не будет сделано, что структура нашего советского аппарата должна остаться такой, какой она была до сих пор. Иначе создается положение, когда, с одной стороны, говорят о создании специальных городских советов, избранных на 6 лет, с другой—мы имеем довольно заметную тенденцию, обнаружившуюся на одном из с'ездов врачей, недавно происходившем в Москве,— тенденцию среди деловых кругов наших советских органов, попытаться некоторые функции советских отделов изменить, переместить, и советский аппарат соответственным образом реорганизовать так, как этого требует теперь новая экономическая политика. Этот организационный вопрос наиболее резко стал в вопросе коммунального строительства.

После выступлений Садовского и Варейкиса, из которых первый настаивает на сокращении функций коммунальных отделов, а второй—на их расширении,—слово предоставляется Богуславскому (Москва).

Богуславский. Товарищи, прежде всего пару замечаний по поводу работ нынешней сессии, которые имеют весьма существенное значение и очень близкое отношение к данному вопросу. В каждом вопросе, какой бы вы ни взяли, имеется определенная тенденция и попытка со стороны тех или иных Наркоматов урезать права местных исполкомов. Ухитрились даже в уголовном кодексе,—казалось бы, самая невинная вещь,—вставить главу, которая Губернским Исполнительным Комитетам не дает права административных взысканий за неисполнение местных постановлений. Не знаю, удалось ли в комиссии восстановить право или нет. Кажется, удалось. В комиссии проект о прокуратуре тоже добросовестно обкарнали. Не знаю, что из этого выйдет. Идут большие споры во всех инстанциях. Мы, представители с мест, серьезно должны просить, кого следует, подписать с нами соглашение о ненападении. Если так будет продолжаться, то под большим сомнением встанет вопрос о целесообразности существования органов на местах. И дальше,—следующее требование, которое мы должны выставить серьезно,—это о признании нас, мест, о признании де-юре. Этого признания нет. Что случилось? Перед сессией оказалась чрезвычайно большая повестка, сложная. Она была нам представлена в законопроектах, в нескольких вариациях. Здесь мало хорошего, много плохого и несколько весьма скверного, к которому относится и данный коммунальный проект. Не хватило времени у Совнаркома и у Президиума ВЦИК обсуждать все эти сложные темы и представить их в разработанном виде. Когда дело дошло до Губернских Исполнительных Комитетов, до коммунального хозяйства, то совершенно не оказалось времени и здесь уже совсем сняли вопрос в виду того, что Совнарком не успел рассмотреть. Почему не успел рассмотреть? Не в этом дело. Наркомвнудел или—вернее—часть его, пожелала быть исключением из общей тенденции, поставить точки над „и" и признать Губернские Исполнительные Комитеты де-юре. Тов. Равич в той комнате сидела по целым дням и ночам и договаривалась с одним и с другим

ведомством, но договориться не могла и пришлось этот вопрос снять. Теперь вопрос о коммунальном хозяйстве. Этот законопроект я не нахожу возможным ни в коем случае предлагать и подвергать организационным, редакционным и иным поправкам.

Нельзя такие законопроекты предлагать сессии. Вы знаете, что сейчас самое больное место—это то, что делается на местах. Нужно восстановить города. Наряду с большими государственными вопросами нужно и этому вопросу уделить должное внимание. Тов. Варейкис говорит, что в Баку приезжают разговаривать о тех или иных концессиях, ведут разговоры, направленные к восстановлению народного хозяйства, и спрашивают, какие у них права. Когда я был в Лондоне по поручению московского Совета, я пытался говорить, но меня прогнали вон, говоря: вас много таких; какие переговоры, когда у вас прав нет. Я обиделся, указал на демократический централизм, на всякие постановления С'ездов Советов. Но, когда мистер Уайльз предложил мне на бумаге показать и мы проштудировали вопрос, то оказалось, что никаких прав мы не имеем.

И вот после этого все эти вопросы, сложные и больные, нам предлагают передать в СНК, чтобы что-то выработать, даже не указывая срока, так что неизвестно, будет ли это к следующей сессии выработано. Это не годится, тов. Белобородов. Так нельзя. Надо признать, что коммунальный вопрос сугубо серьезный. Я считаю, что сессия или должна решить специальный день посвятить работе по выработке общего проекта, который бы указал—хотя бы в общих чертах—права исполкомов в отношении восстановления городов, если нам не удастся в эту сессию набросать нечто в роде старого городового положения, где были бы ясно указаны права по вопросам финансовым, налоговым, концессий, здравоохранения, займов. Такой законопроект надо было бы представить подобно тому, как представили по адвокатуре. Тем более, что адвокатура могла бы подождать. Если в эту сессию не удастся набросать нечто в роде такого общего свода прав губернских исполкомов, то, по крайней мере, как говорил тов. Варейкис, необходимо выработать основное положение, поручив НКВД подготовить общее положение о правах исполкомов и представить к следующей сессии. Уйти отсюда с принятием представленного нам коммунального проекта - это будет позор—и даже больше того, который мы испытали, когда приняли на С'езде Советов наш знаменитый бюджет. Разве можно так делать, когда на каждом шагу интересуются работой по восстановлению городов. Разве можно при таком положении ограничиться этим листком бумаги, где фактически ничего нет? Мое предложение сводится к тому, чтобы этот законопроект, конечно, отвергнуть и избрать особую комиссию. В этой комиссии должны принять активное участие все члены ВЦИК с мест, и все из центра, которые интересуются вопросом о восстановлении городов. Этому вопросу посвятить в комиссии день и попытаться выработать законопроект, который был бы похож на законопроект и давал бы возможность вести работу. Если не удастся провести его в эту сессию, по крайней мере, надо выработать общее положение, на основании которого поручить НКВД подготовить общий свод таких законов и представить следующей сессии.

Никитин. У нас на местах главным доходным источником коммунального отдела могла быть оплата за коммунальные услуги. До настоящего же времени ни одной копейки коммунальным отделам не платят. Вы знаете, что средняя заработная плата на местах за апрель была 3 миллиона 400 тысяч руб. Это означает, что низшим служащим надо доплачивать 500.000—600.000 руб. из кармана для того, чтобы выкупить тот маленький паек, который им полагается. Следовательно, само собой разумеется, здесь не может быть и речи о том, чтобы оплачивались коммунальные услуги, а если не будут оплачиваться коммунальные услуги, то о поднятии коммунального хозяйства, о строительстве не может быть и речи, и мы такими же гигантскими шагами пойдем к разрушению нашего городского хозяйства, какими шли до настоящего времени.

Как же выйти из создавшегося положения? В каждом городе, я больше чем уверен, есть известная статья доходов. В Псковской губернии имеются

3 великолепно оборудованных мельницы, которые могли бы дать, если перевести на советские деньги, несколько десятков миллиардов рублей. Может быть, эти мельницы надо было бы передать в ведение коммунального хозяйства, потому что с каждой мельницы можно получить до 4.000 или 5.000 пуд. НКПрод берет это себе в карман. Раз мы видим, что наше коммунальное хозяйство совершенно разрушается, что мы его должны во что бы то ни стало поддержать, то, следовательно, здесь надо изыскать средства. Как одно из наиболее радикальных средств, являются эти мельницы, эта большая статья дохода.

После выступления Кузнецова, предлагающего восстановить городские исполкомы, с заключительным словом выступает докладчик Белобородов.

Белобородов. Я вполне согласен с т. Богуславским, что не нужно вносить худых проектов, но я точно также соглашусь, вероятно, с большинством товарищей, что эти худые проекты не нужно обсуждать в стиле Бим-Бом, что в значительной степени можно отнести к выступлению тов. Богуславского. Ибо о чем шла речь? О том, что кто-то по чьим-то проискам снял обсуждение вопроса о городских исполкомах. Суть-же дела заключается в том, что это положение нуждается в тех дополнениях, которые вы вносите последним своим решением о правах Губисполкомов. Нельзя же его принять, не зная, какие формы примут декреты относительно прокуратуры, адвокатуры, об имущественных правах. Я перехожу теперь к тому, что предлагал тов. Богуславский. Он предлагал заняться сессии вопросом о том, какие же права принадлежат Губисполкомам в области заключения займов и концессий. Я прошу вас, т. т., хотя бы несколько минут подумать, где мы эти займы будем получать, кому эти концессии будем сдавать и какие для этого должны быть основные предпосылки, не касающиеся вопроса о коммунальном хозяйстве. Вам, товарищи, я полагаю, достаточно ясно, какие для этого основные предпосылки должны быть, ибо вчера тов. Иоффе вам достаточно ясно указал, что эти вопросы просто вот так, как думает тов. Богуславский с тов. Варейкисом, взяв в руки карандаш, и, написав об этом, разрешить нельзя. Всем ясно, что эти вопросы разрешаются на основе предварительного решения других более сложных, более глубоких и более важных вопросов. Я полагаю, что это предложение, обращенное к сессии, чтобы она просидела целый день и выработала какое-то нужное,—конечно, нужное всем положение относительно права заключения займов, не выдерживает ни малейшей критики. Эта выработка может быть проделана, очевидно, не теперь, не в последних числах мая 1922 года, а в какое то другое время. Когда это другое время придет, трудно сказать, и если бы тов. Богуславский предсказал нам это, мы были бы ему чрезвычайно признательны.

Дальше, товарищи, я перехожу к тем прениям, которые здесь были по существу предложенного проекта. Здесь говорилось о том, что тут ничего нет нового. Нам нужно было сказать, чем занимаются губернские коммунальные отделы. Это нужно было еще раз сказать и повторить старые декреты. Что предлагал тов. Варейкис? Он предлагал организовать вокруг коммунальных отделов городские и земские управы, которые и должны заниматься вопросами местного строительства, а исполкомам отвести функции, так сказать префектов. Пусть предгубисполком сидит и вершает вопросы высшей политики. А вот вопросы местного хозяйства будут решать не исполкомы, а какое-то другое учреждение, специально для этого созданное.

Сиречь, это будут решать, по мнению этих товарищей, гальванизированные городские и земские самоуправления, и нужно против этой гальванизации умерших трупов всячески протестовать и указать, что в сферу компетенции коммунальных отделов относится. Нужно также указать, что попытка тов. Варейкиса построить какой-то производственный базис для коммунальных отделов является по существу дела аналогичной попыткой, ибо производственный базис из местного хозяйства должен быть по существу у исполкома, а никак не у коммунального отдела, ибо не только коммунальное хозяйство требует того, чтобы черпалась прибыль из подсобных предприятий, но и другие

отрасли нашего местного хозяйства требуют этих доходных статей. В этом нуждаются и школы, и больницы и многое другое, хотя бы, то же самое социальное обеспечение, которое находится теперь в ужасном положении. Все это требует того, чтобы получаемую прибыль мы распределяли между всеми отделами, без всякого права монополии отдельного отдела соответствующего исполкома, ибо только исполком является суб'ектом местного бюджета.

В большинстве наших городов, в 99% наших городов, коммунальные отделы сводят свои сметы с дефицитами, и потому ни в коем случае нельзя ставить изолированно вопрос о каких-то коммунальных хозяйственных средствах. Суть проекта сводится к тому, чтобы постановить, что из себя представляет коммунальное хозяйство и тем пресечь дальнейшие попытки восстановления городского и земского самоуправления, всякие попытки писать городовое положение. У нас есть советская конституция и постановления советских с'ездов, и переписывать их нет никакой надобности.

Здес вновь поставлен был вопрос о городских исполкомах. На комиссии ВЦИК мы отвергли все в этом направлении попытки, тем более, что они очень симптоматичны. Думаю, что нам в комиссии нужно нужно будет принять специальное ограничение, потому что иначе придется воскресить старый вопрос о том, кто является носителем пролетарской диктатуры—губисполкомы или горисполкомы. Само собою разумеется, поставить этот вопрос вновь, значит снова и снова создавать трения и склоки. Поэтому значительно целесообразнее поставить его в плоскости выделения делового аппарата для управления городским хозяйством. Я вполне согласен с тем, что это может быть факультативно, т.-е. необязательно.

Относительно предоставления юридических прав коммунальному отделу. Этого делать не надо, так как установление юридических прав для коммунальных отделов превратит их в городские думы и они подтянут к себе финансы и, все функции городского строительства, воскресив немедленно блаженной памяти городские думы.

В заключение заслушанный проект я предлагаю принять за основу и сдать его в комиссию с тем, чтобы в комиссии договориться и внести в положение ряд окончательных пунктов, чтобы в области организационной никаких ни городских, ни земских самоуправлений вокруг коммунальных отделов больше не организовывать и чтобы проектов таких больше не писали и бумаги не тратить.

Избирается комиссия для разработки законопроекта, в которую защищаемый Белобородовым проект передается, как материал.

Неистовый Бог революции.

«Страшно впасть в руки Бога живаго».

Кругом воскресает церковность. Вернее, ее воскрешают, и довольно назойливо, в кругах интеллигентных и даже так называемых ученых. Философия и теология. Эти почтенные дамы во весь девятнадцатый век даже раскланиваться было перестали. И вот неожиданно какой поворот и какое единение... Священников на кафедрах не видим, но зато профессора читают уже проповеди в церквах. И недавно на казенном юбилее науки патентованно-ученые уста провозгласили во всеуслышание совсем позабытую формулу: *Sciencia ancilla Theologiae* (Наука—служанка богословия). И другие ученые уста шепнули под сурдинку с стыдливым укором:—Не *ancilla*, а *soror* (сестра).

Если угодно, в этих заявлениях, и откровенных и стыдливых, есть своя доля истины. *Такая* наука—*такой* теологии, действительно, сестра, и даже, пожалуй, служанка. Обе одним миром мазаны. Каков поп, таков и приход. Какова хозяйка, такова и служанка.

Я не вижу причины огорчаться этим единением, даже если оно сопровождается политической реакционностью (конечно, не у всех) и весьма активным антисемитизмом. Есть люди, которые все еще пугаются этого старого и скверного, весьма надоедливого призрака. По моему, слишком много чести. Время его, пожалуй, еще не прошло и снова он воскреснет,—и не раз. Но пугаться не следует. Что может причинить новый прилив антисемитизма?.. Пресловутую еврейскую «черту», увы—не восстановить. Да и где эта черта? Она и сама уж лежит за чертою. И вдобавок явились другие «черты», не только еврейские, но также и русские, немецкие, турецкие, и, Бог знает, какие. Вся Европа превратилась в нелепый переплет каких то запутанных клеток, то черных, то белых, как на шахматной доске. Черные клетки—это новейшие гетто, ограды заключения, концентрированные лагери; белые клетки, это—запретные места, лежащие под знаком табу. Тут не то, что антисемитизм, сам чорт запутается и точно не разграничит.

...Итак остается последний аргумент, *ultima ratio populorum*, спасительный погром. Но опять таки, мало ли их было!.. Бывали погромы еврейские и русские, и белые, и красные, национальные и классовые, и сверхклассовые. А для евреев, собственно, погромы, можно сказать, это ежедневная пища, «дежурное блюдо» истории. Одним больше, одним меньше, не все ли равно... Но претерпевый до конца спасется...

И потому я нисколько не намерен огорчаться этим воскрешением церковности, смешением обрядов и догматов, схоластики и службы, троичности и единства, вплоть до непорочного зачатия Христа и самой Богородицы.

Ведь, если присмотреться поближе, так видишь, как все это мертво. Потому и воскрешают, что мертво. Но мертвого не воскресить.

Умерли старые боги и старые формы поклонения и веры. Горение духа нельзя подменить горением желтого воска. Каменные церкви, как гробницы, сколько ни надсаживайтесь вы с вашими учеными проповедями. Золотые венцы на иконах, как венцы погребальные. И если даже ободрать добровольно все это грубое золото и отбросить его прочь, отдать на голодающих, чтоб проступили опять из под позолоты суровые древние лики,—вместе с ними не проступит суровая древняя вера. Не поможет никакое геройство, никакое самоотвержение. Не вернутся апостольские времена. Некогда Савл фарисей так простодушно и легко превратился в апостола Павла. Но ныне преосвященный Павел состоит в фарисеях и присно и во веки. И даже сверх'естественная сила не с'умела бы воскресить в нем умершего апостола.

Умерло все христианство, как некогда умерло язычество, и сколько не записывайся в отступники от торжества науки, выйдет только неудачная каррикатура на великого Юлиана Отступника.

Умерли старые боги, но Бог жив. Ни старый, ни новый Бог,— все тот же Единый, Предвечный.

Бог не может умереть. Он создал человека по своему подобию, и тем утвердил за собою негаснущее бессмертие.

И вот он теперь проявляется в мире со стихийной, невиданной силой. Разве вы не слышите Его в вихре разрушения?

«Поднялся дым от гнева Его и из уст Его огнь поядающий. Пустил стрелы свои и рассеял молнии. И мрак сделал покровом своим и сенью своей—облака воздушные».

Могучий неистовый Бог... Это не только умозрение, но также ощущение, по крайней мере, для меня. Ибо теперь, как и прежде, я все еще ношу в душе непосредственное ощущение буйного и творческого Бога.

И для меня Он является самым существенным фактором всей моей внутренней жизни. Я разговариваю с ним ежедневно,—с кем же иным разговаривать! Я обращаюсь к нему, но Он не всегда отвечает. Он молчит.

Чем больше я старею, тем чаще и тем дольше он молчит.

В минуту тяжелых страданий и жестоких потерь я обвиняю Его, как Иов. Он молчит.

— Зачем создал ты ад жизни, ад на земле?..

Молчит, не отвечает.

Я привлекаю Его с неба на землю,—к земному суду, и сажаю Его на скамью подсудимых и сажусь с ним рядом. Но Его нет со мною. Даже призрака нет. Темно, молчание.

— Отдай мне моих мертвецов!—Молчит.

— Где вы, мертвецы, отзовитесь?—Молчат, не отзываются.

Некого винить, не перед кем оправдываться. Жутко, живая смерть.

И вот, когда сомнение и мука достигли высочайшего напряжения, Он неожиданно является, как буря, как циклон.

Он в пламенных кудрях и с пламенем в очах. И дух Его пламенный, и страсти Его во веки неукротимые.

Не подсудимым является Он, а судьей и обвинителем.

— Что надо, чего визжишь?

— Господи, я так страдаю!

И вдруг неожиданный ответ, тот самый, который Жан Кристоф Ромена Роллана получил перед своей Неопалимою Купиной:

— А я, ты думаешь, не страдаю? Я борюсь. Ты тоже борись!

— С кем же Ты борешься, Господи? Разве же ты не хозяин, не господин всего сущего?

— Нет. Я—господин бытия, но я не господин небытия. Сущее идет к небытию. Я—жизнь, воюющая со смертью. Я капля света, упавшая во мрак. Ты тоже свети!

И тогда я склоняю, как Иов, свою голову и спрашиваю тихо и ворчливо:

— А если я устал? Сжалься надо мною!

— Усталых не надо жалеть. Мне некогда жалеть.

— Ведь Ты беспристрастный судья...

— Нет, я пристрастный судья. Долой подсудимых! Я Бог героев и ревнителей.

И уже пролетает опять. И я напрягаюсь, как лук, и кричу ему в догонку:

— Скажи мне еще одно слово!

— Я не Слово, я Действие!

— Скажи, куда ты ведешь нас?

— Веду!

И нет Его больше. Все тихо, мертво. Где отыскать потерянного Бога? Беру старую таинственную книгу, две книги, свитые вместе, Ветхий и Новый Завет. Белый листок между ними, как будто межа. На нем ничего не написано.

Две книги, два завета, два Бога, Иегова и Христос. Перечитываю оба завета один за другим. Чего они хотят, чего они требуют оба?...

Ветхий Завет, да это сплошной обвинительный акт против грозного Иеговы.

Кто этот Иегова? Какое найти для него знакомое имя, чтоб сделать понятной себе самому сущность Его и действенную душу?

Бог максималист. Бунтовщик, который победил и сделался диктатором. В Египте Иегова был бунтовщиком и заговорщиком. Вот он возмущает Моисея и евреев против царя Египетского: „Пойди к Фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израйлевых".

И жалобы Израильтян: „Вы сделали нас ненавистными в глазах Фараона и дали им в руки меч, чтобы убить нас".

Словно статья либеральной газеты в доброе царское время.

Иегова—террорист.

Вот он научает Моисея с Аароном: „Возьмите по полной горсти пепла из печи и пусть бросит его Моисей к небу пред лицом Фараона".

Ведь это первая разрывная бомба...

Иегова террорист и народоволец. Десять египетских казней, это десять террористических актов для того, чтобы низвергнуть египетское самодержавие!

Настала революция. Фараоново войско потоплено в море, а евреи вышли сухими из воды и попали в пустыню.

Иегова победил. Тотчас в народовольце просыпается диктатор. Да какой! Толпа в Его руках, как глина в руках горшечника. С таким не сговориться. Попробуйте сказать ему этак вежливо словами Ивана Карамазова: „Почтительнейше возвращаю свой билет на вход в мироздание". У него один ответ: „расстрел"!

„Наведу на вас стрельцов, и они расстреляют вас стрелами своими". И один ли расстрел... Что такое расстрел? Даже смиренный Алеша Карамазов шепчет: „расстрелять"! с бледной перекосившейся улыбкой.

Но разнообразие казней Божиих превосходит даже инквизицию и всякое воображение.

1) „И расступилась земля и поглотила их домы и всех людей Кореевых и все их имущество"...

2) „И послал Господь на народ ядовитых змеев, и умерло множество людей из сынов Израилевых".

3) „И поразил Господь народ великой язвой. И нарекли имя месту сему: „Гробы прихоти".

Или еще проще:

4) «Возьмите мечи и пройдите по стану от ворот до ворот и обратно и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего».

А вот три страницы проклятий и угроз:

«Небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь. Десять женщин будут печь хлеб ваш в одной печи. И будут хлеб отдавать весом».

«И будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших будете есть...»

Жутко перечитывать старую страшную книгу. Не над нами ли исполнились снова зловещие угрозы?

Неистовый Бог с железным сердцем и огненными устами. Спросите Его о терпимости, о правах человеческих, о шести политических свободах...

Вот ответ: «Кто будет хулить имя Господне, пришлец или туземец, выведите его из стана, и пусть все общество побьет его камнями...»

Заметьте, какое беспристрастие. Пришлец-ли, туземец ли... Всякого побейте камнями, не взирая на подданство.

Говорят о партийной пристрастности. Так вот вам:

«Кто будет ходить за чужими Богами, то я обращу лицо мое на человека того и на его род и истреблю его из народа его и всех блудящих по стопам его... Я, Господь ваш»—т. е. Я—собственник ваш. Вы моя вечная собственность.

Политический сыск. Чтение в сердцах и в помышлениях. Еже делом, еже словом, еже помышлением. Читать в сердцах,—ведь это привиллегия Бога, узурпированная жандармами.

И заметьте при этом, всякое лыко в строку. Всякий жест, всякое лишнее движение.

В случае чего не помогут никакие заслуги, никакая партийная давность. На что уж Моисей!..

«И сказал Господь Моисею: «Взойди на гору Нево и посмотри на землю Ханаанскую, и умри на горе. Не войдешь в ту землю, которую я даю сынам Израилевым...»

За что эта утонченная и варварская жестокость?

А видите-ли, за то—«что вы не явили моей святости при водах Меривы в пустыни Син...» Іегова велел Моисею *поднять* жезл и *приказать* скале, чтобы она источила воду. А Моисей, как видно, не расслышал или не понял и, как делал прежде много раз, *ударил* скалу жезлом своим дважды, и потекла вода.

Вот все прегрешение. Поистине пустая и жалкая придирка, чтоб в последнюю минуту списать человека в отставку с небесного пайка...

И если с Моисеем такое, то чего же должны ожидать простые, не заслуженные смертные?

«Вы народ жестоковыйный. Если пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас до тла...»

К такому Богу страшно и приблизиться.

Программа Иеговы в пустыне—это программа максимум. В этом он верен себе до конца. Он не знает ни тактики, ни эволюции, ни наступления, и отступления, ни обходных и фланговых движений, не приемлет политики Неп. Не ездит ни в Брест и ни в Генуя, ни в какую не ходит Каноссу, политическую или экономическую. Между прочим, программа Его совершенно фантастическая, в стократ не-

исполнимее самого немедленного коммунизма: — Пустыня. Голодное странствие. Какой то Ханаан впереди. Кто знает, где он? И в виде последней награды — грядущее царство железной теократии. А человеческий материал — голодные рабы, выведенные из душного плена.

«Мы помним рыбу, которую в Египте ели даром, репчатый лук и чеснок, — зачем вы вывели нас в пустыню, чтобы уморить нас голодом...»

И вместо ответа: «Сорок лет будете блуждать в пустыне, пока не истребится последний из сего поколения».

И если говорить о коммунизме — то вся экономическая программа еврейского скитания в пустыне все тот же военный коммунизм. Временами паек, манна, перепелки, нанесенные ветром, а чаще реквизиции. «По пол-сикля серебра с человека, считая на сикли священные. И кольца, и серьги, и перстни, и привески. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленного цвета, виссон и козья шерсть и кожи красные и синие и дерево ситтим, приносили сие на всякую потребность для скинии...» Есть тут, правда, еще оговорка: «каждый, кого влекло сердце» — но это обычная оговорка официальных воззваний о «добровольных» пожертвованиях.

Зачем же эта страшная дыба божественного максимализма? У Іеговы есть цель. Разрушить египетский плен. Разрушить основательно, навеки, так разрушить, чтоб некуда было вернуться, если и захочешь. Прежде всего разрушение. Это основная цель. Сбросить зло, разрушить нечестие, не то весь мир насквозь прорастет нечестием, как плесенью.

И не только Египет, но так же Ассирия, Вавилон, и самая Иудея, все на одном счету — чужие и свои.

«Буду судить тебя, Иудея, по путям твоим и воздам тебе за мерзости твои. Так говорит Господь: Конец пришел на четыре стороны земли... Будешь сидеть, как вдова без детей. И не останется углей, чтоб погреться ..»

В промежутках разрушения Иегова строит и, надо сознаться, строит довольно неуклюже, по старым образцам, но как то на спех. Строит из обломков разрушения, в новых условиях и на новых местах И в конце концов, будто невзначай, получается новое, небывалое неслыханное.

Разве это не нелепо построить на ходу, для скитаний в пустыне, пресловушую скинию, целый походный храм, да какой еще тяжелый. Жертвенник из меди и медная решетка, медные колья, серебряные подножия, ковчег из золота в сажень длины, светильник и чаши из золота, и Бог знает, что еще. Как было перетаскивать все это? Разумеется, Иегова и сам помогал, осеняя скинию облаком. Может быть, от облака скиния становилась легче.

Но в конце концов из скинии вышел храм Иерусалимский, в своем роде замечательное сооружение, даже с архитектурной точки зрения. И храм этот родил из себя одновременно Собор Святого Петра в Риме, Святую Софию в Константинополе и Каабу в Мекке.

* * *

Я собрал здесь эти выписки и сопоставления совсем не для того, чтобы обличить неистового Бога. Да он и не боится обличений, как и не нуждается в защите. Он предстоит пред нами сегодня такой же, как был за три тысячи лет назад или за сто тысяч лет в начале творения.

Грозный и безжалостный, торопливый и пристрастный. Только таков и бывает Бог действенный, Бог мировой революции, мирового порыва вперед. Таков бывает Бог и таков — человек. Такой Бог живет в сердце человеческом и другого не измыслить.

Этому Богу на жертву Женевский Кальвин спалил на костре благородного Сервета.

Если бы не спалил Сервета, то не мог бы и быть непреклонным, железным Кальвином. И вслед за Кальвином и Нокс и Кромвель и все гололобые (круглоголовые) пророки пуританской революци ревновали о Ветхом Завете и как то позабыли, промолчали о Христе.

Так было, так есть и так будет.

Христос тоже Бог, но это Бог новый, Бог Нового Завета, Бог умягченного сердца, рожденный городской отмякшею культурой. Новый Бог,— такого раньше не было,—ниспосланный с неба Отцом довольно неожиданно, без всяких прецендентов. Но это не первая, а только вторая гипостась божества. Не действие, а слово, божественный Логос, не Отец, а только Сын Божий.

Христос—не творец жизни, а Учитель жизни, Учитель человеческий, сошедший на землю с небес для того, чтобы учить человечество.

Но даже и здесь, на земле, царство Христа, увы, не от мира сего.

Христос пожалел человечество. Не надо жалеть человечество. Жизнь, судьба и великий Демиург не ведают жалости.

И потому жив Христос в эпоху подготовки духовного переворота, но в самом процессе революции мало отведено места для словесного Христа. Христос, это словесность, словесная часть, программа, воззвание, проповедь, божественный полит-отдел, или—в личном воплощении—небесный Луначарский со всем аппаратом пролеткультов и сорабисов.

И в самой интимной задушевности своей Христос, это небесная мечта, царство небесное, сошедшее как то на землю, царство крестьян и рабочих, ему же не будет конца, „то, чего не было“ и, должно быть, не будет, Апокалипсис Иоанна, „Через сто лет“ Беллами, „Красная Звезда“ товарища Богданова,—не более того.

В русской революции Христос жил в первую жертвенную пору, в эпоху народничества.

Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский.
Суди, судья, но проще и скорей
Без мишуры, без маски фарисейской,
Без защитительных речей.

Это не София Бардина пред судом особого присутствия,—
Это христианка пред судом фарисеев.

Но и в самом христианстве Христос был жив только до Константина, даже только до Монтана, до первых еретических драк.

А потом из святого христианства выросла святая инквизиция.

Место Христа заступил Великий Инквизитор Достоевского.

Великий Инквизитор, конечно, не Христос, но также и не Иегова. Это Антихрист, антибог, это сатана, принявший личину божества; вместо бога революции, великий бог реакции, бог подмороженного гниения, приостановленной смерти. Неизбежен роковой переход от Христа к Инквизитору. Если божественный Логос пытается стать на место божественного Действия, непременно выходит подмен. Действие не знает лицемерия, но слово ведет к лицемерию и вместо божественного действия рождает сатанинское противодействие.

И нет ничего третьего. Или неистовый Бог революции, стихийный и пристрастный, живой ураган разрушения, или же сам Сатана, „страшный и умный дух“, охраняющий старый порядок.

И я бросаю обе книги. Мертвы они для меня. Слова их не вразумительны и притчи обоюдны. И снова зову улетевшего Бога — отчаянно, долго, упорно, как ребенок зовет свою мать. И опять Он предо мной, весь в огненном вихре, горит и не сгорает.

Летит и бросает на ходу пылающий призыв: „Пылай со мной!“

И я отвечаю, дрожа и напрягаясь: „Мал огонь мой, чадит и гаснет. Раздуй его снова!..

— Да, я раздую его, или задую совсем!

— То или другое. Я готов...

И он дует на меня своим буйным дыханием и опаляет меня на мгновенье своим нестерпимым огнем. И в этом огне я горю и не сгораю. Я сам становлюсь на мгновение, как Неопалимая Купина. Я молод, я силен. Я приобщился опять живому огню революции.

Я в Боге и Бог во мне, неистовый Бог разрушения и творчества.

Тан.

Две правды.

(Спор А. Барбюса с Р Ролланом).[7]

Среди французских антимилитаристов наметилось два течения. Все они одинаково отрицательно относятся к существующему социальному строю и к войне, как самому ужасному проявлению его основной сущности. Все они одинаково не мыслят выхода человечества на светлую дорогу иначе как через упразднение власти буржуазии и всей буржуазной психологии. Но в то время как одни требуют активной революционной борьбы в духе коммунизма, другие ограничиваются идейной непримиримой критикой существующего и принципиально отказываются от физических методов борьбы. Вторые именуют себя „ролландистами", т. е. последователями Ромэна Роллана. Застрельщиком первых выступает Анри Барбюс, горячий поборник реорганизации общества на коммунистических началах.

Полемизируя с „ролландистами", он писал недавно:

„С какими бы прекрасными и громовыми проклятиями не выступали герои справедливости и человечности,—войны, все равно возобновятся, потому что социальные причины войн остаются неприкосновенными. Слова разума не имеют *непосредственной* власти над жизнью. Нет реального контакта между событиями, которые развиваются, цепляясь друг за друга, и величавым отрицанием, которое великий протестант выносит на свет общественности. Роль чистых моралистов— отрицательная. Они отстают от фактов и осуждены всегда отставать. Воротилы всемирных дел смеются над этими моралистическими церемониями и не бросают своих привычных занятий. Необходимо выйти из этого благородного и ужасного бессилия".

Выход же, по мнению Барбюса, только один—в осуществлении коммунистического идеала, и правильность этого решения задачи, по его словам, доказана математически.

„Вся структура идеальной реорганизации общества повелительно подсказывается устранением гнусных аномалий, и в нашей социально-революционной геометрии не может быть ошибок в вычислениях. В этом утверждении не больше самонадеянности, чем со стороны ученых, когда они утверждают непогрешимость основных законов прикладного знания в сфере, ограниченной, практической,—единственной, где прикладные знания имеют право употреблять это великое слово—„истина". Мнить себя обладателем верховного разумения в великих вопросах философского, религиозного, этического или эстетического порядка— значит обнаруживать смехотворную претенциозность, но также смехотворна слабость мысли, которая сваливает в одну кучу без разбора известные элементарные очевидности и попытки уловить абсолютное

„Другие решения? Их нет. Есть только один способ об'единить все личные устремленья в экономически уравновешенный динамизм. Другой способ заключался бы в индивидуальном перерождении чело-

века, который, превратившись из эгоиста в добродетельного, уже не нуждался бы в коллективной организации и регламентации, чтобы идти по стезе добра и жить сообразно с требованиями идеала. Не приходится серьезно останавливаться над перспективой такого чудотворного разрешения. Будем надеяться, что долгие века морального прогресса осуществят ее на благо будущего человечества. Но реальная обстановка властно давит на современные поколения; нас истребляет перманентная гражданская война; человечество гниет, летит в бездну, а нам предлагают подождать, пока все устроится, и люди преобразятся все без исключения (ибо нет принуждения,—не должно быть и исключений) по образцу тех, кто является на земле лишь чудесным исключением".

Органическому отвращению „роллландистов" к насильственным методам действия Барбюс противуполагает такие соображения:

„Что касается до „насилия", то да будет позволено сказать, что это слово раздувают и искажают до чрезмерности и превращают в разнузданное чудище то, что является простым выводом здравого разума, и что следует упорядочить и поставить на свое место. Никто не проповедует жестоких и кровавых деяний, по крайней мере среди тех, кто поставил себе целью, опираясь на научное знание, избавить социальную механику от разгула насилия. И тем не менее очевидно, что если идет речь об утверждении порядка, основанного на разуме и справедливости, то он может утвердиться только в том случае, когда заинтересованные в нем продиктуют его и поддержат, т. е. возьмут в свои руки власть,—единственное ведомое людям средство диктовать и поддерживать что бы то ни было. Насилие, или вернее—принуждение,—ибо нет нужды заранее придавать самую трагическую форму этому неизбежному завоеванию власти жертвами эксплуатации у современных узурпаторов,—оно есть само по себе элемент нейтральный. Его можно квалифицировать как добро или зло только сообразно с тем употреблением, какое из него делают. Человек, наиболее пропитанный гуманитарными идеями и тонкостью чувства, должен допустить принуждение по отношению к уголовным преступникам, чтобы отнять у них возможность причинять вред. Милитаристский и империалистский режим проявляется в ряде деяний, которые мы слишком долго медлим приравнить к уголовным преступлениям. В данном случае насилие явится только средством обезоружить. Его вмешательство, во всяком случае, в общей концепции революционного социализма есть только деталь, и притом деталь временная,—мы точно взвешиваем смысл слов, коими пользуемся".

С возражениями на эту статью Барбюса выступил сам Ромэн Роллан, опубликовав в парижских газетах следующее письмо к своему другу и отчасти единомышленнику:

„Дорогой Барбюс! Я не мог удержаться от дружеской улыбки, когда читал в вашей статье, что вы не допускаете ошибок в той „социально-революционной геометрии", которая является основным принципом вашей группы. Что за удивительная отвлеченность мышления! Вы превосходите своим рационализмом современных ученых, с которыми себя сравниваете, а между тем даже они далеки от того, чтобы утверждать непреложность основных законов эвклидовой геометрии. Как хотите, я не верю в незыблемость законов вашей „социальной геометрии" и с ней себя не связываю, 1) потому, что даже в теории доктрина неомарксистского коммунизма в ее настоящем виде, по моему мнению, мало соответствует истинному человеческому прогрессу, 2) потому, что фактическое применение этой социальной геометрии было запятнано ошибками гибельными и жестокими, что в жертву этой социальной геометрии главари нового порядка приносят очень часто самые высокие этические ценности: свободу, истину и человечность.

„Милитаризм, полицейский террор, грубое насилие не становятся для меня священными оттого, что они являются орудием диктатуры коммунистов, а не плутократии. С сожалением мне приходится слышать ваши слова о том, что „насилие—это только деталь, и при том деталь временная",—потому что, я думаю, такой формулой мог бы воспользоваться любой министр буржуазного строя.

„Ваша мысль глубоко ошибочна в основании. Ее можно было бы принять, и то с трудом, если бы человеческая душа была tabula rasa, на которой можно было бы писать мелом каждый раз наново, стирая губкой предыдущее. Но живой организм есть субстанция крайне восприимчивая, она реагирует на самые тонкие оттенки ощущений, и насилие оставляет в ней неизгладимые следы.

„Теперь больше, чем когда либо, я утверждаю: „Неверно, что достижение цели оправдывает средства". Для истинного прогресса средства представляют еще большую важность, чем самая цель. Ибо цель, столь редко достигаемая, меняет только внешние отношения между людьми. Средства же влияют на человеческий дух своей справедливостью или насильственностью. Если сознание впитывает в себя влияние насилия, то никакая система управления не сможет воспрепятствовать угнетению слабых сильными. Вот почему я считаю защиту этических ценностей в революционное время еще более важной, чем в обыкновенное: ибо во время революций человеческий разум более восприимчив к переменам.

„До тех пор, пока я не увижу в коммунистической партии стремления к истине, которое связано с уважением к свободной критике,—я буду находиться вне партии, без всяких иллюзий касательно исхода борьбы".

* * *

Как близок нам этот спор двух непримиримых правд,—спор, вечный, как мир. Более ста лет бились мы в его трагических противоречиях,—и не разрешили его, как не разрешит никто и никогда.

И вот теперь о том же самом спорят два крупнейших представителя французского духа, — оба одинаково искренние, одинаково убежденные. Один—энтузиастический поклонник русской революции, другой—поклонник и ученик Достоевского и Толстого.

Барбюс—натура действенная, тип „нетерпеливого человеколюбца", который не может сносить несправедливости и страданий. Его уязвленная совесть требует активного вмешательства в ход истории, немедленной расправы с насильниками и низведения на землю царства правды и любви, хотя бы и через кровь. Как и свойственно такому типу, он убежден, что обладает секретом спасения мира; его план безошибочен, математически доказан, он—единственный, и никакого иного плана нет, и быть не может.

Роллан—тоже человеколюбец, но он—весь в мысли, а не в действовании, и потому застрахован от наивной веры, и любовь его терпелива, не ждет немедленного чуда, не облегчит тяжести бесконечного ожидания расправой с насильником, не оскорбит требований абсолютной любви.

— Но ведь это утопия!—волнуется Барбюс,—это равносильно отказу от борьбы со злом, это—беспрепятственный простор насильникам!

И в ответ ласковое:

— Дорогой Барбюс!

Как поцелуй Христа в бескровные уста Великого Инквизитора.

Наша литература сто лет жила великой мечтой, начиная с Пушкина, гневно отрицавшего „бичи, темницы, топоры", и кончая Толстовской проповедью непротивления.

Наша интеллигенция из поколения в поколение впитывала эту возвышенную традицию духа.

Тем не менее рядом с ней жила и развивалась другая традиция— действенная, идущая от Пестеля через Бакунина к Ленину.

И когда дело касалось не дум, а поступков, совесть русского интеллигента оказывалась всегда ближе к Барбюсу, чем к Роллану.

Отвага отчаянной борьбы, даже в самых насильственных формах ее, всегда пленяла нас, и если интеллигент отказывался спрятать динамит, предназначенный для террористического акта, или оружие, припасенное для вооруженного восстания, то только из шкурного страха, а не по соображениям старца Зосимы, и совесть его никогда не могла ему простить такого малодушия. А во время революции это вскрылось во всей своей силе. И много ли теперь осталось русских интеллигентов, которые по совести могли бы подписаться под письмом Роллана? Многие ли за последние бурные годы не благословляли на пролитие крови во имя целей, представлявшихся им священными?

Но разве значит это, что мы отвергли раз на всегда Пушкина и Достоевского?

Ведь и Пушкин не только проклинал бичи, но и благословлял кинжал в руках Брута и Занда.

Ведь и Кириллов благословлял того, кто разможжит голову за изнасилование девочки.

* * *

Как близок для нас этот спор—и вместе как далек!

Там, на Западе самые страшные бои еще впереди. Для нас— они остались позади.

Мы что-то узнали, когда были окутаны пеленой кровавой,—и уже больше не спорим.

Мы поняли, что нельзя отсечь ни одной правды, ни другой, ни правды духа, ни правды действования.

Вечно живы обе: и Кесарева, и Божия.

С. Адрианов.

О старом и новом индивидуализме.

(*Заметки*).

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы—дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.

Ал. Блок.

Может быть, никогда на протяжении многовековой истории культуры не ощущался с такой остротой кризис индивидуализма, как в наше время. Мы переживаем, поистине, какое-то потрясение „самости"; в сознании нашем происходит какое-то перемещение молекул. «В огне и холоде тревог», в вихре испытаний незабываемых прикоснулись мы к чему то новому, доселе неведомому.

Давно ли восхищались мы тем индивидуализмом, который расцвел в произведениях Уайльда, Верлэна, Пшибышевского и других западно-европейских модернистов? Мы положительно принимали его как *мировоззрение.* Теперь это для нас только литературное явление—правда, очень ценное, интересное и привлекательное, но чисто-литературное, а не актуально-идеологическое. Холодная почтительность, в лучшем случае—легкая грусть—таково наше отношение к нему.

В чем же дело? Чему научились мы, что нового приобрели за последние годы? Страшно произносить это ответственное „мы", когда говоришь от своего имени. Но „мы" слагается из „я". Есть нечто дающее мне уверенность, что мое «я» не одиноко в ощущении омертвелости былого индивидуализма—насквозь литературного и формального.

«Старый», «до-революционный» индивидуализм лишен интуиции, замкнут в своей суб'ективности, глух и слеп к вселенской реальности. Потому и выродился он в декадентство, в буржуазную пошлость и мещанское самодовольство, что он был отрицательной оппозицией к общеобязательным ценностям.

Он смешивал мистику с эстетикой, в эстетическом восприятии искал мистического опыта, эстетические иллюзии выдавал за мистические реальности. Уязвленный уродством эмпирического мира, декадентский индивидуализм не сумел противопоставить ему ничего, кроме голого вымысла, кроме призрака красоты.

В отличие от декадентского индивидуализма, прячущегося в свою раковину, уходящего от действительности в абстракцию, новый, революционный индивидуализм хочет *бытия, как красоты.*

Революция—вся в пафосе, в энтузиазме, в горении. И *суть* революционного индивидуализма вовсе не „братство, равенство и свобода", а прежде всего—жажда иной просветленной жизни, которая была бы прекрасна *сама по себе*, вне зависимости от эстетических канонов. Не в одном искусстве красота (как думает эстетический индивидуализм), не в одних „переживаниях" и „настроениях", отвлеченных, условных и туманных, но в самом бытии, в космосе, в самом существе мира. Красота есть действительно высшая реаль-

ность, но только тогда, когда она познается непосредственно, в живом опыте. Она—сопричастна самому бытию, а не только литературному его воплощению.

До-революционный индивидуализм есть лже-аристократизм, уединенное, оторванное отношение к миру. Индивидуализму же, прошедшему через горнило революции, открывается правда соборности, смысл соединения в один организм, каждая клеточка которого имеет абсолютное значение.

Старые формы индивидуализма говорят о том, что индивидуальное есть высшая ценность, и *потому* не должно иметь никакого отношения к миру, к истории, к общественности. Новые формы индивидуализма, утверждая индивидуальное начало в полноправии, стремятся воплотить его в историческом процессе, превратить персональное в универсальное..

Не следует думать, однако, что совершился какой то окончательный перелом, что черное стало белым. Мы еще *на* переломе; кризис еще не изжит. Где свет, там и тени: проявления русской революции сплошь да рядом некультурны, и это потому, что в злосчастном прошлом старой России мало было культуры. Неудивительно, что великая правда и подвижничество соединяются иной раз с неправдой и низостью.

* * *

Все должна исцелить и очистить сила творческого самосознания, путь к которому лежит через преодоление прежнего индивидуализма. Последнему недоставало творческого начала, трагедия его была трагедией пустопорожней свободы (в литературе примером такого индивидуализма является Ибсеновский Пер Гюнт).

Лже-индивидуализм говорит: „хочу того, чего захочу“. У Сологуба, у Бальмонта чрезвычайно отчетливо выражен этот „фантазерский“ индивидуализм, в котором есть что то ребяческое, беспредметное. Подлинно свободный индивидуализм утверждает свою волю содержательно,—он знает чего хочет. Зрелая и свободная воля направляет свое вожделение на богатства бытия, а не на пустоту.

Декадентский индивидуализм с его беспредметным вожделением („Я—Бог таинственного мира, весь мир в одних моих мечтах“) кажется теперь и циничным, и нигилистическим. Ничего реально творческого в нем нет.

Творческая сила самосознания сказывается прежде всего в привычке нуждаться в сверхличном оправдании индивидуальной жизни.

Влеченье к об'ективным ценностям—как личная потребность,—вот что типично для творческого сознания. *Только идея-чувство, идея-страсть обладает творческой силой,—идея же чисто умозрительная гибнет в самопожирании.*

В старых формах своих индивидуализм служит принципу дифференциации; в новых он служит соборности. Творческий индивидуализм ведет к „становлению“ того, что *есть*; другими словами, *раскрывает в эмпирической наличности бытия идеи, долженствующие воплотиться.* Ложный индивидуализм отворачивается от необходимости; подлинный прозревает в ней высшую свободу,—*творит* свободу из необходимости.

Творчество бесстрашно по природе своей.

„И ляжем мы в веках, как перегной“,—сказал русский поэт о „мудрецах и поэтах“, „хранителях тайны и веры“. Вот что непереносимо, немыслимо для буржуазного индивидуализма. Человеку самодовольному и благополучному хочется, чтобы все окружающее было центростремительно по отношению к нему. Человек ищущий и творящий весь—в центробежном устремлении: от своего „я“ отталкивается он к периферии мира, чувствует себя только ступенью, только средством. Вспоминаю прекрасные слова А. Белого (запомнившиеся в личной беседе): „в том смысле, в каком мы *волим* стать человеками, мы еще только *становимся* ими, и до цели далеко“.

Было бы неверно думать, что мещанство побеждено или что оно может быть побеждено,—мещанство понятие не столько классовое, сколько духовное: зловещие признаки все усиливающегося мещанства слишком очевидны, но

есть неисчерпаемая творческая сила в недрах революционного самосознания,— в ней зиждительная благодать и в ней спасение.

Презрение ко всему, что не «я», отрешенность, замкнутость характеризуют старые формы индивидуализма. Расширение своего «я», обнажение его, жажда прикоснуться ко всему, причаститься вселенскому—типично для нарождающегося нового индивидуализма. Человек, которому *до всего есть дело*, не хочет прятаться от жизни в мечту,—напротив, он стремится к воплощению, к осуществлению своих чаяний. Глубина и пафос этого осуществления почерпаются из самого процесса работы. Чем решительнее идет работа, чем больше страстности вносится в нее—тем больше новых идей произрастает из нее и вокруг нее, тем больше новых построений возникает на месте развалин.

* * *

Если в литературе нашей наиболее характерным представителем декадентского индивидуализма является Ф. Сологуб, то возвестителем новых форм или, лучше сказать, первой ступенью к новым возможностям нужно признать, как это ни странно, В. Розанова, которому оголение своего „я" нужно было, как средство уравнения себя с миром.

Гипертрофия индивидуализма привела его к такому самообнажению, которое расширяет „уединенное" до размеров вселенского. Но весь Розанов—только ступень: в нем нет ничего героического, ему не достает духовного максимализма.

Следующая ступень самосознания—Блок:

„О, я хочу безумно жить.
Все сущее—увековечить,
Безличное—вочеловечить,
Несбывшееся—воплотить!"

Но и он не „вочеловечил" безличное, не воплотил несбывшееся. Душил его „жизни сон тяжелый", и он задохся в этом сне. Блок—побежденный,— победителем будет тот, кто воплотит доселе несбывшуюся мечту Достоевского,— кто явит миру *всечеловека*, кто раскроет органическую слиянность отдельных народов и культур, высший духовный универсализм.

„Пусть в нашем народе зверство и грех, но вот что в нем неоспоримо: это именно то, что он в своем целом... никогда не примет и не захочет принять своего греха за правду" (Дневник писателя).

Темные просторы не страшны творческому сознанию; оно об'емлет весь мир любовью своей. Человек нагой и счастливый, как прародитель Адам до грехопадения, целующий землю, босыми ступнями идущий по ней навстречу испытаниям, навстречу какой угодно опасности,—с верой в правду подвига, в смысл страдания, в сверхличное бытие—таков символический образ просветленного самосознания, приемлющего жизнь во всей ее полноте, со всею мглой противоречий. За ним, за этим „неблагополучным" человеком, победа над жизнью.

* * *

Надлежит помнить, что духовные метаморфозы достигаются усилиями воли, что существует некая идеопластика, что все мы ваятели вещей незримых.

Это значит, что рождающийся новый Человек подобно мягкому воску воспримет все наши чаяния, устремления, желания. От нас зависит его судьба. От нас зависит, чтобы грядущий Ренессанс индивидуализма дал действительно нового Человека, сила которого—в имманентной, а не насильственной свободе. Все остальное—приложится.

Э. Голлербах.

От земли и городов.

Письма из Батищева.

I.

В свое время Батищево (Смоленск. губ., Дорогобужского уезда) была Меккой народников, и все в русском интеллигентном обществе его знали. Теперь необходимо напомнить, что славу Батищевскому хозяйству создал А. Н. Энгельгардт, профессор химии, «по независящим обстоятельствам» поселившийся в этой глуши. Перед каждым выдающимся деятелем в зените его дела и славы является искушение малых сих, так и к А. Н. Энгельгардту после его знаменитых писем «Из деревни» потянулись паломники, прозванные в Батищеве «тонконогими». Не знаю хорошо происхождения этого названия,—одни говорят, что кличка эта была дана первому ученику с необычайно тонкими ногами; другие, что крестьяне вообще так называли Батищевскую интеллигенцию за узкие брюки.

А. Н. Энгельгардт, человек исключительной инициативы, воли и дела, а рядом с ним «тонконогие» со своим вопросом «что делать?»— вот первое, о чем мне хочется написать вам, когда с одной стороны народническое дело в свете грандиозного перелома в крестьянской действительности так интересно возвращается нашему сознанию, а с другой стороны, Батищево стало почти что научным городком (Энгельгардтовская областная сел.-хоз. опытная станция).

А. Н. Энгельгардт жил в таком маленьком и худом домике, что зимой за ночь мокрый веник примерзал к полу; по десяти лет, не снимая, он носит одно и то же платье, часто ест-пьет с рабочими, не имеет никакого общества; жизнь такую вполне можно назвать аскетической. Но подвиг совершается из целей чисто земных—ему просто надо сделать доходным свое имение, применить к хозяйству свои знания по химии, потом и других научить и так оказать свое общественное Я. Кроме того, ему хочется из русской интеллигенции выработать тип независимого сельского хозяина, в этом он курьезно сходится со Столыпиным, который хотел сделать то же самое с крестьянином.

Энгельгардту, как и Столыпину, нужно создать крепкого земле человека, разгрузить государство от босячества и чиновничества всех видов. Для этого Энгельгардт хочет возбудить в интеллигенции чувство *самости*, свойственное каждому мужику, то животворное начало, носители которого в природе называются самцами и самками; в человеческом мире из уважения к интеллекту эти названия не применяются, там человека-самца называют хозяином и самку—хозяйкою.

По нашему представлению, без животворного начала самости не может быть никакого хозяйства, ни личного, ни общественного, ни государственного, и *это чувство неизмеримо шире чувства собственности*; без силы самости нельзя быть хозяином, нельзя даже просто

быть в природе, держаться на земле, а только висеть в воздухе и спрашивать—что делать.

Вот, между прочим, этой-то самостью через мужицкую работу и хотел Энгельгардт наделить интеллигента, вернуть блудного сына из тюрьмы интеллекта в отчий дом природы.

У Энгельгардта задача была чисто деловая. Он был в России прагматистом, т. е. волю к жизни (дело) ставил на первый план в существе человека. Психологически его натура совершенно противоположна натуре народника-интеллигента, но внешним образом его жизнь совпадает с идеалами народничества: и его аскетический образ жизни, и его земледельческий труд, и особенное внимание к мужику. Он звал «в мужики» по такому короткому рассуждению: мужик умеет работать, но не пользуется своим трудом, потому что работает не по разуму, а инстинктом, как все в природе; наоборот, интеллигент все понимает, но делать ничего не умеет,—итак, надо отдать интеллигента в мужики, чтобы он внес в работу разум, не хватающий в труде мужика. Это рассуждение, вполне верное логически, все-таки до наивности просто, и живо напоминает нам первый период революции, когда инженеры, учителя и другие специалисты занимались на полях и огородах сельскими работами.

Жутко читать договоры о работе Энгельгардта с «тонконогими»—работать от зари до зари, жить, есть с деревенскими рабочими и даже чаю по возможности не пить, а жалованье получать условно—хороша будет работа—получат, нет—без жалованья. И все бы это ничего, если бы вправду учиться хозяйствовать, но у «тонконогих» хозяйство не цель, а только средство для реализации своего высшего «я». Жутко читать, как молодой человек решается бросить столичную жизнь;—ему бы такая жизнь, как алмаз, должна сиять всеми гранями, и покутить и поплясать, и наукой заняться и художеством, а он едет в пустынные дебри Смоленской губернии, в мрачное место изгнания профессора, ставшего полевым хозяином. Еще более жутко следить, когда «тонконогий» приехал, поместился в рабочем сарае, от лихорадки работы не спал всю ночь, и вот утром староста, осмотрев его, посылает «на теплые воды», т. е. корчевать пустоши; понятно, что всем не хватает такой увлекательной работы, как бороновать или пахать, да и нельзя ее поручать первому «тонконогому»,—до этого надо еще дослужиться и попотеть над корчевкой и вырубкой на «теплых водах».

Мы можем вперед сказать, чем кончится этот неестественный союз делового человека с «тонконогими». Затеряв свое в чужом деле, «тонконогий» постепенно заполнит пустоту своего природного существа общинностью. Теперь учитель уже начинает подсмеиваться над своими «тонконогими», тут обнаруживается вся пропасть, разделившая «тонконогих» с Энгельгардтом. Пропасть эта состоит в чувстве самости, стихийно живущем в мужике, культивируемом Энгельгардтом, и от которого, как от чорта, открещиваются тонконогие со своею общиною.

Пусть тяготеет над мужицким миром его община, созданная фискальными задачами правительства, пусть даже существует эта община, как выражение общих интересов крестьянства—пусть! Внутри этой общины каждый мужик живет для себя, он сам большой в своей конуре, и в нем самом—весь творческий мир природы; сам большой и щей горшок.

Нам удалось теперь быть свидетелями величайших событий в крестьянстве, мы видим ежедневно, как из общего крестьянского мира там и тут выходят эти самости, беспощадные в своих достижениях, способные на титаническую борьбу пассивного сопротивления, лишь бы стать самими собою. Наблюдая этот закон природы, рождение индивидуальности, такой же неизбежный и жестокий, как физические роды живого существа, мы улыбаемся, когда интеллигент со старой заква-

ской тоскует, не узнавая прежнее крестьянство, о котором он составил суждение по своему же чувству жалости к бесправному забитому народу, прозябавшему в невежестве и бедности, как Антон Горемыка. Мы улыбаемся нынешнему разочарованию в народе. И той же улыбкой улыбался Энгельгардт «тонконогим», устраивавшим свою новую общину без самости. Но горько думать об этой улыбке, и, верно, горька была она ему самому. Сам же он выдумал призвать интеллигентов в мужики и научить их мужицкой работе. Но как же можно научиться этой работе без чувства хозяйственной самости, без того стального узла, которым дух и материя связываются в чувстве личного обладания вещью?

Печальный эпилог похода «в мужики» расскажут теперь старожилы деревни Батищево. Среди общинников был настоящий простонародный самец-хозяин Иван, который не только отдавал себя физическому труду, но и держал в голове общий план хозяйства; он и забрал в свои руки все хозяйство, и с помощью капитала одного богатого общинника устроил обыкновенное батрацкое хозяйство. А «тонконогие» все разбрелись. Один из них начал на Кавказе другую общину («Криницы»), основанную на религиозных началах, но, кажется, тоже попавшую, в конце-концов, в руки хозяйственного самца, вроде Ивана. И много на своем веку я видел разного рода общин, и все оне кончались, потому что их одухотворенные вожди не были связаны жестоким законом природы хозяйственной самости, и это брал на себя индивидуум.

Представьте себе картину мечтательно пространственных сумерек нашей родины. Кому не бросалось в глаза, что литература русская, столь отзывчивая на жизнь, кажется, ни разу не использовала широко распространенный на Западе сюжет, что какой-нибудь бедняк долгим, упорным и честным трудом добивается относительного материального благополучия, общественного положения, и вообще того, что называется счастьем. В России такое счастье не может достаться труженику, потому что его перехватывает хитрец. Разбогатеть от своего труда было необычайно в России, и, если бы и явился такой счастливец, то ему бы не поверили и сочинили бы непременно легенду о его первоначальном счастье—случае, например, что ночевал у него богатый купец, забыл у него бумажник с деньгами, и с этого пошло, а то—что прибило к его домику баржу с товарами, и что—попалась в неводе золотая рыбка. Словом, для среднего человека нельзя подняться над своей средой; поднимается только кулак да царский человек, и потому в русской литературе нет таких сюжетов. Над жизнью русской господствовал как-бы нравственный комитет бедноты, клеймивший каждое проявление индивидуальности. И все-таки каждый деревенский человек в душе лелеет самца-хозяина, каждый хотел бы жить богато и хорошо.

Энгельгардт все это хорошо понимал и видел спасение от косности с одной стороны и хищности с другой—в создании естественных условий для проявления чувства самости, которые интеллигент и до сих пор еще называет мещанством. Энгельгардт хотел всеобщего признания этой самости и возрождения, хотел в мягкие души интеллигентов вселить свой настойчивый дух, в их тонконогие тела влить мужицкую кровь. Но он был тоже мечтателем, как все одиночки.

В то время, как он делал свои опыты, интеллигенция все сжимала и сжимала заключенный дух, который рано или поздно должен был разрушительно вырваться, и другой вулкан нашей жизни—мужик, копил свою потенциальную мощь в жажде земли. Кто не слыхал этого всероссийского крика: «Земли, земли!» Наш крестьяни похож был на Адама, которого Бог вновь сотворил и вновь выгнал из рая с той же заповедью обрабатывать землю в поте лица. Но земля уже вся была

в руках старого Адама, и, послушный заповеди, новый Адам бродит по всему пространству: Земли, земли!

Еще нет у нас такого специального исследования, которое бы анализировало до конца, что-же именно хотел выразить крестьянин своим криком «Земли!» Хотела ли земли вся эта инертная темная масса, чтобы только остаться жить по старому, плодиться, множиться, и так осуществлять естественную самость, распространяться в ширину, как всегда росло Русское Государство? Или, может быть, так же, как наш ученый пионер в Батищеве, этой жаждой земли народ косвенно хотел выразить, необходимость существа личной инициативы, которая должна бы оплодотворить эту пустынную землю?

И это ли не великий народный переворот: мы не слышим больше крика «земли!», и земля во многих местах лежит *так*. Зато без шума и крика хозяин подбирается к земле и завязывает свой крепчайший узел. Культ бедности, который начинается с Антона Горемыки и кончается манифестацией комитетов бедноты, окончательно потерял свое значение и растворился в повальной болезни всего общества, как «бешенство кухарок»: все общество, принужденное своими руками стряпать свою скудную пищу, ворчит неустанно, охваченное этой болезнью кухарок. Так крылатое слово вождя октябрьской революции:—«Мы научим каждую кухарку заниматься государственным делом» привело нас к необходимости считаться с этой до сих пор мало известной болезнью.

Когда-то плакали люди над повестью «Антон Горемыка», почему же теперь так слабо отзываются на ужасы людоедства Самарской губернии, и повесть о голодном едва ли станут читать. Зато теперь уже почти что можно взять своим героем удальца с войны, в запрещенное время возившего под пулеметами в Москву муку, наделив его чертами новгородских ушкуйников. Пусть наш новый герой на эти средства сколотит себе мельницу пудов на тридцать в день дохода, строит себе большой дом на хуторе и кормит не одно жирное животное в своем свинарнике. Положительные черты самости героя— отвага, настойчивость, почти-почти сейчас (не вслух еще, а молчаливо) балансируются с отрицательными.

Вы скажете, это падение идеалов. Да, это падение. Но в то же время и освобождение закованной силы земли. Энгельгардт был предтечей будущего строительства обыкновенной жизни земли, этого крайне нужного нам теперь дела, потому что, прямо или косвенно, всякая личность нуждается в этих питательных силах земли. Нужно быть снисходительным к этим миллионам людей, которые размножаются и непрошенно хотят быть на земле счастливыми. И нельзя называть это естественное чувство жизни мещанством и буржуазностью. Но если вы не хотите обойтись без этих слов, и они дают вам понятие о силе жизни земли, росте ее населения, растительного, животного и человеческого, то пусть будет по вашему, и я скажу, что Энгельгардт был предтечей буржуазной революции в России.

М. Пришвин.

Как я была инструктором ткацкого дела.

(Правдивый рассказ).

I.

Часть интеллигенции, принявшая октябрьскую революцию, никогда не перестанет считать прошедшие три года—*благословенными*. Этого не понять эмигрантам; но это вряд-ли понятно и партийным работникам.

Дело в том, что мы, принявшие,—были поставлены в исключительные условия. Отвергая политику и ничего не смысля в марксизме, менее всего могли мы смотреть на грозную октябрьскую действительность под углом зрения «социального опыта».

Но все-же это был опыт для нас. Только не социально-экономический,—а *совестный*. Каждый из нас видел и знал, что крайняя линия революции—*по совести* самая правильная; лозунги ее совпадали с тем абсолютизмом требований, который выставляет наперекор жизни «утопическая» людская совесть. И потому для нас октябрьский абсолютизм был вовсе не пробой, не экспериментом, ни другим мудрёным делом, как называют его враги и друзья,—а единственным всамделишным делом на земле, быть может, первым и последним, для которого стоит человеку жить на свете. Чем лучшие бредили, что во сне виделось, в молитве молилось,—*искупление*,—час жертвы за нашу вину перед мучениками жизни, вдруг пробило на часах у каждого из нас, вошло и стало. Надо было понять это именно как искупление и обратить все дальнейшее в радость исполненного долга. Или—не узнать пробившего часа и отвертеться от него в упрямом нравственном саботаже,—превратив для себя все дальнейшее в пытку.

Часть интеллигенции избрала первое. Я горжусь тем, что принадлежала и принадлежу к этой части. И надо сказать, нас было вовсе не так мало, как это мерещилось за рубежом.

Из сказанного ясно, что мы восприняли октябрьский переворот, как нравственный переворот. Этот последний требовал от нас необычайного образа действий, того полного и фанатического самозабвения, которое по разному в разных случаях жизни осуществляется, но всегда знаменует собою волевое чудо: инвалид берет постель свою и идет; богач раздает все свое имущество; убийца идет и кается... Словом, на лицо должно было быть нравственное перерождение.

Но конкретные условия беллетристики или притчи—это одно. Конкретные условия жизни—это другое. В конкретных условиях революционной действительности наше нравственное перерождение принимало много черт забавного, трагикомического, возвышенно-нелепого, дон-кихотского. Это, конечно, ничуть не умаляет его природы и не делает нашу деятельность тщетной.

II.

Для тех, кто встретил октябрь на юге России, он пришел с запозданием. Задержка ему вышла чуть-ли не на полтора года и в осином гнезде русской «контр-революции», в Ростове на Дону. В то время, как центральная Россия уже усвоила советскую терминологию, обзавелась канцеляриями, стилем, трафаретом, организационными навыками, даже особым жаргоном, мы все еще питались только двумя источниками: чистыми лозунгами, которые принимали на совесть, и скверными анекдотами, которые поставляла печать и которым мы не могли и не хотели верить. Разумеется, когда час для нас пробил, мы встретили его «наивными провинциалами».

В четырнадцатый раз выползли отсиживающиеся от артиллерийского огня из своих подвалов. Пересчитали опять друг друга и опять *не досчитались. Простучали по развороченным гранатами улицам* копыта буденовцев. Взвилось красное знамя повсюду, где болталось трехцветное. Запестрели по стенам плакаты. Мы вступили в страну чудес из под кабацкой одури и нагайки Врангеля.

Над самым Доном, в многоэтажном доме Ретцгера, немедленно образовался тогда губернский наробраз,—слово, прозвучавшее для нас в первинку чем-то вроде дикообраза. И вот туда-то потекли за чудом радостные и помолодевшие интеллигенты, хотевшие искупить свою вину перед чернорабочим, перед неимущим, перед невеждой. Приходили и предлагали: берите нас, мы можем то-то и то-то, мы хотим послужить, поменяться местами...

Один из парадоксов октября (а может быть так и нужно в необыкновенные минуты?)—это неумение использовать человека в том, что он всегда делал, то-есть в его профессиональной практике; но наряду с этим—умение заставить того-же человека работать, и превосходно работать, на чужом для него деле. Быть может, здесь и кроется кое-что от пережитого интеллигенцией нравственного «чуда»?

Как-бы то ни было, в самом начале приходившие старались послужить, *чем могли.* Но рано или поздно оказывалось, что они *никак не могли дать что-либо революции тем, что они могли дать ей.* И тогда приходилось служить ей как раз тем, чего раньше не мог, чего никак от себя не ожидал и не предвидел. Зарубежные критики и в этом усмотрели гибель культуры. Поэт заведывал бараками, инженер редактировал газету, актриса шла в политкомы, профессор секретарствовал во Всевобуче, дантист читал лекции о... Данте. Это все было, но вместо «гибели культуры» это несло зародыши ее обновления, возврата к органическому ходу вещей от помертвелого профессионального автоматизма. Свежел человек на новом месте, и личное освежение помогало ему делать новое дело *оригинально*, смелее и вдохновенней, чем он делал свое собственное. То был медовый месяц октябрьской революции, время так называемой «организационной работы». Эпоха увенчания «спеца» пришла позднее.

III.

Вместе с другими, двинулась и я на искупление. И вместе с другими «поэтесса Мариэтта Шагинян» не нужна была революционной России, как поэтесса. Писатели центра и представить себе не могут, сколько статей написала я с моими единомышленниками и друзьями в южные советские газеты и сколько из этих статей было возвращено—за ненадобностью—обратно. Смиренно обивали мы пороги редакций со стихами и прозой; временный военный редактор газеты,—председатель комитета учащихся четвертого класса местного Коммерческого училища, допризывного возраста,—твердо отвечал мне, что я пишу

буржуазно и неподходяще. И *был прав*. Все, что писалось тогда в газетах этими допризывниками, выдвинутыми по естественному отбору революции,—даже смешное, даже бесграмотное,—было по своему величественнее, проще и нужнее самых обдуманных наших писаний. Мы не умели нащупать насущное; а для проблем время еще не созрело. И нас неизбежно отстраняли.

Тщетно предлагала я свой консерваторский курс по истории искусства рабочим клубам, пролеткультам, партшколам. Он не годился. Он был взят в ином темпе, нежели происходившее за стенами; было несовпадение в такте, и потому наше, интеллигентское, вмешательство в строй жизни оказывалось «нетактичным».

Но как-же попасть в такт и чем послужить? Спешу прибавить, что в ту пору шкурного вопроса еще не народилось. Задача «служить, чтобы жить» еще не обозначилась, гражданская война приучила нас к особому, бивуачному modus'y vivendi, к беспрерывным постоям, которые,—кормясь у нас, кормили и нас. Поиски «служения» могли поэтому быть беспримесно-этическими.

За ненадобностью профессиональной—пошла трагическая полоса проэктов и докладных записок. Проэкты подавались тщательно обработанные, с цитатами, с библиографией, с высокою эрудицией,—не проэкты, а магистерские сочинения! Докладные записки разрабатывали социологию, психологию и даже гносеологию предмета,—и все это в эпоху, когда не нужно было ни гносеологии, ни социологии, а просто, может быть, вскочить на стол и крикнуть в двух словах, что тебе нужно.

Ненадобны оказались и наши проэкты.

И вот, когда я уже совсем отчаялась в возможности чем-нибудь послужить революции, меня призывают и назначают инструктором текстильного дела при только что образовавшемся Донпрофобре.

Инструктор текстильного дела,—это не от слова «текст» и к литературе отношения не имеет. На курорте, мимоходом, радуясь новому роду знания, поступила я как-то в прядильно-ткацкую школу и кончила ее квалифицированной пряхой. Где-то в анкете упомянула об этом,—и вот я понадобилась.

Помню, как я пришла в первый раз в Донпрофобр. Служащие еще не знали друг друга по имени-отчеству, не все помнили заведующего в лицо, никого не помнил заведующий, и никто не знал в точности расположения комнат. Инструктора назначались с лихорадочной поспешностью. Им предоставлялись широчайшие возможности выдумывать самим себе какие угодно инструкции и выполнять их с мандатами в руках, но без денег. То было время безденежья и полновластия мандатов.

Заведующий деловито предложил мне подумать, что можно сделать в роли инструктора. Я обещала подумать и первый свой визит сделала к Брокгаузу и Ефрону.

Для специалиста Брокгауз и Ефрон не нужен. Специалист знает, что словарь местами неверен, что библиография в нем устарела и что вообще справляться ученому в словаре—моветонно. Зато диллетанту (а все инструктора были в ту пору вдохновенными диллетантами) Брокгауз открывал широчайшее поле зрения. Надо было только уметь выбирать. В один день я узнала историю ткачества, историю овцеводства, историю Донобласти, обработку льна, обработку конопли, науку о шерстоведении и уж не помню, что еще. Пять лет жизни стоило мне, чтоб кончить историко-философский, два года беспрерывной работы, чтоб осилить кристаллографию. Но я никогда не знала ни истории философии, ни кристаллографии с тою исчерпывающей ясностью, с какой обрисовалась передо мною возможность текстильного дела на Дону,—в итоге однодневного чтения. Уже я знала,

какое у нас сырье и куда мы его продавали; знала, что ткачество неведомо донским городам даже в кустарном виде, что станичники не прядут, не обрабатывают конопли. От Брокгауза я отправилась к городскому агроному и прибавила к своим познаниям статистику: сколько уничтожено овец войною, где и какой сорт остался. И пусть читатель не смеется; когда спустя месяц мне пришлось столкнуться со специалистами по каждой отрасли, открывшейся мне по Брокгаузу,—*я оказалась вооруженной столь синтетичным и не затемненным* знанием всего самого главного, что могла говорить и спорить с каждым из них,—настолько, чтобы *от них учиться.* Вот незаменимая польза *такого общего представления о предмете: оно подготовляет вас к* приобретению правильного знания. Специалист-же обычно знает слишком много, чтоб продвинуть свое знание к системе. Он не видит за *лесом дома.*

План, вставший передо мною к закату первого дня, был увлекательно-прост. Надо только открыть в Ростове основную прядильно-ткацкую школу для срочной подготовки учителей. А по станицам разбросать отделения областной школы, где обучались бы элементарному прядению и ткачеству. Я уже узнала, что ткацкое кустарничество предшествует фабричному производству и—вопреки Марксу—далеко не убивается этим последним; так, в эстонской и в лодзинской губерниях, по близости от производственных центров, продолжали работать и кустари, не убиваемые фабрикой. Оттого-то мне мерещилось начало кустарничества в Донобласти, наряду с широчайшими планами конопляного и льняного промысла,—как зарождение будущего производственного центра. На следующее утро я проснулась в той напряженной устремленности к цели, какая, должно быть, бывает у стрелы, пущенной с тетивы. Уже не от меня зависело не быть «инструктором текстильного дела». С того утра целый год и два месяца я жила только одною мыслью и в реализации ее не знала ни отдыху, ни усталости.

IV.

Надо защитить свой план—а с тобой спорят принципиально (Маркс против кустарничества—мы были в полосе борьбы с кустарями).

Надо оборудовать школу, а где взять станки, помещение, прялки, сырье?

Надо открывать филиалы, а с кем?

Начало всему положил мандат. Этот мандат я сохраняю, как реликвию: никогда ни одна бумага в моей жизни не была более потенциальна.

Мандатом мне давалась широкая власть делать все, что можно сделать доброй волей и голыми руками. Надо сказать, что до сих пор я была человеком анти-общественным. Глуховатость мешала мне общаться с людьми, близорукость делала неуверенной; я тыкалась носом наудачу и во всех личных предприятиях терпела поражение. Теперь мне суждено было радоваться глухоте и близорукости, как двойному кольцу вокруг моей мании, оградившему меня от добросовестного благоразумия чужих советов, от скепсиса, от недоверия, от *излишнего знания людей и обстоятельств, ото всего, что могло бы* обессилить и охладить. Наступило «безумие».

Из всех приемов советского строительства самый дурной—реквизиция. *Прием этот уже опорочен жизнью. Но он был всесилен в про*винции, тотчас после переворота. Отобрать и переставить с места на место—дело пустое; однако оно давало иллюзию строительства.

Я очень скоро поняла, что реквизировать значит разрушать; составила даже табличку, что можно и чего нельзя; можно реквизиро-

вать пустое помещение, можно реквизировать сырье, если тотчас же пустишь его в обработку: но никогда нельзя реквизировать машину, орудие производства, там, где оно уже действует, так гласила моя начальная этика. Между тем машина-то и была мне наиболее нужна. В Ростове несколько ткацких станков было в Ремесленном училище, да у немногих кустарей, возникших только с начала войны. Реквизировать их—значило разрушить готовое дело. И вот я отыскала инженера, изготовившего эти станки, и волшебный мандат мой, как Аладинова лампа из Тысячи и Одной Ночи, снабдил инженера заказом. За все время моей деятельности, открыв областную и ряд сельских школ, я ни разу не реквизировала ни одного инструмента, ни одной прялки, хотя инвентарь теперешней областной школы весьма внушителен.

С совнархозом, только что нащупывавшим способы брать взятку, мне пришлось вести дамскую политику. В совнархозе сидели спецы и люди воспитанные; они еще целовали руку и почитывали книжки. Около них я смутно вспомнила, что когда-то была поэтом, и пользовалась этим. Зачем автору «Orientalia» сырье? Мандат можно обойти, можно заканителить ордера до полной неразберихи, но не стóит обижать даму и поэтессу,—и сырье со вздохом было отпущено.

Я воевала с Чусоснабармом, Райкомводом, Реввоенсоветом, штабами всех дивизий, проходивших через Ростов, с телефонно-телеграфной командой, с Ревтрибуналом, с курсантами, со всеми, кому не лень было в'ехать в мое помещение, занятое и отремонтированное под школу. Товарищи-организаторы знают, что это значит! Сколько раз приходилось бросать налаженное место, сколько прошений исписывалось, куда только ни ездилось; сотни расписок от принятых Раб-Крином жалоб, угрожающе, но бесполезно скоплялись на дне советского (неизбежного!) портфеля. Донисполком, и окрисполком, и горисполком—истоптывались сотни и тысячи раз, и когда возникал, как в карточной игре в «пьяницы», бесконечный спор между двумя учреждениями, он решался в присутствии какого-нибудь «члена президиума» (члены коллегии еще не вошли у нас в моду). Каких трудов стоило добиться решения—и часто торжественная выписка из протокола, потрясаемая в воздухе перед лицом какого-нибудь заведующего хозяйственной частью штаба N-ой дивизии, пренебрежительным фырканьем выдувалась у вас из рук и шла на цыгарку, а штаб жил себе и жил у вас в школе, разводя насекомых и сквозняки.

Но и это было еще только началом.

За городом—стояли станицы.

Донская станица это ленивый избяной кошмар, где бабы озверели от похоти (всех казаков угнали сперва Деникин, потом Врангель), старики заседают в исполкомах, а ребята идут за секретарей. Раз в неделю партийный комитет посылал туда ораторов, на митинг. Я было пустилась в путь одна, с могущественным мандатом. Но меня приняли за еврейку и в первой же станице чуть не избили на глазах у исполкома. Я спаслась от фурий казачек, держа свой крестик в одной руке, а мандат в другой. Агитаторше, посланной от парткома, спастись не удалось,—ее избили. С тех пор я ездила по станицам всегда в компании и наслушалась деревенских митингов, в конце которых ораторы выпускали меня, как наглядное доказательство забот города о деревне. Я садилась на возвышении, в огромной зале бывшего волостного управления, с весами посреди нее (шла разверстка и здесь производили ссыпку). Мне приносили с телеги прялку, чесалку, узелок с мытою шерстью. Я показывала, как надо чесать шерсть, делала кудель, садилась прясть и час—другой пряла под сердитыми, наблюдающими глазами казачек. Потом они подходили, трогали прялку, шерсть, нитку и меня за одно. Я невинно привирала, что платье мое

(льняное) выткано мною самой. И тут же говорила о том, как можно и на Дону вырастить лен, годный для пряжи. Эти «сеансы» всегда были самыми интересными частями митинга. Иной раз они курьезно кончались; слушают, слушают казачки, одна скажет: а ведь у нас тамбовцы есть, беженцы, ширинку ткать умеют, и красить умеют, и прядут-то чище тебя.

— Зови тамбовцев!

И являются, почесываясь, благообразные рассейские, в лаптях, с тонкой усмешечкой. Оглядит прялку, покритикует. Беженцев я тотчас же мобилизовала, делала преподавателями, вносила в ведомости губнаробраза и на месте, запротоколив это собственноручно в заседании исполкома, открывала филиальное отделение.

Однажды, в армянском селе, с помощью таких беженцев, мы инсценировали сбор, мочку, трепку и ческу дикой конопли; это было так показательно, что вся деревня ходила за нами, и к следующей осени мужики уже делали мешки и веревки.

Возвращаться приходилось чаще всего ночами, при холодной степной луне. Телега прыгает на рытвинах, рядом—усталые митинговые ораторы, бледные городские люди. Смотрят на степь, на бегущие волны ковыля, под луной оживающие, как море, и пускаются иной раз в беседу со стариком-возницей. Он хитрый—молчит, в бороду смотрит, возжей пошевеливает: нно! Старые крестьяне и казаки—консерваторы и оппозиционеры; но не в пример молодым, они умеют и любят слушать, и отлично разбирают поверхностные речи от глубоких. Проезжаем бахчей, лошаденка остановится, казак слезет, сорвет арбуз, угощает заезжих горожан. Мы режем перочинными ножами, но холодно есть холодноватую сладость арбуза в степные ночи: словно купаться вздумал.

Я перевидала и переслушала в эти поездки множество людей и бесед. Это еще не отстоялось во мне,—но стоит каким-то душистым, прохладным комом, близкое, как вчера, и ждет своей очереди. Мне жалко осознавать его, хочется длить вкус этого близкого и глубокого воспоминания, чтоб никогда не забылись ни его нежность, ни острота.

А «Первая Советская Прядильно-Ткацкая Школа» возникла, как реальнейшее дело, с шестью станками и чулочными машинами, с пятидесятью прялками. Спецы—лектора; молодой и толковый строгоновец—заведующий. Учениц и учеников столько, что одних кандидатов составились две очереди. В первые же три месяца мы дали наробразу сукно...

Теперь и она ушла в воспоминанье. Я сделала свое дело, соскучилась по перу, вернулась на север. Но все написанные мной книги и те, что, может быть, еще напишу, кажутся мне ничтожными по сравнению с годом и двумя месяцами, когда я была «инструктором текстильного дела на Дону». То, что я делала и сделала, кажется мне сейчас, при осязании собственной интеллигентской косности и бестолковости,—необ'яснимым, но несомненным чудом.

Dixi.

Мариэтта Шагинян.

19 янв. 1922 г.

По России.

1. Одесса.

Под'езжая к Одессе летом прошлого года, вы наблюдали пустые поля, покрытые редкой, жесткой травой-соломой. Люди неопытные думали, что это *уже убранные* поля, но им говорили, что это всходы нынешнего года; земля даже не вернула потраченных на нее семян.

Но в городе голода еще не было заметно. Рынки ломились от продовольствия, и окраинный, лежащий возле кладбища „привоз“ (привозной рынок) был густо покрыт крестьянскими возами с мукой. И цены в Одессе были низкие—втрое дешевле Москвы и Петрограда.

Город тогда жил яркой, шумливой, свойственной ему уличной жизнью. На каждом шагу—кафе, столовыя, молочные и гастрономические магазины и т. д. По улицам пестрыми потоками струилась громкая и экспансивная одесская толпа, как шмели у освещенных дверей увеселительных мест. Привлекает внимание множество театров, между ними такие огромные и оригинальные, как „Манеж Народных гуляний“, бывший крытый рынок на углу Садовой и Торговой улиц, освещенные задорным и зовущим светом электрических фонарей.

Надо еще сказать о море, о катаниях, об австрийском пляже, где на золотистом, горячем песке, вместе „по заграничному“ валялись сотни мужских, женских и детских тел, в полосатых купальных костюмах—и читатель может приблизительно судить, какова была Одесса под осень 1921 года.

Голод стал сказываться только под Рождество. Почти совсем прекратился подвоз продуктов. Рынки еще крепились, но принимали тощий, болезненный вид. Толпа покупателей редела. И со злобной, разрушающей все обывательские рассчеты быстротой—прыгали цены. В городе не было электричества. Не было водопровода. Все это раньше не так остро чувствовалось, но теперь, когда хищно стал угрожать голод, отсутствие света и воды угнетало особенно тяжко. Прежде очереди на улицах у водопроводных кранов были веселыми клубами, местом, где можно было пошутить, посплетничать, а теперь понурые люди едва перебрасывались словами привета, но зато раздраженно и долго ругались, выдумывая неожиданно бьющие слова.

Вечером сидели в темноте, и только немногие уголки освещались тусклыми керосиновыми коптилками, при которых нельзя было читать. Появились какие то чуждые люди, беженцы из голодных мест. Наезжали херсонцы, николаевцы, жители местечек ближных уездов и крестьяне голодных районов. Они бродили толпами, долго и назойливо просили, располагались на площадях, как цыганские таборы.

Несколько раз на улицах находили трупы умерших от голода. И еще тяжелее становилось от того, что в Одессе, этом классическом городе сплетен, легковерные, мнительные и панические южане толковали о том, что бедствие неизмеримо больше, чем оно есть на самом деле. Говорили о том, что голодные крестьяне собираются захватить город и разграбить его, что в России в При-

волжье уже умерло двадцать миллионов людей, о том, что приехал Троцкий, усмирять их... и Троцкого с'ели живым. Просто разорвали на куски и с'ели. К этому добавлялись еще специфические украинско-одесские слухи о том, что Петлюра уже близко, что Врангель еще ближе, а французы и греки (греков со времени оккупации особенно не любили одесситы) уже на рейде.

И бегали на Николаевский бульвар смотреть, не видны ли военные суда большой и малой Антанты.

Последними умирали одесские улицы. На улицах—вся жизнь одессита, и он отдавал их последними,—медленно, неохотно закрывались кафэ, столовые, мелкие и крупные театры. Еще медленнее пустели улицы. Каждый шаг отдавался с боя. Люди не привыкли сидеть дома и по инерции, по старой привычке шли на улицы. Но там становилось все меньше дела. Прежде вы не прошли бы по улице с каким нибудь свертком без того, чтобы вас двадцать раз не остановили вопросом:—„Что вы продаете?“ Теперь почти не спрашивают. Печально, мельком, с привычной пытливостью посмотрят на сверток, но уже не спросят.

И вот тысячи одесситов двинулись на заработки в чужие страны. Первыми двинулись артисты, люди искусства. За ними торговые люди, всех сортов и калибров; и наконец, беднота, люди, которым „нечего терять, кроме своих цепей“. Тяга была на север—в Москву и через море—на Кавказ.

В самое последнее время надежды одесситов воскресила „АРА“. Первые пароходы с грузом, прибывшие в порт, возбудили энтузиазм. Одесса не могла себе представить, что она будет разгружать хлеб и консервы и будет голодна. „Что нибудь да останется“—говорили одесситы. Впрочем, кроме АРА, в порт стали прибывать и другие пароходы,—итальянские, греческие и болгарские. Порт значительно ожил. Там опять гудят пароходные гудки и гремят черные, железные лебедки. Последние договоры одесского Внешторга с итальянским Ллойдом, конечно, известны всем одесситам, и они понемногу подымают уже головы, легковерные, как дети. Разве Одесса может пропасть? Она знала до революции Толмачева, (знаменитый одесский градоначальник), после революции французов, англичан, греков, итальянцев, Петлюру, Деникина, Врангеля, еще раз Петлюру, террор белый и красный и всех иных цветов радуги, больше „языков“, чем Москва в двенадцатом году, и не пропала. Не пропадет и теперь. Выручит море.

Надо полагать, что море, действительно, вывезет. Одесситы твердо убеждены, что если Одесса не может быть без Черного моря, то и Черное море не может быть без Одессы. Надо им поверить.

2. Киев.

Дорога между Одессой и Киевом описывает дугу, самый западный пункт которой—Жмеринка. Это одна из интереснейших дорог в России. Здесь про*исходили бесчисленные бои, и дорога десятки раз переходила из рук в руки.* Станции не похожи на великорусские. Вместо деревянных—красные кирпичные домики и обязательно огромный сад с колодцем и погребом.

Бирзула, Вапнярка, Винница и Жмеринка, крупнейшие станции этой дороги, представляют собой веселые и оживленные торговые пункты. Всегда, когда поезд останавливается на этих станциях, пассажиры с мешками, корзинами, сумками бегут за станцию на базар покупать продукты.

Но голод и здесь дает себя знать. Продовольствия гораздо меньше, да и цены высокие. И на рынке видны знакомые трагические фигуры: беженцы продают свои лохмотья. Кажется, нет уголка во всей необ'ятной стране, где не было бы этих обреченных, жалких и беспомощных фигур. Они на каждой станции, в каждом местечке. Худые, с землистыми острокостными лицами, они расползаются, подчиняясь какому-то темному, стихийному инстинкту, вероятно, тому же, который заставляет бежать стада животных от пожара и наводнения и спасаться крыс с тонущего корабля.

Близость Киева не чувствуется, или, вернее, чувствуется отрицательно: станции пусты, почти ничего не продают. Повсюду—голодные, голодные.

Поезд вяло, как то нехотя, без обычного молодечества вползает в длинный, деревянный и скучный киевский вокзал. На вокзале много людей, но такое впечатление, точно они все торопятся скорей покинуть Киев.

И, верно, скучно в Киеве.

Улицы совсем пусты, пустыннее, чем в Одессе.

Крещатик как то осунулся, посерел. Его ширина и простор висят на нем мешком, как платье на похудевшем человеке. Часть магазинов закрыта, часть дышит на ладан.

В Киеве мало кафэ. Почти совсем не видать их. Киевляне с грустью (киевляне не так экспансивны, как одесситы, и благороднее их) говорят, что почти все кафе закрылись. Город тих и угрюм. Мало жизни, мало энергии. Невольно думается, что Киев куда то выкачали или околдовали ведьмы с Лысой Горы. Вечером город погружен во мрак. Только на главных улицах Крещатике, Владимирской и паре других, жалобно, по старушечьи мигают фонари. Темно и жутко. Никого нет. И совсем мало театров. Городская опера закрылась, в драматическом театре не артисты, а студийцы. Мелких театров также мало; какое то запустение чувствуется повсюду. Торговцы жалуются, что в Киеве нет дел, интеллигенция говорит, что нет культурной и общественной жизни, молодежь кричит, что нет вообще в Киеве никакой жизни.

Водопровода нет, и люди с ведрами бегут за водой, чуть ли не на Днепр. А сам «широкий» свернулся, серый и невидный в своих берегах, завернувшись в сине-бурый лед, и кажется, что даже ему вскрыться не хочется.

Несомненно, что это временно, но это тяжело: Киев, бывшая украинская столица, потерял многое. У него отняли его политическое и торговое значение, а историческое и религиозное... никому не нужно. И Днепр не выручает пока Киева, как Черное море, Одессу. Скорей из Киева!..

3. Москва.

Нежин, Конотоп, Бахмач—охвостье Киева. Скучно, как в Киеве. Но поезд идет все быстрее, торопится к Москве. В вагоне все разговоры—о Москве. Точно все они, и эта старая еврейка в цыганском, пестром платке, и мужик в рыжей, словно смазанной глиной дерюге, и толстый купец с добрым носом и злыми, свиными глазками,—точно все они—три сестры: в Москву, в Москву, в Москву.

Москва, огромная, распухшая, грязная, светлая, шумная, с несметными богатствами бесчисленных магазинов, с подвалами, кафэ, театриками, театришками и театрами, с кипучей суматохой Китай-города, с автомобилями, лихачами, тысяче-миллиардными оборотами,—эта Москва—логический центр, притягивающий Одессу, Киев, Харьков, Екатеринослав, кольцо Приволжья,—Петроград. Отчего в Киеве, в Одессе нет артистов, театров? Они в Москве. Отчего там нет денег? Они в Москве. И так без конца. Москва—как спрут, его лапы—железные дороги, вытянулись до Балтийского, Белого, Каспийского и Черного морей. До Читы и Западной границы. До Тибета и Персии.

Одесситы говорят: знаете, Москва — это Одесса, — тут все одесские купцы, артисты, театры и... (дальше на ухо). Тоже говорят и киевляне, и другие. Они находят здесь лучшее, что было в их городах в прежнее время, узнают своих земляков, ввели свой акцент, привычки, открыли свои театры. кафэ. Входят в магазин и говорят «Дайте мне фунт «халы», и им дают. А недоумевающей старой москвичке торговец деловито об'ясняет, что хала—это еврейский хлеб. В Москве живут все народы, все племена Европы и Азии. Там просят милостыню на двенадцати языках. Восемь вокзалов - лап—захватывают груды людей и товаров, пережевывают и выбрасывают во все концы России. Здесь сошлись все пути. И путешествие по России логически кончается здесь.

Кирилл Левин.

Гримасы революции.

Фронтовое.

Я вовсе не хочу здесь говорить ни о тех кровавых эксцессах и ужасах, которые, увы, так часто, совершались во время гражданской войны, ни об ужасах голода и разорения, ни о чем кровавом и ужасном. Зачем? Будет время и об этом напишут, когда можно будет об этом писать вполне об'ективно, а сейчас к чему бередить еще незажившие у многих раны? Но бывали у революции и веселые, безобидные и смешные гримасы, а там, где мне пришлось ее пережить, в Туркестане, где она врезалась в самобытную и красочную жизнь мусульманского Востока, таких милых гримас было очень и очень много. Некоторые я запомнил и хочу их рассказать.

* * *

В конце апреля 1918 г. воинский эшелон,—то был авиационный отряд, срочно направлявшийся в Ташкент,—вдруг был задержан на ст. Ак—Булак, пройдя 100 верст за Оренбург, телеграммой Оренбургского Исполкома. Целый день летчики с изумлением ждали, в чем дело, но вот к вечеру показался паровоз с салон-вагоном, и из него вышли трое рабочих, членов Исполкома, как они назвали себя командиру отряда и летчикам, обступившим их. И тут произошел следующий разговор:

Член Исполкома: Вы едете в Ташкент?

Ком. Отрядом: Да. Почему нас задерживаете?

Член Исполкома: Ах, простите, но вот в чем дело,—не оставите ли вы нам один аэроплан?

Ком. Отрядом: Нет, как же, ведь я должен доставить отряд в Ташкент, да и на что он вам?

— Ах, вы нам оставьте и летчика и все, что нужно; они будут летать, мы им хорошо заплатим. Вот проходил броне-отряд, они оставили нам машину, мы им платили по 25 рубл. за выезд. Вам будем платить больше (в то время начиналось восстание Дутова).

— Но ведь я обязан доставить отряд по назначению,—улыбается командир отряда,—ведь это же табельное имущество, я за него отвечаю. Требуйте из Ташкента.

— Ах, жаль. (Заметя автомобиль и мотоциклетку на платформе). У вас есть автомобили? Так, может быть, вы нам хоть автомобиль оставите?

— Да, как же я могу?

— Хоть мотоциклетку, нам так нужно.

— Да не могу, ни мотоциклетки, ни пулемета, ни даже „нагана“.

— Вот досада, ведь ни откуда не допросишься, только вот у проезжающих иногда и выпросишь что нибудь. Ну, счастливого пути...

И эшелон пошел дальше, на юг, в знойный Туркестан.

* * *

Наш отряд прибыл в Ташкент в конце Страстной недели. Выйдя утром из комнаты отеля, где мы остановились, я встретил в коридоре командира в парадном платье:

— Кока, куда ты нарядился?—спросил я его.

— Я хочу сделать визит Командующему Кр. Армией тов. К. Поедем?

— Отлично.

Мы сели в автомобиль и скоро по тенистым улицам Ташкента доехали до штаба, где в скромной квартире жил Командующий. Нас встретила пожилая женщина в платочке, видно, только что занимавшаяся уборкой или стряпней. Это была его жена.

— Дома тов. К.?

— Георгий Александрович? Нет, их нету, да заходите, чайку попейте, он сейчас придет.

— А куда он ушел? Не в штаб?

— Нет, они в церкви,—пошли на исповедь.

* * *

В конце мая 18 года восстание казаков под Оренбургом приняло серьезный характер, Туркестан был отрезан от Оренбурга, и мне с оамолетом пришлось отправиться, с этим самым тов. К. на фронт, чтобы найти связь между Илецком и Оренбургом. Я прибыл в Илецк 1-го июня, а 3-го июня был бой, и у нас было несколько десятков убитых. Через три дня им устроили торжественные похороны, носившие самый оригинальный характер. Из покойницкой больницы, где лежали убитые с красными знаменами, под звуки «Вы жертвою пали» их отнесли в церковь, где была отслужена панихида, после чего шествие отправилось на кладбище.

Впереди шел священник и причт, затем шел знаменосец с красным знаменем, за ним везли павших красноармейцев, а сзади их—оркестр, войска и почти все население городка. И пение церковных мотивов сменялось революционным траурным маршем.

Похороны, несмотря на свою оригинальность, носили очень теплый характер.

А когда я после похорон пошел обедать к Командующему (справить поминки, как он сказал), то застал там и священника.

— А что, молятся теперь в церкви за Христолюбивое воинство?—спросил кто то священника.

— Обязательно.

— За которое же из двух?

Поп ехидно улыбнулся:

— Э, да там разберутся.

* * *

В конце лета я вернулся в Ташкент. Возвращаясь из Никольского поселка в Ташкент в знойный августовский день, я зашел, пользуясь восточным гостеприимством, к сарту отдохнуть и напиться.

Мы разговорились:

— А что, левый серый (левый эс-ер) много?—спросил он меня.

— Много.

— А большевой?

— Тоже много

— А кого больше?

— Левый серый больше.

— Е-е (сарты совершенно особенно, выразительно произносят этот звук, вкладывая в него массу выражения—на бумаге его не передать),—хотел и мой в левый серый записаться, да брат уже большевой писал.

А другой сарт, милиционер, как то в Ташкенте на улице, разглагольствовал перед небольшой кучкой праздных соплеменников.

* *
*

Хива—с давних пор—очаг всяких восстаний и резни, и понятно, что революция там не могла пройти спокойно. При первой возможности иомуды взялись за оружие и, вырезав и разграбив несколько русских поселков, осадили Петро-Александровск. Под угрозой такой опасности были на время забыты партийные и классовые раздоры, и все население взялось за оружие. На их отчаянные вопли о помощи—из Чарджуя туда отправили небольшой отряд с 2-я орудиями под командой У—са.

Бывший венгерский артиллерист, молодой талантливый инженер, У. скоро стал душою обороны и любимцем всего города и красноармейцев. Жители города думали уговорить его остаться навсегда в Петро-Александровске и с этой целью женить. Но вот однажды ему удалось, заложив фугасы, взорвать скопище туркмен, а, произведенной затем вылазкой, прогнать их и захватить лагерь с их женами и всем скарбом. Тут же кто то ему, как триумфатору, подвел прекрасного аргамака, другой накинул бархатный халат на плечи, а вечером в городе в его честь устроили целый бал; возглашались тосты, пили шампанское и танцовали, а маменьки и дочки старались заманить его в свои матримониальные сети.

А когда он утром возвращался домой, то по дороге подошел к нему казак уралец (на Аральском море их живет довольно много, и у У. их был небольшой отряд) и говорит:

— Товарищ У. мы тебе жен привели, красивые.

Придя он увидел, что на полу, на роскошном текинском ковре сидели три прехорошеньких иомудки, встретившие его так, точно давно с ним знакомы и чувствовавшие себя, как дома. Пленение их, видимо, ничуть не пугало.

В полном недоумении, что делать, он побежал, к своим приятелям купцам-сартам, и те по такому случаю надарили ему дешевых украшений, халатов и сладостей, которыми он окончательно покорил сердца молодых мусульманок. А на другой день уже по всему городу пронесся слух, что у У.—гарем. И частью шокированные, частью насмешенные, но одинаково любопытные жители и жительницы Петро-Александровска стали осаждать его квартиру, чтобы посмотреть юных одалисок.

Вскоре это ему надоело, и он попросил знакомых богатых сартов забрать куда нибудь пленниц, что те охотно и сделали. Но о женитьбе У. на какой нибудь жительнице Петро-Александровска больше вопрос не подымался.

* *
*

С тов. К. мне вновь пришлось встретиться, но уже на Закаспийском фронте, в октябре 1918 года, где он командовал отрядом. Он стоял с отрядом на отдыхе в Чарджуе, у него болели глаза (явление обычное в песках Закаспия) и к тому же у него были какие то нелады со штабом, и, когда его отряду пришла очередь вновь идти на передовую линию, он стал проситься чтобы его освободили. Врачебная комиссия ему давала отпуск, но его уговорили не покидать своего поста. Все же он был в мрачном настроении.

За месячную стоянку в Чарджуе он близко подружился с одним очень патриархальным еврейским семейством, среди которого была, характерная для таких семей, старая, чрезвычайно набожная бабушка. И вот, зайдя к ним прощаться, тов. К., долго жаловавшийся на свою судьбу и болезнь глаз, перед отходом вдруг стал на колени перед старушкой и сказал:

— Мать моя, ты хотя и жидовка, а в Бога веруешь. Благослови меня.

И та, под плач умиленной семьи, благословила его, сама тоже проливая слезы умиления.

* * *

При штабе Закаспийского фронта был начальник санитарной части, старичок доктор, большой чудак и любитель выпить. Однажды Командующий фронтом вызвал к себе одного из врачей д-ра О., знакомого мне по Ташкенту (на фронте постоянно работало несколько врачей, мобилизуемых для этого на месячный срок) и говорит ему:

— Доктор, ради Бога, уговорите вашего коллегу, нашего начсана, ведь это невозможно. Приходит мой шоффер и заявляет, что у него испорчены машины и что если не промыть магнето спиртом (летчики его, наверно, научили), то ездить нельзя. Я ему дал записку к начсану, тот его послал... Вы знаете куда. Я тогда послал начсану официальное требование с моим ад'ютантом тот отправил туда же ад'ютанта и меня, заявляя, что спирт вверен ему и что никому он не даст ни капли. Войдите в мое положение. Ведь мне надо ехать в Стар. Чарджуй. Ведь я Командующий, да вдобавок бывший офицер и собственно, должен пойти и пристрелить нашего пьяницу начсана или, по меньшей мере, дать ему в морду, но что с этого пользы? Нет, пожалуйста, достаньте моему мерзавцу шофферу бутылку спирту. Вам он не откажет.

* * *

А в сентябре 20 года мы уже пожинали плоды новой политики в Туркестане и вступали в революционную Бухару, павшую 2-го сентября. Через два дня мне пришлось быть в Старой Бухаре, сильно пострадавшей от обстрела и от поджогов, сделанных бежавшими приверженцами эмира. Шла энергичная борьба с грабежами и тушили пожар во дворце, где в погребах было до 5.000 пудов пороха, опасаясь взрыва.

Золото оттуда уже вывезли и вывозили серебро. Вот едет повозка, доверху груженная мешками с мелкой серебряной монетой. На ней два красноармейца, один правит, другой охраняет, а сзади толпа бухарских мальчишек отчаянно просящих подачек:

— А ну вас,—ворчливо кричит красноармеец и пинком ноги скидывает им на растерзание мешечек бухарских денег.

Перед дворцом, на площади—гора серебра, а дальше каскадом с террасы летят шелка, ковры и халаты. Часовой—в парчевом халате, перед ним серебряный чайник, из которого он через горлышко пьет воду. Мы остановились с любопытством, смотрим на фантастическое зрелище:

— Ну, что стал,—окликнул часовой,—бери да проходи.

И мы прошли ко дворцу. У ворот дворца—караул, не позволяющий посторонним ничего оттуда выносить. Но вот идет какой то красноармеец-татарин. Боже, что за вид! На нем корсет, из за которого торчит пачка денег, бухарские неимоверной ширины шаровары, и шелковый халат. Караул немедленно приступил к его раздеванию, но когда он принял свой нормальный вид, то повернул назад во дворец.

Базар весь разбит и немногие уцелевшие лавочки закрыты, и замки повязаны красными тряпочками, но вдруг на одной из улиц два маленьких флага, один красный, а другой белый и под ними небольшая лавочка, которая открыта и над ней надпись:

— Мирный житель еврей.

Под вечер мы выехали обратно в Каган. Дороги забиты обозами, повозками и серебром и с боку отряды Красной Армии на биваке. И вот уже недалеко от ст. Каган сидит кавалерист и из мешка кормит свою лошадь сахаром.

— Ешь, Васька, ешь, покушай хоть раз сахарочку всласть,—расслышали мы тихо лавируя между обозами, пока дорога не расчистилась, и автомобиль не помчал нас дальше из сказочного города.

Ник. Фаусек.

Дантон и Марат на Печоре.

«Печорский Уездный Под'отдел Записей Актов Гражданского Состояния, вследствие заявления гражданина Печорского уезда, Усть Цылемской волости, деревни Гаревой, Николая Лукича Хозяинова с семьею о перемене его фамилии на новую: «*Дантон*», Печорский Уездный Под'отдел З. А. Г. С. на основании Декрета С. Н. К. 1918 г. № 39, ст. 488, постановил: гражданину Хозяинову присвоить фамилию «*Дантон*», что и распубликовывается подлежащим порядком через местную и центральную газеты и если не последует возражения в газете «Красная Печора» со стороны заинтересованных лиц в течение двух недель, а в центральной газете в течение двух месяцев, то новая фамилия «*Дантон*» остается в силе.

Зав. п/отд. З. А. Г. С. Милевский».

(Из газеты «Красная Печора», издающейся в Усть-Цыльме, № 5, 1922 г.).

Как это хорошо: если не последует возражения со стороны заинтересованных лиц,—с того света, что ли... И что, если бы французский великий Дантон был жив, стал-ли бы он возражать против того, чтобы гражданин Хозяинов с семьею сопричислился к его имени, или только улыбнулся бы и рукою махнул. И наконец, почему Дантон,—не контр-революционно ли это? Дантон под конец жизни был соглашателем, за что и пострадал.

Впрочем на той же Печоре, пониже по течению и поближе к океану, есть еще более надежные революционные элементы, чем Хозяинов—Дантон.

Об этом свидетельствует пометка на мандате одного из сотрудников печорского этнографического отряда Сев. Науч. Пром. Экспед. следующего содержания:—№ 472. Выезд с Печоры до Варандеи разрешается 28/8 1921 г. Следует подпись: Вриднапечморсобпост А. С. Марат.

Титул этого новоявленного Печорского Марата означает: Временно исполняющий должность начальника печорского морского особого поста.

А. С. Марат, русский Марат с именем и отчеством, Аким Севастьянов Марат...

И это в далекой печорской глуши...

Раньше бывали у нас в уездном актерском быту Гамлеты Сидоровичи и Офелии Кузьминишны.

От колена Левитова, от честного иерейского корня порою появлялся величественный Александр Филиппович Македонский с звездой и косицей, но в подлом податном звании бывали только Ермолаи да Хрисанфы, по выбору того же иерея. А если осердится иерей на деревню, появляется Иуда, Истукарий, Густозад и другие страшилища из самой глубины святцев.

После французских походов 1812—14 годов иные помещики давали своим крепостным фамилии французских маршалов и дипломатов, например: Евтихий, Андреев сын, Даву, или Филат, Тимофеев сын, Коленкур.

Но это не привилось. Имена эти тотчас же переделались в Давина и Коленкорова.

А теперь вот печорские сельские граждане сами себе выбирают имена, тоже французские, но можно сказать, не того коленкору.

Как видно, революция пашет глубоко, много глубже, чем мы полагаем.

Т.

Новости науки и техники.

Переживание тканей.

Европейская и гражданская война и революция разорвали тесную связь между ученым миром различных стран. Политические группировки, связанные с страшным шовинизмом, разделили весь свет непроницаемыми перегородками, сквозь которые старались не пропускать ни одного луча знания, который мог-бы помочь врагу. В результате—полная оторванность от научной работы другой коалиции, другой группировки. Многое вообще не печаталось, т. к. боялись выдать военные секреты, которые спасали ту или иную страну в тяжелые моменты их жизни.

Тежелее всего досталось России. Измученная войной, обессиленная внутренними распрями, запуганная революционным террором, она должна была на время отойти назад в прошлое столетие. Выковывая себе грядущее несбыточное счастье, она голодала и погибала от обоюдного непонимания борющихся классов и своей малокультурности. Особенно больно ударила революция по высшим культурным ценностям страны: науке, литературе и искусству, которые, как оранжерейные цветы, растут и развиваются лишь при самых благоприятных условиях. И если господствующая власть и принимала ряд мер, чтобы не дать погибнуть старым очагам знания и науки, если она с широким революционным размахом, создавала целый ряд небывалых и невиданных даже на Западе учреждений, она во многих случаях не в силах была дать им реальное бытие. Упадок промышленности, оторванность от Запада, откуда мы черпали все технические орудия производства, оставила наши лаборатории без газа, света и топлива. Приходилось в глубокие зимние ночи замирать на зимнюю спячку, уплотняться в углы лабораторий и освещать на короткое время лучинами места своей кратковременной работы.

Казалось, наука должна была исчезнуть, особенно там, где нужен эксперимент, нужна обстановка и известный комфорт. Но исследовательский пытливый ум оказался сильнее условий жизни. При той невероятной обстановке, о которой в свое время напишут историки, наша русская научная мысль пробивала себе дорогу вперед и вперед. Она была предоставлена самой себе, своей самобытности. Судьба задала ей тяжелый экзамен, и я нахожу, что мы выдержали его с честью. До сих пор мы шли в области более близких мне дисциплин, медицине и химии, на поводу у Германии. Мы оказались без руководителя, и нам пришлось доходить до многого своим умом, своей собственной сметкой. И теперь, когда постепенно снимаются перегородки, отделяющие нас от Запада, когда начинает доходить до нас заграничная литература, можно видеть, что и наши труды окажутся нелишними в мировой литературе.

Но для того, чтобы подсмотреть эти здоровые ростки научной жизни, которые неуклонно пробивались сквозь толщу мусора, навоза и строительного материала, наполнявших жизнь государства, нужно внимательно и бережно откапывать шаг за шагом, вершок за вершком обагренную кровью землю; среди гор партийной и пропагандистской литературы находить мелкие заметки о работах, производимых то тут то там, собирать отдельные издания мелких про-

светительных ячеек на местах. Тяжелая утомительная непосильная для отдельного человека работа, но лица, интересующиеся отечественным возрождением и будущей родной культурой, должны это проделать.

Если случайные посетители Запада, проникающие к нам, чувствуют себя свалившимися в какой то непонятный чужой для них мир, то, несомненно, что лицам, которым приходилось собираться за последнее время на некоторых специальных с'ездах, памятно ощущение человека, вышедшего из глубоких—потемок в полосу света. Даже то, что делается у нас под руками—то не всегда является достоянием широких кругов.

Вот причина, почему мне хотелось бы познакомить более или менее широкие круги с теми интересными фактами и открытиями, которые за последнее время установлены петроградскими исследователями и не известны еще западным ученым и которые являются образчиком работы, проделанной в нашем голодном и холодном Петрограде в моменты тяжелых политических переживаний.

Но чтобы правильно оценить эти вновь открытые явления, нужно дать некоторые исторические справки.

Уже давно было известно, что живая природа в борьбе за свое существование выработала целый ряд особых приспособлений, которые бы позволили ей сохранить себя при самых невероятных условиях. Мы знаем, что тело некоторых микробов выносит температуры, близкие к абсолютному нулю; следовательно, есть основание полагать, что они могут в виде мельчайшей космической пыли, не теряя своих жизненных свойств, существовать в межпланетных пространствах. С другой стороны, тот-же мир микробов представляет нам примеры необыкновенной устойчивости к более высоким температурам. Выделив особую часть своей протоплазмы и окружив ее особой весьма стойкой оболочкой, т. е. создав так называемую спору, микроб выносит действие высоких температур и даже в течение некоторого времени выносит температуру перегретого пара в папиновом котле. Но даже и без этого спорообразования, тела некоторых бактерий в состоянии жить и размножаться в горячих ключах с температурой выше 40—50°, когда свертывается ряд белков высших животных. Благодаря этой приспособляемости мир микробов завоевал весь мир; он наполняет его всюду, куда вода, воздух или почва перенесут эти живые зародыши с места на место.

Но не только простейшие растения, но и простейшие формы животных обладают той же способностью существовать при, повидимому, невероятных условиях. Еще *Левенгук* отметил, что некоторые животные (коловратки и др.) могут при высушивании жидкости, в которой они жили, превращаться в пыль, высыхать и при смачивании снова оживать. Подобная же способность выносить почти полное высыхание известна ботаникам. Ряд растений пустынь в засуху превращается в почти сухой кустик, иногда даже отрывающийся от земли и перекатываемый ветром с места на место.

Чем выше животное по своей организации, тем меньше его гибкость и приспособляемость к окружающей среде. Оно состоит из целого ряда клеток, уже значительно дифференцированных, все эти клетки требуют для своего существования известных условий, и организм обеспечивает им известную температуру, питание и т. д.

Если нарушается кровообращение или падает приток пищи, то клетки тела погибают в известной последовательности. Наступает смерть животного.

Правда, и у некоторых многоклеточных организмов последний выходит с честью из трудных испытаний жизни. Он постепенно с'едает одну за другой клетки тела и превращается в группу клеток, напоминающих зародышевую стадию животного. Это установлено, напр., для червей.

Для высших позвоночных и теплокровных животных, однако, дело обстоит значительно сложнее. Смерть поджидает нас гораздо чаще, и достаточно нашим регуляторным силам хоть немного выйти из границ, как наступает иногда непоправимая поломка тела, индивидуальная смерть. Так думала долгое время наука, пока не найдены были некоторые новые факты, которые

показывают, что живучесть живой природы даже у высших животных гораздо больше, чем мы до сих пор думали.

Научная мысль пошла при этом тремя путями. Первый намечен был *Бахметьевым*, другой *Карелем*, третий проложен *Кравковым*. *Бахметьев* на основании работ над насекомыми пришел к убеждению, что при известном осторожном охлаждении бабочек, жуков и мух, и вообще целого ряда насекомых удается достигнуть полного прекращения всех признаков, указывающих на их жизненные свойства. Они перестают двигаться, не отвечают на влияния раздражения, газообмен доходит до нуля. Но это состояние еще не обозначает смерти. При медленном оттаивании животное постепенно оживает. Если охлаждение было доведено до более низкой температуры, то животное уже не может воскреснуть. Температура, при которой животное сохраняет жизнь при видимых явлениях смерти, равна приблизительно — 4° и колеблется в зависимости от вида животного. Само явление было названо им *анабиозом*. Впоследствии оказалось, что можно проделать такие же опыты на холоднокровных животных: лягушках, рыбах и даже на некоторых теплокровных—на летучих мышах.

Итак, даже высшие организмы способны приходить как бы в состояние оцепенения, которое позволяет им перенести тяжелые внешние условия. Это явление является как бы крайним пределом зимней спячки, при которой животное постепенно понижает свой газообмен, свой обмен вообще—иногда в 20—35 раз против нормы и, забравшись в теплое гнездо, медленно исподволь расходует запасы своего тела в течение всего холодного времени. Опыты *Бахметьева* были перенесены в Москву и обещали массу интересных приложений, но за смертью самого исследователя работа приостановилась. Потом в университете Шанявского опыты продолжались на ежах (в лаб. *К. Н. Кольцова*), но, кажется, революция нарушила течение этих интересных наблюдений.

Путь *Кареля* несколько иной. Он пытался доказать переживаемость отдельных тканей. Еще раньше было установлено, что маленькие кусочки тканей, напр., эпидермис кожи, если его пересадить на кровоточащуюся поверхность рубца, в состоянии размножаться и покрыть эпителиальной тканью всю поверхность грануляционной ткани. Потом оказалось возможным пересаживать эти же кусочки тканей прямо в стерилизованные стеклянные чашечки и видеть рост этих тканей под микроскопом. Таким образом, оказалось, что даже дифференцированные клетки органов, будучи удалены из тела, продолжают процесс размножения и образуют так называемую культуру тканей подобно тому, как микроб, посеянный на питательной среде, дает культуру бактерий. При таком росте культуры тканей одни клетки размножаются очень сильно, другие отстают, так что в результате получается постепенное изменение ткани, причем она как бы распадается на элементы, причем последние неодинаково устойчивы.

Еще раньше, физиологии была известна способность отдельных органов жить после удаления их из тела. Переживание тканей было разработано *Локе*. *Кулябко* и мн. др. и достигло большого совершенства. Многие органы в состоянии производить типичную для них работу: движения (сердце), секрецию (*почка*), химические изменения (печень) часами после удаления из тела. *Карелю* принадлежит особенно интересный опыт, который он демонстрировал в Парижской Академии Наук незадолго до войны. Захлороформировав животное (кролика), последовательно шаг за шагом удаляя органы грудной и брюшной полости, он перевязывал крупные и мелкие кровеносные сосуды, идущие к стенкам грудной и брюшных стенок и к голове. Таким образом, он отделил легкия, сердце с крупными сосудами, весь пищеварительный тракт и печенью и почки от остального тела и получил так называемое, полостное животное, «visceral organism». Если поместить последнее в особый раствор (Локковскую жидкость), вставить в дыхательное горло, пищевой и задний проход стеклянные трубочки, а при помощи мехов периодически раздувать легкия, то части тела животного начнут свою привычную работу. Легкия снабдят кровь кислородом, сердце начинает биться и прогонять кровь по органам, а пищевари-

тельный канал—двигаться и перерабатывать пищу. С чувством глубокого изумления можно видеть сквозь стеклянные стенки сосуда всю работу указанных органов, скрытую от нас в обычных условиях непроницаемыми для нашего глаза костями и мышцами.

Комбинируя культуру тканей и переживание органов, *Карель* мог заготовлять в особых жидкостях ряд нужных ему тканей для хирургических операций на животных и вшивал, напр., куски кровеносных сосудов, заранее приготовленных для означенной цели, в тело животного, причем они *приживали*.

Способностью сосудов переживать общую смерть организма уже давно воспользовались фармакологи. При жизни кровеносные сосуды обладают способностью суживаться и расширяться, и поэтому могут снабжать ткани большими или меньшими количествами крови. Лекарства, принимаемые нами, могут так или иначе влиять на сосуды, а потому наука старается изучить их действие. Поэтому мы вводим в сосуды лягушки жидкость и наблюдаем скорость ее протекания при действии того или иного яда.

Переживающие органы тела представляют очень удобный обект для таких наблюдений, но требуют очень тщательной регулировки температуры и снабжения жидкости кислорода, другими словами—весьма сложной атаратуры.

Кравков Н. П. предложил поэтому для этой же цели ухо кролика, которое при жизни животного довольно легко подвергается переменам температуры, и потому легко к этому приспособилось. Оказалось, что этот орган по своей чувствительности к лекарствам и по своей неприхотливости к температуре превосходит все известные до сих пор об‘екты, и потому школа проф. *Н. П. Кравкова* пользуется им для своих изысканий с неизменным успехом. Я не могу останавливаться на целом ряде добытых ими фактов, имеющих специальный интерес и характер. Этот своеобразный метод до сих пор, однако, еще мало утилизируется Западом, хотя несомненно должен выяснить все остальное.

Изучая жизнеспособность уха кролика и его выживаемость, пришлось убедиться в том, что оно или, вернее, его кровеносные сосуды стойко *сохраняют свою чувствительность к ядам. Напр., действующее вещество надпочечных* желез, адреналин, суживает сосуды такого уже лежащего несколько дней на холоду—уха так же, как будто мы ставим опыт на ухе только что *убитого животного*.

Оказалось, что низкая температура лучше сохраняет жизнь тканей, чем более высокая и что вообще существует ряд условий, благоприятствующих жизни уха после смерти самого животного.

Изучение этого обекта, конечно, не производит такого неотразимого впечатления, как работа „внутреннего организма“ Кареля, но тонкость ответа сосудов на раздражения ядом поражает всякого, кому приходится ближе знакомиться с этим методом. Разведения адреналина дают характерный ответ.

Но этого мало. Переживающее ухо кролика оказалось способным отвечать на некоторые внешние раздражения. Если смазать ухо здорового животного иодом, то получается игра сосудов: кожа местно краснеет, становится теплее, опухает, вызываются болевые ощущения, развивается так называемый воспалительный процесс. Оказывается, что и изолированное ухо кролика, давно сохраняемое в лаборатории, обладает тем же свойством. В ответ на смазывание кожи уха раздражающими веществами появляется реакция сосудов и припухлость; явления воспаления, характерные для живого животного, оказались свойственными и для переживающей ткани.

Дальнейшие исследования школы *Н. П. Кравкова* показали, что для тех же целей изучения сосудистой реакции можно пользоваться и органами *человека. Один из его учеников, С. В. Аничков, исследовал* пальцы человека, взятые от трупа: оказалось, что сосуды их так же тонко отвечают на яды, как и сосуды кроличьяго уха. Между тем для практической медицины этот обект особенно дорог, т. к. именно на кровеносные сосуды человека приходится влиять врачу. И пальцы человека становятся по-

степенно переживающим об'ектом, на котором современная медицина строит свои наблюдения. Пальцы покойника оказались более живучими, чем многие другие органы тела; еще на 10—12 день после смерти сосуды артерий отвечают сужением на введение адреналина. Такие переживающие об'екты в ответ на смазывание кротоновым маслом и иодом отвечают подобно живому пальцу расширением сосудов, как бы явлениями воспаления.

Одним словом, проф. *Н. П. Кравков* со своими учениками не только нашел крайне удобный об'ект для изучения переживания тканей, но и для демонстрации игры сосудов и явлений воспаления. Остается только удивляться неожиданно открытой живучести тканей высшего животного.

Но этого мало. Тому-же исследователю удалось найти еще один поразительный факт. Изучая различные способы консервировании уха, он подверг его высушиванию в эксиккаторе и получил сухую пластинку, в которой не было ни признака жизни. В таком виде высушенное ухо может сохраняться днями.. Если теперь понемногу размочить это ухо, вставить его в соответствующий прибор и пропустить жидкость по сосудам, то последние снова начинают свою ритмическую работу и отвечают на раздражение ядами. Мы имеем, очевидно, дело со новым совершенно своеобразным *анабиозом от высушивания.*

Биологически он связывается несомненно с явлениями летней спячки, которая описывается некоторыми исследователями тропических стран. В период засухи некоторые пресмыкающиеся постепенно усыхают, выделяют на себе слизь, которая спекается с песком и грязью в корку и в таком состоянии проводят сухое время года. Если эти описании верны, то, очевидно, в природе такие явлении существуют, но для тканей высшего теплокровного животного такое явление наблюдается несомненно впервые.

Многие рассматривают анабиоз от охлаждении, как кристаллизацию воды в клетках тела. Таким образом сама протоплазма клетки как бы беднеет водой. Если это так, то явление анабиоза от высыхания, открытое Кравковым, есть очень близкое явление, вполне об'яснимое с современной физиолого-химической точки зрения.

Не все ткани, повидимому, способны на это. Опыты с человеческими пальцами подтвердили тот-же факт, но другие органы, напр., сердце, не выдерживают этого. В моей лаборатории удавалось несколько раз успешно высушивать кишку кролика, после чего она оживала и совершала, хотя и медленные, но определенные движения.

Все шире и шире развертывается новая любопытная страница биологии. Возможность приспособляться к окружающим вредным влияниям у высших животных оказывается гораздо больше, чем мы до сих пор думали. Даже высокодифференцированные ткани способны надолго переживать смерть индивидуума.

Какая богатая тема для пытливого исследователя!

Какой любопытный матерьял для философа!

Какие проблемы поможет решить этот новый метод консервирования тканей—никто еще не в состоянии предсказать.

Будем только радоваться, что и в наших тяжких муках рождения новой России, новых политических и экономических построений, продолжает жить и развиваться пытливый ум исследователя, который, не взирая ни на что, упорно ведет свое дело.

Это является залогом того, что если дать нашей русской науке хотя бы элементарные начала свободного общения с Западом и самые простые условия для независимости научной работы, мы быстро двинется по пути нашего научного самобытного строительства, которое так же нужно стране, как и все другие формы созидательной работы.

Б. И. Словцов.

Противоположность живого и мертвого.

(*Опыт физического обоснования*).

В чем заключается специфическое отличие живых тел от мертвых? Этот вопрос давно уже раскалывает естествоиспытателей на два лагеря—виталистов и механистов. Первые усматривают это отличие в различных матафизических факторах, как то: психизме, телеологичности, „жизненном порыве" и т. д., считая принципиально невозможным сведение жизненных явлений даже в простейших организмах к законам физики и химии. Вторые считают, что все *об'ективные* жизненные явления могут быть выражены в механических терминах. Метафизические факторы виталистов имеют для них чисто суб'ективное значение и не влияют на об'ективное течение жизненных процессов.

Исходя из того несомненного фактора, что живые тела состоят в конце концов из тех же самых атомов и электронов, как и мертвые, некоторые крайние представители механистической точки зрения пытались совершенно игнорировать отличие живого от мертвого, и, таким образом, способствовали лишь дискредитированию защищаемых ими принципов. Наоборот, основной задачей физической (или механической) теории жизни должно являться выяснение *физических* особенностей жизненных явлений, *физической противоположности живого и мертвого*. Эта фундаментальния биологическая проблема оставалась, однако, до сих пор нерешенной, хотя некоторые биологи и, в особенности, физики пытались подойти к ее решению (главным образом, с точки зрения так называемого второго начала термодинамики, определяющего нормальное течение физических процессов [1]). Излагаемая ниже теория, представляет собой, повидимому, первую попытку сколько-нибудь обоснованного и общего решения вышеуказанной проблемы [2]).

I.

Нормальное состояние всякой системы мертвых тел, представляет собой, как известно, состояние устойчивого равновесия. Устойчивость равновесия характеризуется антагонистическим взаимоотношением между определяющими его факторами,—взаимоотношением, которое может быть выражено следующей формулой: *если А вызывает В, то В стремится уменьшить А (т. е. вызвать —А)*. Так напр., всякое отклонение маятника от положения равновесия (А) вызывает силу (В), которая стремится уменьшить это отклонение. Указанная формула применима не только к механическому равновесию в узком смысле этого слова, но также к равновесию тепловому, химическому, электрическому и т. д., представляя собой один из наиболее общих принципов физики и химии (впервые формулированный Ле-Шателье и известный обычно под именем принципа „подвижного" равновесия). Так, напр., нагревание тел вызывает их расширение, а расширение вызывает охлаждение. Повышение температуры усиливает испарение жидкости, а испарение вызывает понижение температуры настолько значительное, что при достаточно быстром испарении все жидкости замерзают. Далее при химических реакциях повышение температуры способствует образованию эндотермических соединений, т. е. таких, которые требуют затраты тепла и образование которых вызывает понижение температуры. Наконец, в области электрических явлений, известно, что при относительном движении магнитов и проводников, в последних возбуждаются (индуктируются) такие электрические токи, которые препятствуют этому движению (закон Ленца).

---

[1]) Сюда относятся в особенности теория Ауэрбаха („Эктронизм или физическая теория жизни") и в последнее время совершенно необоснованная и бессодержательная теория Туи (Guye, Archives de la Societé de Physique Suisse, Genève, 1920 г).

[2]) Настоящая статья имеет предварительный характер. Я надеюсь в ближайшем будущем изложить свои соображения (впервые высказанные в биологическом семинаре Таврического Университета в 1920 г.) в виде отдельной брошюры.

Мертвые системы не могут, очевидно, находиться в состоянии неустойчивого равновесия, характеризующегося *гармоническим* соотношением факторов, его определяющих. Заметим, что это взаимоотношение выражается формулой, противоположной формуле устойчивого равновесия, а именно: *если А вызывает В, то В стремится увеличить А (т. е. вызвать + А)*. Так, напр., еслибы нам удалось установить палку совершенно вертикально, то при отсутствии внешних воздействий, она могла бы оставаться в этом состоянии неограниченно долго. Однако малейшее отклонение палки вызывает силу, стремящуюся увеличить это отклонение, вследствие чего подобное неустойчивое равновесие является фактически невозможным. Если палка и может оставаться в более или менее вертикальном положении, то лишь на пальце жонглера. При этом, однако, к рассмотренным выше двум факторам, находящимся в гармоническом взаимоотношении присоединяется третий *стабилизирующий* [1]) фактор, обусловленный надлежащими перемещениями поддерживающей палку руки. Таким образом, неустойчивое равновесие мертвых тел возможно лишь при воздействии живого организма, в данном случае, человеческого тела. Но и равновесие человеческого тела, в его нормальном, вертикальном положении, является с статической точки зрения, столь же неустойчивым, как и равновесие палки. Каждый человек, стоящий не только на одной, но и на двух ногах, находится, в сущности говоря, в неустойчивом равновесии и жонглирует своим собственным телом, при помощи определенного стабилизирующего механизма нервных импульсов и мышечных сокращений. Расстройство этого механизма, или его несовершенство, проявляющееся в чрезмерном *запаздывании* стабилизирующего фактора (у детей, больных, стариков), сопровождается падением. Стояние есть признак жизни: человек убитый „наповал" мгновенно падает. С механической точки зрения *смерть есть переход из неустойчивого равновесия в устойчивое, а жизнь сводится к поддержанию состояния неустойчивого равновесия.*

Нетрудно показать, что это определение остается в силе по отношению ко всевозможным проявлениям жизни. Так, напр., вещества, из которых построен человеческий и вообще всякий животный организм, представляют собой крайне неустойчивые химические соединения. С химической точки зрения, точно также, как и с механической, смерть, сопровождающаяся разложением тела, т. е. „распадом" его молекул, есть также переход от неустойчивого равновесия к устойчивому, а жизнь есть поддержание неустойчивого химического равновесия.

Если мы обратимся к явлениям более сложным—физиологическим и психологическим (рассматривая последние, как суб'ективное проявление некоторых об'ективных мозговых процессов), то мы неизменно констатируем в них то гармоническое соотношение между взаимодействующими факторами, которое является несомненным признаком неустойчивого равновесия. Конечно, поддержание этого равновесия обусловливается вмешательством третьего, стабилизирующего фактора,—вмешательством, которое всегда происходит с более или менее значительным запаздыванием. Поэтому прогрессивная тенденция жизненных процессов проявляется всегда в их начальной фазе, превращаясь в дальнейшем в консервативную.

Так, работа каждого органа сопровождается, его утомлением, т. е. уменьшением работоспособности. Однако, в начале каждого акта энергия его постепенно увеличивается: функционирование органов вызывает усиленный приток крови к ним, способствующий усилению их деятельности. Если вместо отдельного акта рассматривать ряд периодически повторяющихся однородных актов, то получается совершенно аналогичный результат: упражнение каждого органа ведет к его развитию, т. е. к такому изменению его строения, которое способствует его функционированию. В этом гармоническом соотношении между строением и отправлением и заключается сущность функ-

---

[1]) Т. е. фактор, восстанавливающий равновесие. Заметим, что „стабильный" означает устойчивый, (от латинского глагола sto—стою), а лабильный—неустойчивый (от глагола labor—падаю).

ционального или биологического приспособления. В то время, как мертвые орудия портятся от употребления—живые (мускулы, нервы и т. д.) наоборот развиваются, совершенствуются.

Далее, хотя всякая потребность при ее удовлетворении исчезает, однако, в начале этого удовлетворения она, наоборот, им возбуждается. Недаром говорится, что «l'appetit vient en mangeant». Точно так же потребность в курении, алкоголе и т. д. развивается от ее удовлетворения и даже во многих случаях создается теми актами, которые впоследствии служат ее удовлетворению.

Аналогичное соотношение „взаимного возбуждения" существует между эмоциями (радости, скорби, гнева) и их внешним выражением.

Как известно, Джемс пытался даже перевернуть обычное представление об одностороннем „вызывании" в том смысле, что эмоции являются не причиной, а следствием тех внешних явлений (смех, плач и т. д.), которыми они выражаются. Еще больше бросается в глаза неустойчивость всякой „живой" системы в явлениях социальных. Достаточно, напр., напомнить о том неустойчивом равновесии между нациями, которое называется вооруженным миром, когда вооружение каждой страны вызывает ответное вооружение другой, которое, *в свою очередь, вызывает дальнейшее вооружение первой.* (*Другим при*мером может служить гармоническое соотношение товарных цен, тарифных ставок и т. д.: вздорожание хлеба вызывает вздорожание остальных продуктов и труда, что в свою очередь вызывает дальнейшее вздорожание хлеба. При отсутствии стабилизирующего фактора (которым в данном случае является конкурренция) это взаимное повышение цен приводит к более или менее стремительному падению денег) [1]).

Таким образом, в то время, как с статической точки зрения нормальным состоянием мертвых тел и систем является устойчивое равновесие, нормальным состоянием живых тел и систем является состояние неустойчивого равновесия, к поддержанию которого при помощи различных стабилизирующих факторов и сводится жизнь.

II.

Поскольку отличие мертвого от живого сводится к отличию устойчивого от неустойчивого, оно, однако, не может иметь характера *противоположности* в истинном смысле этого слова.

Принимая во внимание, что различные устойчивые состояния отличаются друг от друга *степенью* устойчивости, нетрудно видеть, что абсолютно неустойчивое равновесие представляет собой предельное состояние, для которого степень устойчивости равна нулю. Понятие о степени устойчивости вытекает из того обстоятельства, что при достаточно большом отклонении какого либо тела (напр., стола или стула) от нормального устойчивого состояния, последнее уже не может восстановиться, и тело, предоставленное самому себе, переходит в новое состояние устойчивого равновесия („опрокидывается"). Степень устойчивости определяется наименьшей величиной отклонения, необходимой для того, чтобы система перешла в новое положение равновесия или, вернее, дошла до границ „устойчивости", разделяющей оба положения. Вместо величины отклонения, можно воспользоваться также для характеристики степени устойчивости величиной работы, которую необходимо затратить для этого отклонения. Таким образом, устойчивое равновесие относится к равновесию неустойчивому, как положительные числа относятся к нулю.

По отношению к наиболее устойчивому состоянию все прочие состояния обладают определенной потенциальной энергией, измеряемой той работой, кото-

---

[1]) Гармоническое соотношение между взаимодействующими факторами в социальных явлениях дает возможность трактовать, не впадая во внутреннее противоречие, одно из них, как причину, а другое, как следствие. На самом деле, однако, подобное представление об «односторонней причинности» в корне ошибочно. Если A является причиной B, то B может быть также причиной A.

рую соответствующее тело может совершить, переходя в это состояние. Неустойчивое равновесие характеризуется *максимумом* потенциальной энергии, и лишь в этом смысле может противопоставляться равновесию устойчивому, как соответствующему минимуму ее [1]). Заметим, что в случае механического равновесия, потенциальная энергия тела тем больше, чем выше центр тяжести его над земной поверхностью. В общем случае роль высоты играет так называемый *потенциал*, равный величине энергии, отнесенной к единице массы.

Если, вместо того, чтобы говорить об устойчивости или неустойчивости, мы будем рассматривать мертвые и живые тела с точки зрения их потенциальной энергии, то противоположность между ними, поскольку речь идет об их нормальном состоянии, исчезает и сводится к тому, что живая материя отличается от мертвой малой устойчивостью и высоким потенциалом.

Если, однако, от статической точки зрения мы перейдем к эволюционной, т. е. будем рассматривать *направления*, в которых перемещается равновесие живой и мертвой материи, то мы увидим, что эти направления противоположны. В то время, как неорганическая эволюция совершается в направлении увеличения устойчивости, понижения потенциала, органическая эволюция, наоборот, совершается в направлении уменьшения устойчивости, повышения потенциала.

Если мы, напр., обратимся к животному царству, и будем подниматься от самых низших форм к человеку, то мы получим следующий ряд. Простейшие животные—одноклеточные, губки, кишечно-полостные, иглокожие, а также большинство червей и моллюсков живут в воде, находясь, в сущности говоря, в состоянии безразличного равновесия, тогда как более высокие формы, членистоногие и позвоночные (хордовые) ведут, главным образом, наземный образ жизни. Далее, членистоногие поддерживают свое тело на трех и более парах коротких и широко раздвинутых ножек, тогда как позвоночные имеют всего лишь две пары конечностей (за исключением рыб, которые их вовсе не имеют). Поднимаясь далее от земноводных и пресмыкающихся к птицам и, в особенности, млекопитающим, мы наблюдаем постепенное повышение центра тяжести,—пока, наконец, не доходим до человекообразных обезьян и человека, который, поддерживая свое тело на двух конечностях, поднимает центр тяжести его в наивысшее возможное положение, соответствующее абсолютно неустойчивому равновесию.

Поскольку биологическая эволюция совершалась в направлении от „низших" форм к „высшим", постольку в механическом отношении она характеризуется постепенным уменьшением механической устойчивости и постепенным повышением потенциальной энергии, т. е. под'емом центра тяжести. Можно даже, если угодно, высоту организации определять высотой центра тяжести.

Растительные формы, даже наиболее высоко организованные в отношении своей механической устойчивости, несравненно ближе к мертвым телам, чем животные, что вполне соответствует их положению на биологической лестнице. Достигая гораздо большей высоты, чем любые животные, гигантские деревья остаются, однако, прочно связанными с землей своими корнями.

Уменьшение жизненной устойчивости, проявляется также весьма ярким образом в уменьшении способности к *регенерации*, т. е. восстановлению нормальной формы организма или отдельных его органов при всевозможных механических повреждениях. Так, напр., гидроидные полипы или губки могут восстанавливаться из какой нибудь одной клетки своего организма. Если дождевому червю оторвать голову, то у него отрастает новая, у тритона восстанавливаются все конечности, у ящерицы хвост, в то время, как у высших животных способны регенерировать лишь покровные ткани (кожа, волосы, когти).

Рука об руку с усложнением организации, с повышением биологического уровня, идет увеличение химической энергии, уменьшение химической устойчивости живой материи. Захватывая извне минеральные вещества, растения

---

[1]) Неустойчивое равновесие можно определить также, как «границу» между двумя устойчивыми состояниями.

8*

ассимилируют их, превращая их в сложные органические соединения (главным образом, углеводы, а также белки и жиры), содержащие в скрытой (потенциальной) форме поглощенную ими энергию солнечных лучей.

Ассимилируя эти продукты жизнедеятельности растений, животные превращают их в еще более сложные и менее стойкие соединения (белки), с еще большим запасом потенциальной энергии.

Часть ассимилируемой организмами материи непрерывно распадается (под влиянием окисления и других факторов), освобождая энергию, необходимую для дальнейшей жизнедеятельности, т. е. прежде всего дальнейшей *ассимиляции*. Однако, в жизненном балансе трата с избытком покрывается накоплением живой материи, результатом чего является рост и размножение организмов.

Но даже не ассимилируя, т. е. не оживляя мертвой материи, а лишь захватывая ее в сферу своего влияния, живые организмы „лабилизируют" и „энергетизируют" ее, т. е. уменьшают устойчивость и увеличивают энергию—механическую и химическую. Возрастание механической энергии, т. е. повышение центра тяжести, происходит при возведении всевозможных построек, от коралловых рифов, до современных небоскребов; повышение химической энергии (потенциала)—при образовании горючих и взрывчатых веществ. В последнем отношении химическая деятельность человека, вырабатывающего различные взрывчатые вещества от пороха до пироксилина, является продолжением жизнедеятельности, с одной стороны, высших растений, вырабатывающих различные горючие вещества, а с другой—различных микроорганизмов (бактерий), связывающих азот, серу и т. д. Минеральные вещества, встречающиеся в земной коре, принадлежат к наиболее устойчивым химическим соединениям. Мертвая материя сама по себе может переходить лишь от менее к более устойчивым состояниям, теряя свою энергию и равномерно распределяя остаток ее между своими частями. Захват энергии, энергетизация окружающей материи и лабилизация ее является специфической способностью живых организмов.

III.

Не исключает ли установленная выше физическая противоположность живого и мертвого возможности сведения жизненных явлений к законам физики и химии? Нисколько,—ибо *статически неустойчивые состояния могут осуществляться динамически и в неживой материи, при внешней незаметности соответствующего движения*. Так, напр., быстро вращающийся волчок может оставаться в вертикальном положении без какой бы то ни было опоры. Роль стабилизирующих факторов играют при этом обусловленные вращением силы инерции. Конечно, в живых организмах стабилизирующие факторы должны зависеть не от вращательного, а от некоторого другого, более сложного движения частиц. Существенное различие между волчком и живым организмом заключается в том, что волчок не может самостоятельно завертеться или поддерживать свое вращение за счет внешней энергии, в то время, как „жизненный вихрь" может при благоприятных условиях не только поддерживаться, но и непрерывно разростаться, захватывая извне все новые и новые количества материи и энергии. И если индивидуальная жизнь имеет предел, если каждый отдельный организм в конце концов переходит в состояние устойчивого равновесия, падая (и распадаясь химически), подобно тому, как падает остановившийся волчок, то жизнь надиндивидуальная может, при благоприятных обстоятельствах, продолжаться и развиваться беспредельно. Сравнение жизни с вихрем представляет собой более нежели образное выражение. Те вихри, которые зарождаются в атмосфере и проносятся над громадными пространствами земной поверхности,—так называемые циклоны—обнаруживают в некоторых отношениях поразительную аналогию с жизненными явлениями, разрастаясь и даже размножаясь путем отделения циклонов—„деток". Рост и «размножение» атмосферных вихрей обусловливается чисто механической ассимиляцией, т. е.

приобщением к вращательному движению окружающих масс воздуха. Само собой разумеется, что ассимиляция живой материи, сопровождающаяся ростом и делением последней, имеет несравненно более сложный (химический) характер. Мы не имеем однако, никаких оснований сомневаться в том, что эта ассимиляция может быть сведена к физико-химическим факторам. Вопрос о возникновении циклонов остается до сих пор также не вполне выясненным. Однако, физическая возможность их зарождения является столь же несомненной, как и возможность зарождения того более сложного движения, в котором, с об'ективной точки зрения, заключается жизнь.

Я. И. Френкель

Русская наука и ученые во время революции.

Русская наука до войны и революции, хотя и медленно, но беспрерывно росла и развивалась, поднимаясь до высот достижений науки других стран Европы. Ей приходилось преодолевать много препятствий. Правительство неблагосклонно относилось к науке и отпускало на нее мало средств.

Полицейские стеснения опутывали и всю Россию и всю науку: преследовались и запрещались даже всякие кружки для самообразования, общества изучения местного края в провинции и т. п. Наука была „неблагонадежна“, и власти всегда боялись «студента», зараженного наукой и неблагонадежностью, и профессоров, сеявших семена смуты.

Министерство просвещения всегда меньше всего заботилось о просвещении и науке. Она чаще находила приют в министерстве финансов (при Витте), в министерстве земледелия (при Ермолове, Кривошеине).

На всю Россию учреждался один университет в 10 лет, да и то не столько стараниями правительственной власти, сколько усердием местных учреждений и отдельных богатых людей; Пермский Университет, напр., создан главным образом по инициативе и на средства известного мецената Н. В. Мешкова.

Грянувшая революция разом уничтожила все полицейские, начальственные препятствия. В свободной России—полный простор для научного творчества и развития. В 1917 г. еще была мировая война и внимание и силы были отвлечены ею. Кроме того, все были опьянены свободой и „разговаривали“ на все лады. Октябрьская революция прекратила разговоры и уговоры.—Тяжелыми ударами она оглушила интеллигенцию и ученых.

Начался «саботаж», забастовки. Власть «не признавали» и все время ждали ее падения. Так было до весны 1918 г. Большевики командовали и распоряжались. Им были нужны «спецы», они их пригласили; и «спецы» пошли к большевикам, и работали «за страх и за паек», иногда и «за совесть».

Большевики, разрушая старый мир, попытались «новый мир построить». Власть щедро начала отпускать средства и на различные научные предприятия и затеи, старые и новые. Были еще старые деньги, и правительство только начинало широкое новое деньгопечатание; население и крестьяне брали деньги и они стоили еще кое-что.

Как и все в России, научные учреждения и ученые устремились к максимальному осуществлению своих давнишних планов и помыслов. То был период горячешной спешки в использовании благоприятного момента. Легкая возможность получить средства или обещание дать их на осуществление почти любого проекта поддерживали «творческий порыв» ученых учреждений и ученых деятелей.

Все мы помним бесчисленные заседания комиссий летом и осенью 1918 г., на которых вырабатывались проекты всевозможных учреждений новых, расширения старых, издания ученых трудов, организации экспедиций и пр. и пр.

Все старые учреждения мечтали расшириться пространственно прежде всего. Петроградский Университет, напр., имевший прежде 6—10 тысяч студентов, в своем стремлении распространиться по Васильевскому острову просит и получает в свое распоряжение громадные здания Кадетского корпуса. Каждая лаборатория стремится занять возможно большее и лучшее помещение.

Старые, но частные ученые учреждения и учебные заведения, лишенные всех своих доходных статей, становятся государственными. Вырабатываются штаты, исходя опять из надежд на идеальные условия осуществления предположений. Штаты утверждались почти без отказа и очень быстро, и учреждения перестраивались на новый лад и, конечно, «расширялись» при этом.

Почти все помыслы, пожелания ученых кругов о создании новых учреждений осуществляются.

Если бы собрать материалы, записки, сметы, проекты, составленные различными учеными учреждениями в России,—то по ним можно судить о том, чем захотела стать русская наука, какую программу развития и деятельности она наметила, считая, что условия для выполнения в высокой степени благоприятны. То была программа—maximum.

Максимализм, желание взять, получить возможно больше, были общерусским явлением. Крестьяне забирали себе всю землю, рабочие—фабрики и заводы, иные «грабили награбленное», и ученые тоже брали все, что могло пригодиться для науки, что можно было взять.

А брать можно было много, и все—даром. Нужны были инструменты, книги, требовалось проворство узнать, где лежит нужное, и—получить. Нужен дом для нового учреждения, дворец,—бери, чуть не любой.

Сначала стеснялись, а потом брали и даже охотно. Петроградский Университет устраивает прекрасный Естественно-Научный Институт в Петергофе во дворце князя Лейхтенбергского, где летом, после зимней научной спячки от холода, университетские ученые оживали под лучами теплого солнца и вели интенсивную работу. Новый Институт изучения мозга, основанный Бехтеревым, поселяется во дворце в. кн. Николая Николаевича, Географический Институт отделяется от Института Лесгафта располагается во дворце в. кн. Алексея Александровича и т. под.

Открывается ряд новых Институтов. В Петрограде—Институт Истории Искусств, Институт Живого Слова, Институт Журнализма и Экскурсионный Институт, Радиологический, Астрономо-Геодезический, Вычислительный, Фототехнический, Институт ритмического движения, Декоративный Институт, Высший пожарно-технический Институт и т. д. и т. п. В одном только Петрограде учреждается 3 университета, 10 высших Педагогических Институтов, отличающихся друг от друга только названиями и немножко программой

Следует также отметить необычайное оживление экспедиционной деятельности Петрограда, Москвы и, кажется, по всей России. Каждый из Институтов старых и новых отправлял и не одну, а часто несколько экспедиций по своим специальностям во все концы не воюющей части России. Из Петрограда в 1920 и особенно в 1921 году отправляются сотни экспедиций, изыскательных партий и проч. в Туркестан, на Кавказ, на Урал, а больше всего на Север. Там, за полярным кругом, спокойней, чем в остальной густо населенной стране, там люди сытно ели, доедая обильные английские и американские запасы.

Богатства Севера всегда влекли к себе и русских промышленников и иследователей. Создается в Петрограде и Москве целая организация «Северная Научно-Промысловая экспедиция», которая в одном 1921 г. организовала и отправила 26 экспедиций по всему северу. Всяких экспедиций было там много, что когда они с‘езжались, например, в Архангельске, то вагоны этих экспедиций стояли на всех ж.-д. путях станции.

Проектированы были большие экспедиции в Ю.-Америку, Африку и пр. При участии Академии Наук и при обещании правительства дать средства, даже приступлено было к организации их и осуществлению.

Оживление и под‘ем распространились по всей России.

* * *

«**Научная работа в Крыму в 1917—1921 годах** шла непрерывно и временами при мало мальски благоприятных условиях приобретала интенсивность, небывалую в истории края». Так сообщает свидетель и участник этой работы академик В. И. Вернадский (журнал «Наука и ее работники» № 4 1921 г.).

Это об'ясняется тем, что Красоты Крыма, лучшее питание вначале этого периода привлекли туда много интеллигенции и ученых с Севера. Однако, работа приезжих ученых быстро связывалась с жизнью края.

«Прилив умственных сил в Крым, в том числе многих замечательных ученых, создал для Крыма в эти годы благоприятные условия для научного творчества и исследования, несмотря на ужасающие внешние обстоятельства Крыма, особенно временами. Крым пережил около десяти смен властей—и некоторые смены переживались им очень тяжело. С другой стороны, среди сменявшихся условий жизни были времена более легкие и более тяжелые, были передышки» (Там-же).

В Крыму среди войны, междуусобицы, отрезанности Черного моря, временами блокады и проч. создался университет с большой библиотекой в несколько десятков тысяч томов, с клиниками, лабораториями, кабинетами. При Университете образовалось несколько научных обществ, и «шла—почти не прерываясь—научная работа».

Летом 1920 г. Университет начал организовывать даже иностранный заем. Американский Красный Крест взял на себя полную организацию медицинского факультета и снабжение всего университета американской литературой по всем кафедрам, обратился у-т за помощью также в Рокфеллеровский Институт в Америке. Но не успел получить много.

Советская власть, взяв Крым, реформировала У-т, закрыв Юридический факультет при первом занятии и факультет общественных наук при втором завоевании Крыма, когда У-т получил название «Крымского У-та им. тов. Фрунзе», завоевателя Крыма. Он совершенно потерял свою автономию, но все же развивается, так как вошел глубоко в местную жизнь. При У-те ряд учреждений: Естественно-Исторический музей, Архивная Комиссия, Крымское Общество Естествоиспытателей; вновъ создан художественно-археологический музей Крыма.

В Ялте, несмотря на все невзгоды, развивается Естественно-Исторический музей, собравший за это время хорошую библиотеку в несколько тысяч томов и сильно пополнивший коллекции.

Многочисленные научные начинания не успели еще оформиться или и совсем не осуществились. Возобновилось сообщение с Севером и столицами. Именитые ученые потянулись на Север в родные им места. Иные уехали за границу.

Все-же много хороших, больших ученых осталось в Крыму (А. Гурвич, А. Байков и др.).

Университет и ученые учреждения крепнут и растут...

* * *

Сибирь в смысле развития научной деятельности принадлежала к числу самых отсталых стран в мире. На всю Сибирь имелся один Университет один Политехникум в Томске и Институт восточных языков во Владивостоке. Настойчивые стремления Сибирской интеллигенции к развитию науки и просвещения в Сибири встречали неодолимые препятствия со стороны реакционной политики самодержавия.

После революции сразу обнаруживается перелом в другую сторону. Гонимые голодом и ужасами гражданской войны в Европ. России ученые пробирались в Сибирь чрез фронты и без фронта. „К осени 1918 г., пишет проф. Я. Эдельштейн, сведениями которого я пользуюсь,—в Сибири оказалось

такое множество интеллигенции и ученых—инженеров разных специальностей, профессоров, ассистентов, исследователей, натуралистов и т. п., какого она раньше никогда не видела. Приезд ученых продолжался и в 1919 г.".

„В связи с резко изменившимся общеполитическим положением страны и *обильным притоком новых интеллектуальных сил, в Сибири начинается* с 1918 г. чрезвычайное оживление в сфере научного строительства".

В 1918 г. открывается Университет в Иркутске, и начинается интенсивная работа формирования нового центра научной работы в Сибири. Во Владивостоке в 1918 г. открывается на частные средства Политехнический Институт с Горным факультетом. В Омске—Сельско-хозяйственный и Политехнический Институты.

Несмотря на исключительно тяжелые условия, созданные длительной гражданской войной и экономической разрухой, удается пополнить преподавательский персонал, приступить к оборудованию лабораторий, библиотек и др., и к 1919 г. положение всех вновь созданных в Сибири учебных заведений можно считать упрочившимся.

Наряду с организацией высших учебных заведений были основаны и чисто научные учреждения: *„Институт исследования Сибири", Сибирский* Геологический Комитет; организуется ряд научных экспедиций в различные области Сибири, доставившие в высшей степени ценные материалы, особенно по изучению месторождений полезных ископаемых Урала, рудных и каменноугольных залежей Киргизской степи и Алтая; обследованы Норильские залежи каменного угля при устье Енисея. Этим последним месторождениям (запасы до 4 миллиардов пудов) суждено играть в будущем исключительно важную роль в деле снабжения углем судов, плавающих по Северному Морскому пути— от устьев Оби и Енисея чрез Карское море к берегам Европы и Америки.

Детальны изучены Карагандинские каменноугольные месторождения, запасы которых достигают нескольких десятков миллиардов пудов. В этом крае строится Ю.-Сибирская ветвь ж. д.

В ноябре 1919 г. Омск пал; скоро и Томск был занят красной армией. *Временно научная деятельность в Сибири замерла, что бы затем возобновиться* вновь, но уже в иных формах.

После почти полного прекращения гражданской войны,—в пределах западной Сибири и Урала удалось опять организовать и направить на работы свыше пятидесяти геологических, магнитно-метрических и топографических партий; работы их прошли большей частью благополучно и доставили обильный и ценный материалы. Вообще 1920 г. по обилию экспедиций, занимавшихся полевыми исследованиями, является совершенно исключительным в истории Сибири.

Как только наладилась сообщение с Европ. Россией, начинается отлив научных сил из Сибири. Уехал домой эвакуировавшейся с Колчаком Пермский Университет; многие вернулись в Петроград и Москву,—и научная деятельность в Сибири ослабевает.

Все же культурные приобретения Сибири за период революции остались и они внедряются в жизнь; и новые высшие ученые и учебные учреждения будут центрами научной деятельности и просвещения.

* * *

„За последние три года, за время оторванности от Центральной России, **Северный Кавказ** обогатился целым рядом научных учреждений и организаций",—так начинает свое сообщение **Д. Павлов** (Наука и ее работники" № 6). По условиям времени это оказалось более чем когда-либо возможным.—Спасаясь от голода и гражданской войны, на юг перебралось много ученых. В результате (1917—1921) Северный Кавказ имеет Кубанский Университет, Политехникум, Педагогический Институт в Екатеринодаре, Сельско-хозяйственный и Педагогический Институт в Ставрополе; во Владикавказе, центре Горской республики, *открыты Политехнический, Педагогический и Художественно-*Промышленный Институты, Бальнеологический Институт в Пятигорске.

Идет усиленная работа по изучению края. Северо-Кавказский Институт краеведения во Владикавказе развил широкую деятельность; в Пятигорске он открыл полное со всеми секциями отделение, с которым слился бывший Совет Обследования и изучения Терского края. Как самый Институт, так и его отделение работали энергично, хотя и при весьма трудных условиях. Целый ряд книг и статей приготовлены к печати. Основываются кафедры краеведения при Кубанском У-те и Владикавказском Политехническом И-те. В начале апреля 1921 г. в Кисловодске состоялась краевая Сев.-кавказская конференция; на ней выяснилось, что Сев. Кавказ переживает полосу увлечения этнологическими и археологическими изысканиями. Организован ряд экспедиций.

Устраиваются музеи; Кабардинский — в Нальчике, Сев.-Кавк.—в Пятигорске, заново создаются музей в Дагестане (Туре), на Куме (в Св. Кресте).

Среди кавказских ученых поднят вопрос об обмене хотя бы рукописными бюллетенями, в целях согласования работ и во избежание параллелизма. Там были в этом отношении курьезы. В Екатеринодаре, около 2-х лет существовало два политехнических и-та. Правительственный (Кубанский), организованный недоехавшими до Тифлиса или возвращавшимися из него профессорами; и частный Северо-кавказский, открытый по инициативе местных общественных деятелей. Потом они все же слились.

В Баку удалившимися из захлестнутого волной национализма Тифлиса русскими профессорами создан Университет. И он крепнет, так как жизненно необходим для края.

Батумский Ботанический сад (сообщает директор его И. Палибин), побывавший за три года поочередно во власти турок, англичан, грузин меньшевиков и большевиков: „при всех переменах власти не только не пострадал, но даже успел значительно увеличить свои научные приобретения“.

* * *

„Несмотря на тяжелые условия политической борьбы, за период *1917—1919 г. научная работа* **на Украине** *не только не прерывалась, но и* положила начало ряду новых жизненных организаций“,—так писал в „Природе“ (№ 4—6, 1919 г.) акад. А. Ферсман, ознакомившийся на месте с этой работой.

Университет Св. Владимира наравне с Украинским и Еврейским Университетом широко развили свои работы; молодой Географический Институт привлек много работников.

Очень крупная организационная роль, выпала на долю молодого Геологического Комитета Украины по исследованию и учету ископаемых богатств страны.

В Киеве пережившем во время гражданской войны смену, кажется, тринадцати правительств всех цветов и национальностей,—научная жизнь почти 50 учреждений города ищет новых форм об'единения. Создается Украинская Академия Наук; ряд ее начинаний осуществляется, и ведется реальная научная работа.

Из других украинских городов следует отметить Екатеринослав, где основан Университет.

* * *

Мало имеется сведений о **Туркестане.**

Вновь создавный Туркестанский Университет в Ташкенте взялся за всестороннее исследование этой щедро наделенной богатствами и красотами страны. Физико-математический факультет изучает флору и фауну горного Туркестана, Сыр-Дарьи и Аральского моря. Технический факультет занят исследованием месторождений полезных ископаемых, изучением вопросов орошения и использования энергии горных рек и водопадов.

Довольно часто происходят заседание Туркестанского Научного О-ва, О-в Медицинского, Биологического, Горного и т. под.

В устьях Сыр-Дарьи учреждается гидробиологическая станция. В настоящее время печатается первый том ученых записок Университета. Научный Совет Туркреспублики, руководящий научно-исследовательской работой в Туркестане, производит в настоящее время, гл. обр., исследование населяющих страну народов, их языка, грамматики, издает учебники для киргизов, узбеков и пр.

* *
*

В провинции, начиная с 1918 г. возникает целый ряд научных и научно-художественных обществ и учреждений, преследующих цели изучения местного края с самых различных точек зрения; нет почти губернии, где бы не возникло такого общества или учреждения, иногда с целым рядом уездных и даже сельских отделений. «Бюро Краеведения» при Академии Наук, организовавшееся после Всероссийского с'езда О-в Краеведения в Москве в декабре 1921 г., считает, что по всей России имеется в настоящее время до 300 местных научных обществ. Сюда не входят У-ты и др. высш. учебн. заведения. Просматривая списки, мы находим Научные общества в Бежецке, Зарайске, Тулуне и Тюмени, в Мологе и Копринской волости. Переяславо Залеское Научное Общество, напр., основ. в 1918 г., напечатало уже первый том своих трудов. Созываются с'езды обществ изучения Рязанского края, Тамбовского края и т. д. В Пензе развиваются Общество Естествознания, Пензенский Естественно-Исторический музей (с 76.992 предметами к 1 янв. 1921 г.), Зоолого-Ботанический Сад, Аквариум и Террариум.

Все эти общества и учреждения сообщают на с'ездах о своей работе о том, что они печатают или собираются печатать. Некоторые общества за невозможностью печатания перешли на рукописный способ распространения своих трудов.

Идя навстречу буйному стремлению к научной жизни провинции правительство открыло ряд Университетов: в Смоленске, Тамбове, Костроме, Ярославле, Нижнем Новгороде, Минске, Самаре, Астрахани;—почти в каждом губернском городе Высшие Педагогические Институты и ряд специальных технических высших учебных заведений. Размещались все эти учреждения в помещениях бывших семинарий, кадетских корпусов; начали понемногу обзаводиться лабораториями, библиотеками и пр.

* *
*

После об'единения России ученые, долго оторванные от центра и ничего часто не знавшие друг о друге и о чужих работах по своей специальности, начинают устраивать **Всероссийские с'езды**. Состоялся Ботанический с'езд в Петрограде, С'езд Геоботаников в Москве и др.

Живут и работают в отвратительных условиях. Геоботаники, напр., были Наркомпросом размещены в грязных и тесных помещениях.

* *
*

Все сообщенные сведения указывают устами беспристрастных и компетентных наблюдателей на могучий „творческий порыв“ русской науки в 1917 и особенно в 1918 годах.

Русские ученые мечтали развернуться во всю ширь и русской натуры и своих знаний и способностей.

Составили проэкты, сметы, штаты, планы и начали их осуществлять. Представленный очерк указывает на широту размаха.

И что же получилось?

В начале 1919 г. Петроград и Москва оказались на голодном, порою на „конском“, довольствии. В провинции, на юге, на севере, западе и востоке разразилась свирепая гражданская война.

Голод в столицах был полезен провинции. Столичные ученые, спасаясь от голода, раз'ежались по всей России и там основывали университеты, производили исследования и пр., создавая там небывалый для провинции под'ем научного стоительства и деятельности.

Но это был только размах...

Голод и холод распространялись на всю Русь, гражданская война в провинции была жестокой для всех там оказавшихся.

И после под'ема начался упадок.

Начался мор среди ученых. Особенно много погибло стариков, слабых физически и не умевших приспособиться к жизни. Молодые шли читать лекции, на рабфаки, в политпросветы, красным морякам и красным армейцам, добывали фунтовые пайки, истощались, но все же кое-как жили. В поисках заработка и для „проявления деятельности" бесчисленых новых учреждений появилось совместительство одного человека в 5—10 местах. Правда, везде платили гроши.

И чем только не приходилось заниматься ученым?

Вот старый почтенный европейски известный ученый ректор университета, проводит время в поисках дров, сам их пилит и колет (если достанет), топит печки, варит пищу, стирает белье, исполняет обязанности асенизатора и т. под. „Между делом" ученые профессорствует, т. е. читают лекции и иногда даже делают доклады.

Посмотрите список ученых умерших в 1918-21 г. г., опубликованный Домом ученых. Вот несколько примеров.

Акад. *Лаппо Данилевский*—умер от истощения, акад. Федоров тоже. *М. А. Вильев* молодой талантливый астроном, имевший уже около 100 работ, исключительные способности, высоко оцененные специалистами, обещали дать в нем ученого первой величины. Он скончался, в ужасной обстановке — больной отец, больная сестра и умалишенная мать. В квартире +2°. Все они голодали.

Это случайные отрывки из длинного скорбного списка.

Начали умирать ученые, начала умирать и наука. В 1919—20 г. г. ученые и наука к тому же почти целиком замерзли.

Правительство встревожилось при виде небывалого вымирания ученых, этого „Мозга страны" по выражению М. Горького,—и дало им пайки.

Вымирание замедлилось, но оно продолжается.

Падает и научная деятельность. В течение трех последних лет почти все научные учреждения и высшие учебные заведения были заморожены. Не было света—не было электричества, было темно, особенно в 1919 г. Не было уже приборов, книг, реактовов, не было животных для экспериментов.

* * *

Старые ученые умирают... Новые не создаются, теряется пресметвенность науки.

За последние пять лет не было серьезных учебных занятий в высших школах. Выпуски окончивших—редкие праздника.

В замороженных аудиториях и лабораториях—голодные студенты и профессора.

Зима 1919 г. В нетопленной аудитории сидят в шубах и пальто студенты и за кафедрой профессор. Вечером, после тяжелого трудового дня и всяких повинностей. Полная темнота. Профессор „читает" лекции по зоологии. Невидимые студенты слушают. Время от времени профессор спрашивает студентов: - как вы, господа, не спите еще? и, удостоверившись, что слушатели бодрствуют, продолжает.

Дома холодно; нечем даже сварить пищу. Студентки с Английского проспекта в воскресенье (начала 1922 г.) идут пешком с мешкам за плечам за 15 верст в Лесной за дровами; тратят на дорогу в оба конца 10 часов и вдвоем приносят 10 небольших полен. Но они за то пьют горячий чай и едят горячий суп.

Геройски, с веселым молодым смехом переносят голод и холод, и все таки учатся... И усердно. Наши студенты всегда были такими. Но сил мало, времени нет, учебников нет, лабораторных занятий почти нет,—и, несмотря на героизм, у студентов очень мало знаний. Они не в состоянии доразвиться до стадии молодого самостоятельного ученого и преподавателя.

Старые уходят, новые не приходят.

Могучий творческий порыв разбит; голод, холод, нищета, удушили его.

* * *

Ни голод, ни холод не смогли однако заглушить научную мысль и жизнь. Русские ученые за годы революции проявили колосальную живучесть и энергию; ими проделана большая работа и многое сделано.

Рушится старый быт, старое государство, старое право и мораль. Все переоценивается. И ученые в тиши своих холодных кабинетов приступили также к пересмотру старых положений, синтетической сводке отдельных накопленных наблюдений, опытов. Отмечается усиление теоретической и критической работы во всех областях знания.

Производятся исследования. Пишутся статьи, целые книги,—но, ввиду прекращения книгопечатания—лежат в рукописях. Лишь в одном Петрограде готовых к напечатанию рукописей накоплено в разных учреждениях свыше 12.000 печатных листов, и число их все время растет. Это все еще не родившиеся души.

Несмотря на чрезвычайные трудности книгопечатание все же оно опять начинается; выходит ряд журнатов и книг, но как мало их по сравнению с довоенным временем. Бюро международной библиографии при Академии Наук выпускало каждый год том в 250—300 стр. петита одних названий статей и книг по естествознанию и математике.

И все же можно с уверенностью утверждать, что, несмотря на все тяжелые условия жизни, научная и организационная работа в России продолжает идти вперед.

„La premiére chose aprés le pain c'est l'education"—так говорил Дантон, и эти слова вычеканены на памятнике ему в Париже.

Будет хлеб, будет материальная возможность—и русская наука сможет развернуться во всю ширь и русской натуры, и своих сил и способностей, развернуться в реальных, а не „мнимых" формах.

Ив. Стр.

Русская эмиграция.

Загробная русская пресса.

В журнале «Современные Записки», издаваемом в Париже группой российских эс-эров, Ст. Иванович, не безизвестный публицист из редакции бывшего «Дня», довольно картинно описывает (VIII, 1921, стр. 178), можно сказать, первый октябрьский разговор российской печати с «победившими врагами». Разговор происходил по телефону. На одном конце телефона висел «наш заведующий хроникой», на другом конце некто неизвестный и незримый, должно быть, в солдатской шинели и с винтовкой в руках.

«На телефоне висел наш заведующий хроникой и вызывал Зимний. Приблизительно каждые 15 минут удавалось соединиться. Мы знали, как замыкается круг. Раза два приезжали репортеры. Все было ясно: через час или два Временное Правительство станет добычей большевиков.

— Тише, вы слышите!..

Сквозь гул орудий, обстреливавших Зимний дворец, что-то глухо и мощно ударило. Мы все устремились к телефону.

— Алло! Кто говорит? Барышня, что же вы мешаете? Алло! Зимний! Кто у телефона?

Через несколько секунд невыносимого молчания заведующий швырнул трубку на рычаг.

— Мерзавец!—крикнул он.—Кончено, все кончено!

— Кто, что сказал?—послышались вопросы.

— Убирайтесь ко всем чертям!—вот, что он сказал...

А через некоторое время он более точно, но, к сожалению, нецензурно передал этот ответ:

— Убирайтесь все к...»

Обидно, что и говорить... Печатью несмываемой, незабываемой обиды дышет вся зарубежная русская пресса. Она последовала этому повелительному и бесцеремонному окрику и убралась... Хотя и не совсем туда, куда ее отправляли. Она убралась за границу, за предел досягаемости, и там попыталась воскреснуть вместе с Россией № 2, Россией запредельной.

Что же представляет из себя эта зарубежная русская пресса № 2?

Она развивается странно и пышно. Газеты и журналы, издательства, серии классиков, русских и иностранных, переводы и даже учебники. Одним словом, целый замкнутый круг. И многое из того, что там печатается, пригодилось бы и нам, многогрешным.

Больше всего бросаются в глаза, конечно, газеты. Сколько их... В каждой большой столице, и в каждой маленькой столичке—российская газета (и даже не одна). Кто их покупает и кто их читает?.. Впрочем, за-границей говорят, что эс-эры покупают кадетские газеты, а кадеты—эс-эрские, чтоб быть всегда в курсе взаимной потасовки.

Фирмы все те же, партии, партии, партии. Неудачные охотники за властью, побежденные, изверженные воины. Все они как будто поголовно попали за границу. А в России остались одни победители, властвующая партия, да еще беспартийные.—беспартийная страна. Есть беспартийные левые, и беспартийные правые, даже и крайние правые. Скоро, быть может, возникнут целые беспартийные партии, но будут это новые партии, вероятно, и новые люди.

И все-таки скучно читать эти эмигрантские газеты, и правого и левого толка. Загробная мертвая пресса. Только во взаимной перебранке порою мелькнет живописное словечко. Вдруг П. Б. Струве расшифрует грозные буквы *с—р*, просто, как *старый режим*. И эс-эры обозлятся и в отместку обзовут всю его Софийскую свиту «птенцами гнезда Петрова».

Сведений нет никаких ни о чем. Меньше всего об Европе. Зарубежные кадеты и эс-эры, как видно, рассудили, что о делах европейских каждый желающий может прочесть в европейских газетах и предпочли сохранить свои столбцы для внутреннего употребления.

Тем более видное место занимают сообщения и письма и слухи из России № 1, из Москвы и Петрограда.

Господи Боже, чего тут только нет. Каждый Божий день восстания, расстрелы, пожары городов, бегство властей предержащих. Прочтешь и руками разведешь... Хороша и действительность... Но уж это... Слуга покорный. И только отмахнешься: отстаньте, мол, тошно и без вас...

Помню когда то в Америке лет двадцать назад в уличной прессе мне попадались вот точно такие же телеграммы из России: «В городе Версинак, Псакской провинции, запрещено рожать детей женского пола». Или еще «Граф Поштучкин, редактор Петербургского Листка, стал во главе революционной организации».

С тех пор, разумеется, много воды утекло. И много расплодилось Поштучкиных и графов и не графов, но за то организаторов и революционеров. Времена меняются.

Скажу прямо, в осведомительном отношении зарубежные газеты далеко уступают даже здешним газетам отечественного производства.

Впрочем, я должен рассеять одно читательское недоразумение.

Читательский голос, как известно, обвиняет современную российскую газету, выражаясь вульгарно, — в вранье, гомерическом, сгущенном и сугубом. Но это совершенная напраслина. С тех пор, как я получил возможность читать зарубежные газеты, не русские, конечно, а газеты настоящие, французские, английские, американские, могу удостоверить, что, по меньшей мере, 80% сообщаемых сведений имеют источником не вымысел, а правду. А раньше для хорошей газеты даже и 60% истины считалось рекордом и верхом добросовестности. И то читатели часто обижались: «Совсем неинтересно!»

Но беда в том, что современная российская пресса большую половину этих невымышленных сведений сообщает в таком странном и запутанном виде, что и истина кажется ложью. Особенно прежде в восемнадцатом, девятнадцатом году сколько попадалось курьезов: Приведу несколько примеров по памяти. Впрочем не трудно найти и нумера и точные цитаты.

1) Телеграмма о победах Италии над Австрией.

«Через Эссек сообщают из Истрии: Итальянцы заняли город Кал(?)... Я долго искал на карте австрийского штаба этот загадочный город с таким неприятным названием и, в конце концов, сообразил. *Капо д'Истрия*. «*Истрия*» отделилась от города, а в имени города буква *п* прочитана, как *л*».

2) Телеграмма из Польши: Известный сионист Падеревский намечен демократией народа на должность президента.

Вместо *сионист*, разумеется, читай *пианист*. Не скоро еще сионист будет президентом Речи Посполитой... *Демократия народа* это народно-демократическая партия, «эн-деки».

Теперь, разумеется, стало получше, пограмотнее. Но всетаки вот только сегодня я прочитал сенсационнейшее сообщение об очередной революции в южной Африке. Но как понимать его? Кто они, эти восставшие,—рудокопы или иные рабочие,—англичане или африкандеры (голландского происхождения), наконец, негры или белые? В Южной Африке возможно и то и другое и третье. А, ведь, согласитесь, от одного до другого и третьего дистанция огромного размера.

Ничего не известно. Просто «восставшие» и только. Как раньше в военных реляциях писали: *неприятель*... Чтоб это расшифровать, надо ждать 10 дней, пока не получится. «*Times*» или «*Manchester Guardian*».

Интереснее газет зарубежные журналы. Я получил их недавно три пачки, «Русскуя Мысль» из Софии, «Современные Записки» и «Грядущую Россию», из Парижа. «Современные Записки» эс-эрского центра, «Грядущая Россия» «чайковцев», эс-эрского правого фланга, под управлением Чайковского, «Русская Мысль»—как сказано, особое «Петрово гнездо».

Зарябило в глазах от знакомых имен: Аверченко, Теффи, Толстой, Мережковский, Дионео. Академик Михаил Ростовцев из Винконсина в Америке, два Гримма, два Ландау, три Струве, четыре Львова, а прочим и сметы нет. Даже каждая рецензия подписана то *Аргунов*, то *Шульгин*, то *Аничков*. И, напротив, имен совершенно незнакомых, до странности мало: еще один *Львов*, но на этот раз с именем *Лоллий*, *П. Бицилли*...

Через минуту уже видишь: это, как белая армия, генеральские команды, офицерские отряды. Головка без тела, увы, неизлечимо худосочная.

Прежде всего хватаюсь, конечно, за сладкое: беллетристика, художественная критика. Однако, какое изобилие рассказов и статей, совершенно никчемных и ненужных, особенно в тяжелой, трагической зарубежной обстановке... «Чудак» Барятинского, рассказ о мазохической любви, до-революционный, довоенный, едва ли даже не дореформенный. Действительно, *чудак*,—разумеется автор, и, пожалуй, редактор...

«За мертвыми душами». Длинные очерки Минцлова в нескольких книгах С. З. о том, как он собирал по старым помещичьим гнездам, старые книги и фарфор. Исчезли помещичьи гнезда, и фарфор перебит. Только и остались эти Минцловские мертвые души.

«Материалы по Фету».—Исправления Тургеневым фетовских стихотворений 1850 года.

Тема благодарная для магистерской диссертации, но к чему она в журнале «Русская Мысль», что с таким трудом и издержками издается в Софии?

Довольно неприличный отрывок из романа Тырковой «Бес» («Р. М.») якобы из советской жизни.

И совсем неприличный дневник Зинаиды Гиппиус, об ее безбашмачной и безюбочной жизни в Совдепии, сгустивший воедино такие пахучие сплетни, что даже редакция «Русской Мысли» сочла необходимым оговориться и отгородиться от автора.

Изо всего этого материала выпирают по своей исключительной талантливости мемуары Шульгина о гражданской войне 1920 года («Р. М.» 1921). Часть этих мемуаров, в виду их чрезвычайной поучительности была издана в России отдельной книжкой государственным издательством. Жалею, что не все. Вот, наконец, человек искренний и духовно бесстрашный, редкая птица на всем фронте нашей граждан-

ской войны. Физически тоже бесстрашный. Пошел в передовой отряд и сыновей с собой повел.

Господи, что они претерпели... Вспоминаются записки жирондистов, уцелевших и бежавших,—о том, например, как волки на ландах с'ели Петиона. Жестокое дело гражданская война.

В мемуарах Шульгина есть тоже и волки четвероногие, а также и двуногие.

Еще больше того вшей. «Смейтесь, смейтесь,—вздыхает мимоходом Шульгин.—Надо запомнить раз навсегда—война и революция—процессы вшивые.

Мне нравится, что Щульгин монархист и притом откровенный. Вера в монархизм, это голубой цветок его сердца. Было бы вовсе нелепо, если бы такой искренний, цельный человек был половинчатым эс-де меньшевиком, извилистым кадетом, зигзаго-угловатым эс-эром.

Между эс-эров единственным сильным человеком был Савинков, да и тот... Но не надо подражать Собакевичу...

У Шульгина попадаются ценные признания, значительные мысли. Вот отрывок из замечательного эпизода: «У Катовского». Дивизия Катовского красная. И Шульгин с сыновьями попал к ней в плен.

«Мы шли вчетвером по дороге, залитой солнцем. Даже нельзя себе было представить, что было так невыносимо холодно ночью... Эта дорога в Тирасполь напоминает мне... Да где это было? Да, это было в Галиции, когда мы брали в плен австрийцев. Они вот так шли по дорогам, от одного этапного пункта к другому. И никто их не трогал, шли себе. Так и мы идем. И много таких же стаек, как наша...»

Встреча с патрулем. Красный офицер—не офицер, весь в кожаном.

«Как мы все довольны,—заявляет офицер,—что товарищ Катовский прекратил это безобразие».

«Какое безобразие? Расстрелы?

«Да, самочинные расстрелы. Мы все этому рады. В бою—дело другое»...

«Катовский хороший человек»?

«Очень хороший. И он строго на строго приказал... И грабить не разрешает... Меняться, это можно. У меня хорошее пальто, приличное. Давайте меняться на вашу бекешу!»..

Надо сказать, между прочим, что и расстрел красных белыми Шульгин описывает с таким же омерзением: «расстрелять, расстрелять! Сумасшедшие люди»!..

Разговор перешел на Петлюру. Красный офицер ругает Петлюру.

«Отчего вы так против Петлюры»?

«Да ведь он самостийник».

«А вы»?

«Мы за Единую Неделимую»!

«Я должен сказать,—продолжает Шульгин,—что у меня, выражаясь деликатно, глаза полезли на лоб. Три дня тому назад я с двумя сыновьями, с правой и левой руки, с друзьями и родственниками, скифски эпически дрался за Единую Неделимую, именно против этой дивизии Катовского. И вот, оказывается, произошло легкое недоразумение: они тоже за Единую Неделимую»...

Шульгин выходит из недоумения, заявляя, что все это белые идеи, которые перешли к красным. Однако, каким образом бывшие белые, наемники Антанты, невольные и вольные союзники поляков и румын и того же Петлюры, могут притязать на исключительное обладание идеей неделимости России? Хороша неделимость. Но я буду справедливее Шульгина и скажу, что идея неделимости России,—ни

красная, ни белая идея, это—русская идея вообще, живая и упрямая, и она пробивается в каждом искреннем сердце, на какой стороне бы оно ни было.

Однако теперь, в 1922 году, до очевидности ясно.—Неделимая Россия,—это—красная Россия. Собирание растерянных членов России возможно единственно из красного центра. Иначе—вмешательство Антанты, великой или малой, дальнейшее расчленение, хаос и конечная гибель.

Tertium non datur... Tertium это ни черные, ни белые, это розовые, полосатые, заядлые говорильщики, умеренные социалисты,—*quantité négligeable.*

Поразительно ярко и выпукло выходит у Шульгина этот синтез настроений красных и будто бы бывших белых.

«Знамя Единой России фактически подняли большевики. Интернационал оказался орудием... расширения территории... для власти, сидящей в Москве... до границ... до границ, где начинается действительное сопротивление других государственных организмов...

«Резюме... «против воли твоей, против воли моей», как в старом романсе поется,

1) большевики восстанавливают военное могущество России

2) восстанавливают границы российской державы до ее естественных пределов»...

Ценная характеристика, особенно в устах противника. И даже переходы многоточий свидетельствуют наглядно, с каким трудом эти новые мысли входят в упрямую белую голову. Неужели после всех этих новых мыслей и мучительных переживаний возможна еще авантюра, «выступления»? Нет, я этому не верю. Шульгин не пойдет. И другие, такие же, как он, лучшие люди, действительные скрепы всяческих организаций, живые гайки и винты, тоже не пойдут. И кроме того, я полагаю, что даже в пустыне европейского изгнания они все же успели ввинтиться в жизнь и зацепиться за нее своими режущими гранями...

Чрезвычайно любопытно, что именно Струве, наиболее теоретичный, головной боец контр-революции,—притом настолько типичный боец тыла, насколько Шульгин является бойцом настоящего фронта,—конечно, не согласен с Шульгиным и возражает назойливо и четко:

«Если бы я поверил, что большевизм, хотя бы самым уродливым образом осуществляет какие то национальные призвания, как то поднимает и блюдет национальное лицо России, я, вот таков, как я есть, индивидуалист, человек религиозный и любящий подлинный образ России, я бы ни на минуту не призывал к гражданской войне. («Р. М.» V—VII, 1921, стр. 208).

Люди типа Струве никогда не поверят очевидности и всегда будут призывать к войне, к междуусобию, но итти то придется не им, а другим, действенным и эмоциональным людям типа Шульгина.

А эти, как видно, уже колеблются. Они готовы поверить в чудо,—как же им не поверить в реальность, в очевидность?

Еще одна выдержка из мемуаров Шульгина о том, как Европа обходится с беглыми русскими, с теми, кто доверился Антанте.

«Державы победительницы!.. Да ведь мирный договор потому и называется мирным, что война кончилась... И нет уже войны, нет побед. Мирным договором восстанавливаются «дипломатические отношения» со всем изысканным ритуалом международной вежливости. И вдруг «державы победительницы»... Дичь, средневековье... И наконец кого же они победили?... Ведь, Россия была с ними, и если она не дошла до барьера, то только потому, что была тяжело ранена в бою. Почему же ее зачислили в разряд побежденных?...

«Потому... потому что французы и другие не доросли еще до человеческих отношений. В международных делах царит средневековье, век звериный.

«И вот на фоне общей обиды в Константинополе разыгрывается русско-турецкая любовь. Русские и турки... Униженные и оскорбленные... И если турки еще более унижены, то ведь мы еще более оскорблены.

«Да, мы оскорблены. Эти константинопольские русские, дети безконечных эвакуаций, живей всего чувствуют оскорбление. Наглость французских надсмотрщиков, французских городовых... Тон, манеры, дерзкое хватанье за рукав или, что еще гаже, похлопывание по плечу,— все это заставляет стиснуть зубы.

И вот два «больных человека», Турция и Россия, тянутся друг к другу.

«Русским уступают очереди, с русских меньше берут в магазинах, выказывают всяческие знаки внимания и сочувствия. И над всем этим, как песнь торжествующей любви, вместе с минаретами вьется к небу глас народа,—глас Божий: «Хорош урус, хорош»!

Эти две странички Шульгина прекрасно об'ясняют, между прочим, все наши новые союзы на востоке и на западе, намеченные и намечаемые советской дипломатией с такой железной последовательностью. И от этих поразительных очерков пленного и белого воина «белой концентрации»—прямой переход к самым реальным и сильным настроениям этих зарубежных журналов. Ибо есть и у них не одна только шуйца, но также и десница. Это—восприятие Европы, действительной Европы, не только воображаемой.

Российский обыватель, угодивший за границу, столкнулся с Европой обезумевшей, осатаневшей от крови и жадности,—можно сказать, лоб в лоб, и в отличие от обывателя домашнего, русского, этот гражданин России № 2 не станет отнюдь умиляться над белыми булками, благо, едят их другие, а он только облизывается.

И это оскорбление Европой, эта ненависть и даже презрение, полностью отразилось в зарубежных журналах. Самые смирные, антантопослушные, благонравные дети, как Г. Е. Львов, эта божья коровка Российской революции, отразили это настроение.—«Пусть же человечество вглядится в Россию и не оставит для себя втуне ее испытания. Пусть впряжется вместе с русским народом в плуг и поищет в России семена истины, развеянные мировой бурей. И пусть с сокрушением в сердце признает, что идея, выродившаяся в большевизм, выросла из неправды его цивилизации, и в этой идее были семена истины». («Грядущая Россия», I. стр. 13).

В восприятии звериного лица доподлинной Европы иные доходят до пафоса, другие до цинизма. Вот Ландау (Алданов) в «Этюдах» («С. З.» V. 1921, стр. 143) рассказывает, как Жорж Клемансо «подморозил» Францию, почище проэктов российского Леонтьева; без казней, без каторги, без плетей.—Ни одна сколько нибудь глубокая и сериозная реформа не имеет никаких шансов в настоящее время пройти во Франции,—подчеркивает автор.

Он описывает цинизм Клемансо, его безграничное презрение к людям,—и между прочим и к французской демократии и более всего к своим собратьям во Антанте, невежественному английскому дельцу, меняющему взгляды два раза в месяц (Ллойд Джорджу) и к замученному американскому профессору с идеологией пастора, имеющего сбережения в банке (Вильсону)...

И рядом Людендорф, неутомимый и железный, чей идеал где то сзади, в Тевтобургском лесу, под знаменами Арминия, где то там на обратном пути к подлинному каменному веку.

— Чего не хватало немецким политикам в пору великой войны,— спрашивает Людендорф в своих «мемуарах»?—Им не хватало воинственности.—Кто бы подумал,—«все они были в душе пасифисты. Они слишком много заботились о счастьи человечества и слишком мало о национальном могуществе». Алданов цитируе все эти чугунные речи, морщится и все таки смакует. Новая ставка на сильных, на сверхвождей человеческого стада, даже на бывших неудачников.

«Кто знает, говорит Алданов, быть может, прав французский издатель мемуаров Людендорфа, который видит в чугунном генерале будущего вождя немецко-славянского мира в борьбе с миром Версальских победителей. Это, разумеется, было бы глупо. Но в «скучной сказке, рассказанной идиотом», как назвал историю Шекспир, глупостью никого не удивишь»...

Ненависть к человеческому быдлу, вообще к истории, ко всему мирозданию заостряет проницательность автора. Вместе с Людендорфом он считает Брестский жест Троцкого гениальным выходом и вместе с ним утверждает, что именно большевистская пропаганда сделала невозможной германскую победу и вообще заразила Германию русской бациллой военной усталости и буйства.

Людендорфу, конечно, виднее...

Ландау второй (Григорий)—«Р. М.» X—XII, 1921, стр. 181,—из таких же настроений умеет извлекать даже некоторые общие выводы. Он, например, написал, что максимализм пасифистский,—война, так война до конца, чтоб уж раз навсегда целиком достигнуть поставленной цели, не расточать попусту жертвенной крови,—и максимализм национальный, в самоопределении наций—являются предшественниками и братьями максимализма социального. Вильсон—идейный предшественник Ленина, де Валеро и Ганди родные братья московского вождя. Не даром их так и называют большевиками. И этот Ландау второй тоже готов поставить свою ставку, на ловких и беззастенчивых политиков, и предпочесть их недоумках идеализма, которые были покорными марионетками в их проворных руках».

Но рядом с этим холодным и голым ницшеанством на изнанку, есть и другие настроения, способные воспринимать не только случайные вершины мирового напряжения силы, но также и ее коллективный под'ем. Они попадаются чаще среди беспартийных и диких, даже среди вчерашних буржуев, а нынешних изгоев, и наоборот реже среди розовых, партийных, умеренных социалистов. Этим что! Они и к подполью привыкли и чувствуют себя в эмиграции, как рыба в воде. У них к тому же есть свои собственные старинные книги и старые начетчики. Их хоть и хлебом не корми, а дай им поспорить о вере, по старому, по бывалому. Не в эс-эрских «Современных Записках», а в дикой «Русской Мысли» можно встретить такие тирады:

«Мировое лицо русской революции восторжествовало. Туманны и загадочны его черты. Но мраком и жутью веет от них. Тяжелый напряженный взор вперяется в самые глубины человеческой души, вызывая на поверхность всю накипь застарелых страданий и неудовлетворенных желаний, будя злобное нетерпение веками накопленных обид, претворяя в предмет реального хотения и земного осуществления неясные мечты, уходящие в безграничные дали будущего, пред которыми остановились в трепете не только человеческая воля, но и сама человеческая мысль. Великие соблазны и искушения явлены миру, грозной опасностью веет для цивилизации от развернутых на полях России красных знамен». (К. Зайцев. «Буржуазная Европа и Советская Россия». «Р. М.» май—июль 1921, стр. 125).

Напыщенно и театрально, но по своему искренно. Это вера евангельских бесов. Веруют и заранее трепещут.

От эсэров не ждите такого мистицизма. Эс-эры реалисты и вместо соблазнов от красного призыва им бросаются в глаза лишь соблазны от витрин московских продовольственных лавок.

«Так продолжаться не может,—предсказывают они. Витрины не просуществуют: битье стекол непременно произойдет. (М. Вишняк «На родине» «Современ. Записки», 1921, VIII, стр. 361). Предсказано осенью, а теперь уже весна, и какая,—голодная. А витрины все еще целы и стекла не разбиты. И дались им эти жалкие витрины, убогая роскошь наряда российских столиц. Или в Париже мало витрин в стократ богаче и блестящее, и мало на улицах камней и голодных людей!..

Когда прочитаешь все эти странные и противоречивые статьи зарубежных журналов о делах европейских и русских, сам собою является вывод.

Так называемое признание советского правительства внедряется в души и умы не только иностранцев, но также и российских эмигрантов.

Повсюду, средь самой ядовитой брани, пестрят такие признания: «Вожди большевизма проявили недюжинную, политическую проницательность и огромную организационную энергию. Овладев хозяйственным и военно-техническим аппаратами, они покорили страну». (Там же, стр. 124).

Мало того, идеологи и практики России № 2 со скрежетом зубовным, но все-таки учитывают вероятный результат «замирения» России № 1.

«Конечно, Россия не станет на ноги сама. Ей понадобится мощная финансовая помощь Европы и Америки. Но помощь России будет самопомощью Европы, останавливающей свои фабрики и заводы, потому что некуда сбыть полные товарами склады». («Европа после мира» Д. О. Линского. «Р. М.» X—XII, 1921, стр. 245).

Бывшие российские промышленники, которых пока еще никто не приглашал обратно, уже обсуждают на с'ездах вопрос: «идти или не идти», и со вздохом решают пока: «нет, лучше не идти, страшно, да и гарантий нет». Отдельные голоса возражают и теперь: «Правительство кадетов и социалистов бросило страну в об'ятия анархии. Большевики спасли многое из того, что могла спасти при данных условиях твердая и беспощадная автократическая власть. Пора приступить к созданию новых ценностей». Отрывок из частной записки, циркулировавшей на с'езде представителей торговли и промышленности в Париже, 21 мая 1921 года).

Есть от чего придти «в необычайное волнение»... Самые именитые из западных негоциантов вступили в переговоры с советским правительством. Английские, норвежские, германские и даже французские фирмы: Шнейдер, Крезо, Лионский Кредит, Messagerie Maritime. Сам знаменитый Нуланс оказался во главе «Торгово-промышленного и Финансового Общества для России и соседних стран». Мало того, он даже фигурировал на французском суде в качестве ответчика о возмещении 100 бочек минерального масла, принадлежавших первоначально фирме «Андре-сын», и перепроданных советскою властью («Руль» 12 и 19 октября 1921 г. Письмо из Парижа Жана Коле).

Повторяю, российские промышленники пока еще отворачивают в сторону стыдливое лицо. Но на всякий случай они обсуждают подробно на тех же самых с'ездах вопрос о «социальных последствиях русской революции».

Тезисы, принятые ими, весьма вразумительны и просты. «Помещичьи земли должны остаться у крестьян, фабрики и заводы следует вернуть их владельцам. Этого требует государственное благо и историческая необходимость».Эльяшевич, («Социальные последствия русской революции», речь на с'езде Т. и П. «Р. М.» VII—X, 1921, стр. 209).

Бедные русские помещики. За них, кажется, никто не хочет заступиться. Им поневоле приходится идти в монархисты, и то не в голубые монархисты вроде Шульгина, а в черные, как сажа, вроде Маркова II-го, Замысловского и прочих.

Эмигрантская масса России №2, помимо партийных верхов и особенно розовых кадров, в общем составе своем, пришла в возбуждение. Взоры ее устремлены на Россию. Но она думает не о собственном выступлении и не об иностранной интервенции. Она следит с сосредоточенным вниманием за маневренными действиями России. Кто кого обойдет и с какого фланга, Антанта Россию или, пожалуй, Россия дебелую Антанту?.. И сговорятся ли они и будет ли из этого хоть «маленькая польза», как сказано у Чехова.

И многие думают с тайной надеждой: «Ах, если бы что нибудь вышло»! В Европе тоже не сладко сидеть, в Европе обидно и голодно и скучно. Поворачивая наоборот пословицу, можно сказать: «Дома скверно, а в гостях и еще хуже».

Среди эмигрантов в Европе, особенно среди молодых, не весьма заскорузлых, не вполне закостенелых в старых идеях и чувствах дореволюционного времени, наростает стихийная тяга—обратно в Россию. Русская граница, Эстония, Латвия, тянет, как магнит. Многие были бы готовы на всякие уступки, на всякие лишения, даже на опасность.

Эмиграция неудержимо поляризуется.

Часть отходит все дальше и дальше вправо к крайним необузданным монархистам типа людей, недавно застреливших Набокова. Но эти заграничные убийцы, вымещающие злобу на соседях по изгнанию и сами уже—не живые, а мертвые люди. Это—мертвецы, убивающие мертвецов, какие то вампиры, вурдалаки, упыри, на минуту воскресающие в загробных пространствах европейского изгнания.

Для России они, Слава Богу, мертвы и иертвы безвозвратно. Ибо если они убивают кадетских монархистов из мести за монарха, то что сделали бы они с настоящей Россией. С той, которая осталась на месте, а их, монархистов, изгнала и даже забыла. Ведь старый монархизм, полиция, дворянство, понемногу обращаются в сон. Довлеет дневи злоба его. В нашей жизни так много совершенно реального зла, настоящей действительной скверности, что думать о старых безобразиях просто досуга не хватает. Но если бы эти забытые призраки каким нибудь чудом вернулись, то кто уцелел бы пред их карающей десницей?..

Шабельский с Табурицким отходят направо; более свежая часть молодой эмиграции отходит налево.

Сила действия равна силе противодействия. На правой стороне выросли монархисты-террористы, на левой—«смено-веховцы». В этом внутреннее оправдание того движения, которое нашло себе идеологию в «смене вех».

Движение это только теперь начинается и, можно полагать, будет еще эволюционировать и изменяться.

Оно представляет тот мост, который соединяет загробную Россию № 2 с текущей, действительной Россией № 1.

Тан.

Сумерки эмиграции.

Видно даром иностранцами не делаются. Есть одна казнь, преследующая оторванных от родной земли — скука и способность к бездельничеству, даже при всем желании дела.

Ф. Достоевский.

I. Эмигрантские группировки.

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о современной русской эмиграции. Рассеянная по всему белу-свету, вынужденная жить на подачки и обращаться к помощи ко всем, кого она в душе ненавидит, она на чужбине подрывает последние остатки уважения к русскому имени взаимной грызней, мелкой борьбой партий, из которых ни одна не имеет опоры в народных массах, вечными разоблачениями и инсинуациями. Один из видных представителей нынешней русской эмиграции В. В. Шульгин сам рассказал недавно на столбцах «Свободной Речи», издаваемой в Софии К. Н. Соколовым и Э. Д. Гриммом, с похвальной откровенностью, какими мелкими дрязгами переполнена жизнь русской эмиграции за-границей и как презирают ее везде, где она нашла приют.

Кажется, ни в одной стране мира нет такого количества партий, какое насчитывает в изгнании современная русская эмиграция. На самом крайнем правом крыле ее — монархисты. Но и они разделяются на бесчисленное множество групп и подгрупп. Одни стремятся во что бы то ни стало к воцарению в России династии Романовых и заняты поисками монарха, так как «монархисты без монарха», как заявил недавно один из видных представителей «легитимистического крыла русского монархизма», «это все равно, что человек без головы». Стараясь во что бы то ни стало найти претедента на русский престол, «высший монархический совет», обретающийся в Берлине, мечется в последние месяцы по шумным европейским столицам и тихим курортам в поисках какого-нибудь Романова, который согласился бы выставить свою кандидатуру на всероссийский престол. Посылали торжественную депутацию к вдовствующей императрице Марии Федоровне в Копенгаген, умоляя созвать семейный совет для избрания официального кандидата на трон. Вдовствующая императрица, однако, отказалась. Бросились к великому князю Николаю Николаевичу, бывшему главнокомандующему армией. Били ему челом от имени всея России. Но и он отказался, заявив, что может откликнуться только на действительный голос всей России и что голос берлинской делегации ему кажется недостаточно авторитетным. Где то разыскали великого князя Дмитрия Павловича, вели переговоры с ним, но и эти переговоры почему то прервались.

«Тогда, — рассказывает берлинский кадетский «Голос России» (ныне перешедший к с.-р.), — окончательно остановились на великом князе Кирилле Владимировиче, обладающем некоторыми правами на престол и весьма значи-

тельными средствами—обстоятельство весьма способствующее окружению претендента искренними и преданными друзьями. Но и Кирилл Владимирович не оказался на высоте подвига, проявив необычайно прозаическую трезвость суждения.

Свой отказ дать деньги он сопроводил афоризмом: «Все это чепуха—выманят деньги, и на этом все кончится». Так и не нашли претендента на престол, и Маркову II, возглавляющему русский легитимизм, пришлось на одном из последних банкетов монархистов провозгласить тост за русского царя «имя же его ты, Господи, веси».

Более «левое крыло» монархистов, среди которого опять таки существует несколько течений, готовы помириться на царе и не из дома Романовых, благо, отыскать царя из дома Романовых оказалось не так легко. Одни из представителей этой группы склонны согласиться даже на «умеренный конституционализм» и даже вычеркнуть из своей программы пункт о еврейских погромах, за что орган ее—«Грядущая Россия», издаваемый в Берлине бывшим членом Гос. Думы А. М. Масленниковым и одним из редакторов покойного „Киевлянина" Е. А. Ефимовским, уже заслужил обвинение в том, что он издается на «жидовские деньги», и ему пришлось клятвенно уверять, что еврейских денег он в глаза не видал... Другие представители этого течения никаких конституций знать не желают и ищут нового варяга, чтобы вручить ему корону *самодержавного* царя. В ожидании нового монарха те и другие устраивают торжественные встречи Врангелю, на которого они возлагают сейчас все свои надежды,—и не только они, но и представители некоторых более левых групп. Послушайте, как описывают, напр., врангельские органы приезд ген. Врангеля в Белград.

«1 марта,—пишет, захлебываясь от восторга, воскресшее в Белграде под редакцией М. А. Суворина «Новое Время» и повторяет вслед за ним бурцевское „Общее Дело",—был истинным праздником для Белграда. С утра начались хлопоты по освобождению от занятий в разных учреждениях и к часу дня на вокзал потянулись толпы народа. Российский Посланник с чинами миссии, Члены Русского Совета Национального Центра, прибывший из Карловцев Штаб Главнокомандующего во главе со своим начальником штаба ген. П. Н. Шатиловым, военный агент в сопровождении многочисленных генералов и офицеров, участники крымской операции, представители беженских организаций, всех без различия направлений политических и общественных организаций, русские соколы в качестве почетного караула, масса беженцев со множеством дам, все явились на вокзал, все слились в общем сознании единства, вызываемого чувствами уважения и любви к Вождю Русской Армии. В 5 ч. 30 м. к дебаркадеру подходит поезд. Посланник В. Н. Штрандман и ген. Шатилов входят в вагон. Наконец, показывается статная, всем знакомая фигура генерала П. Н. Врангеля. Ему подносят три великолепных букета живых роз, он выслушивает краткие приветствия и, сопровождаемый громким „ура", проходит через толпу и в автомобиле отправляется в Русское посольство, где опять его шумно встречает другая толпа».

Не смейтесь над этим торжественным стилем, авторы которого, кажется, забывают в своем увлечении, что весь этот „истинный праздник" происходил в столице чужого государства, в далеком Белграде, а не в „белокаменной Москве"!.. Под этим деланным пафосом чувствуется глубокая трагедия. Так писать могут только люди, настолько оторванные от России, что перестали чувствовать почву под ногами, живут иллюзиями и не способны смотреть истине прямо в глаза....

По соседству с махровыми монархистами расположились кадеты. Наиболее правая группа их, издающая в Софии газету «Свободная Речь», не далеко ушла от монархистов, и символом этого единения является трогательное сотрудничество в одном органе проф. К. Н. Соколова и Э. Д. Гримма, с одной стороны, и В. В. Шульгина, с другой, того самого В. В. Шульгина, который хорошо известен своими погромными статьями и который одновременно со „Свободной Речью" продолжает и теперь писать статьи

в органе монархистов „Грядущей России“, где он еще очень недавно выступил с огромной статьей против апологии... декабристов. «Одно из двух,— писал В. В. Шульгин, полемизируя с Д. С. Мережковским по поводу его книги „14 декабря“.—Если Рылеев от Бога, то и Ленин от Бога, ибо он его правнук. Если Троцкий от Дьявола, то и Пестель от Дьявола, ибо он его прадед. Последнее вернее».

Левее правой группы кадетов находится группа, органом которой является берлинский „Руль“. Эта группа не дошла еще до В. В. Шульгина, но и она ведет ожесточенную борьбу с теми, кто восстает против „врангелевщины“ и в частности энергично борется с П. Н. Милюковым за недостаточное уважение, питаемое им к тем самым „врангелевским молодцам“, жертвой которых стал один из редакторов „Руля“ В. Д. Набоков...

На левом фланге кадетской партии находится группа П. Н. Милюкова. Она поняла, что русская революция - закономерный исторический процесс и что все проклятия по ее адресу бессильны уничтожить неизбежные последствия ее. Группа эта, издающая в Париже газету «Последние Новости», пытается примирить признание революции со своими старыми теоретическими воззрениями. Отрицая большевизм и коммунизм, П. Н. Милюков понимает, что отнять землю у крестьян—утопия. Поэтому „демократическая группа“, как называют себя единомышленники П. Н. Милюкова, стоит за признание перехода всей земли в пользу крестьян совершившимся фактом и ищет опоры для себя в крестьянстве и „городской демократии“. Группа П. Н. Милюкова пользуется, однако, чрезвычайно ничтожным влиянием в рядах самих кадетов. Против П. Н. Милюкова ополчились все его недавние товарищи по партии, во главе с И. И. Петрункевичем, Ф. И. Родичевым, В. Д. Набоковым, И. В. Гессеном и др. Открытые же врангелевцы об'явили в лице „Нового Времени“ П. Н. Милюкова „маститым изменником родины“ и организовали на него, как мы знаем, покушение в Берлине, убив вместо него В. Д. Набокова.

Чувствуя свою изолированность, П. Н. Милюков пытался образовать за-границей блок из левых кадетов и правых с.-р. Результатом этого блока явилось существующее в Париже исполнительное бюро членов Учредительного Собрания, в состав которого входят П. Н. Милюков, Н. Д. Авксентьев, О. С. Минор и одно время входил А. Ф. Керенский, ныне из него, повидимому, вышедший. Но и это бюро не пользуется никаким влиянием среди русской эмиграции, как не пользуется, впрочем, большим влиянием и организованное В. Л. Бурцевым „Национальное об'единение“, в состав которого входят более правые элементы—от октябристов до правых кадетов и примыкающих к ним беспартийных.

Очутившиеся за-границей с.-р. также раскололись. А. Ф. Керенский и Н. Д. Авксентьев ведут ожесточенную борьбу с В. М. Черновым, В. М. Чернов расходится по многим вопросам с В. М. Зензиновым и т. д., и т. д. В последнее время с.-р. арендовали в Берлине газету „Голос России“, которая выходит теперь под редакцией В. М. Чернова, В. М. Зензинова, Н. С. Русанова и др. Органом более правой группы с.-р. является журнал „Северные Записки“, в котором печатаются статьи А. Ф. Керенского, Н. Д. Авксентьева и И. И. Бунакова наряду со статьями некоторых кадетов.

Заграничные меньшевики имеют свой штаб в Берлине, где они выпускают еженедельник „Социалистический Вестник“, выходящий под редакцией Л. Мартова, Р. Абрамовича и Ф. Дана.

Между всеми перечисленными выше группами и партиями русской эмиграции нет почти ни в чем единомыслия. Больше всего расходятся они, кажется, в вопросах международной политики. Одни из них попрежнему мечтают еще об интервенции, другие—против интервенции, но и те и другие постоянно убеждают иностранцев не иметь никакого дела с большевиками. Будущее России рисуется всем нашим эмигрантам в довольно смутном свете, и они надеются больше на „чудо“, чем имеют какие-нибудь конкретные планы на будущее,—исключая, пожалуй, монархистов, которые пламенно верят в способность Врангеля свергнуть ненавистную большевист-

скую власть при помощи иноземных штыков,—французских или немецких,—это им довольно безразлично. Монархические группы уже разработали и программу своей будущей деятельности в России, энергично развиваемую ими на столбцах „Нового Времени", „Двухглавого Орла" и т. п. газет. Они открыто заявляют, что, если им удастся вновь очутиться в России, то они первым долгом начнут, как писало недавно „Новое Время", вешать и истреблять всех, кто не только повинен в большевизме, но кого они считают виновниками даже февральской революции. „Не будет пощады никому", патетически восклицает уже теперь орган М. А. Суворина, сидящего пока в Белграде. Можно себе представить, что было бы, если бы все эти люди, действительно, очутились у власти в России. Безсмысленное убийство В. Д. Набокова показало, на что они способны!..

Было бы, однако, ошибочным думать, что о мести мечтают только головотяпы из „Нового Времени". Нет, месть и ненависть проповедуют и люди, которые еще недавно считали себя представителями радикальной части русской интеллигенции. „Со страстью жду, когда отведаю я вашей крови,—сладко мстить",—заявляет в парижском журнале „Отечество" З. Н. Гиппиус. И одно только тревожит ее, что ей дано лишь „у двери сторожить, чтобы им ступени в преисподнюю моей свечею осветить".

И не только в чувстве ненависти и в жажде мести сошлись З. Н. Гиппиус и М. Е. Марков II. Оба они сошлись и в другом,—в клевете на всех тех, кто остался в России. Почитайте „Дневник" З. Н. Гиппиус, печатавшийся на страницах „Русской Мысли", выходящей под редакцией П. Б. Струве в Софии, и вы ужаснетесь той бешеной злобе, какою проникнуты записи этого „Дневника". Кажется, в России нет ни одного писателя, ни одного общественного деятеля, о котором З. Н. Гиппиус не написала бы какой-нибудь гадости. Об А. Ф. Кони З. Н. Гиппиус пишет: „Продался большевикам А. Ф. Кони. Известный всему Петрограду Кони, писатель и лектор, хромой, семидесятипятилетний старец, за пролетку и крупу решил „служить пролетариату". Написал об этом „самому Луначарскому" („Русская Мысль", 1921 г., I—II, стр. 168). О В. Я. Брюсове она спешит поведать миру, что он „издавна злоупотребляет наркотиками". Горького она изображает в виде „скупого рыцаря", который „жадно скупает всякие вазы и эмали" и „часами сидит, перетирает эмаль, любуется приобретенным". О З. И. Гржебине рассказывается, что он „в книгоиздательстве «Шиповник» раз получил гонорар за художника Сомова и, когда это открылось, слезно умолял не предавать дело огласке". О М. Ф. Андреевой сообщается, что, когда к ней как то пришел по делу художник М. В. Добужинский, то она заставила его нарисовать ей „каблучек к ботинкам", которые она тут же заказывала сапожнику. И подобными сплетнями переполнен весь «Дневник»!..

II. Тоска по родине.

Нужно ли возмущаться этими клеветническими выходками, этими бабьими сплетнями, этими ненавистническими истеричными выкриками? Не чувствуете ли вы под этой злобной истерикой безумной боли, безумной тоски, тоски по России?

Чужбина встретила русских эмигрантов всей мишурой своего великолепия, которую воспел в одной из своих заграничных „поэз" Игорь Северянин:

Живет попрежнему Париж,
Грассирующий и нарядный,
Где, если и не «угоришь»,
То, против воли, воспаришь
Душою даже безотрадной,
Буквально все, как до войны,
. . . .

Как прежде женщины стройны...
И в «Призраках» его разнес
Тургенев все таки напрасно.
Здесь все некрасивое прекрасно
И ценны бриллианты слез.
. . . .
Стою часами у витрин
Чего здесь нет,—ананасы,
И персики, и литры вин,
Сыры, духи, табак...
При том, заметьте, скромность цен:
Дороже лишь в четыре раза
Чем до войны. И эта фраза
Мне мелодична, как Кармен.

Но «ананасы в шампанском» не могли прельстить русских эмигрантов до такой степени, чтобы совершенно забыть о России. И, чем больше они тосковали по ней, тем больше они кликушествовали, клеветали на оставшихся, утешали себя мыслью, что в России все вымерло, что в России не стало литературы, науки, искусства. Но и это не избавило их от тоски. В каждом их письме, в каждой строчке их стихов, в которых есть хоть капля искренности и хоть капля неподдельного чувства, они кричат от боли и тоски.

В Париж! В Париж! Как странно сладко
Ты, сердце, в этот миг стучишь.
Прощайте, невские туманы,
Нева и Петр!—В Париж! В Париж!
Там—дым всемирного угара,
Rue de ia Paix, grande Opera,
Вином залитые бульвары
И—карнавалы до утра.
Париж, любовная химера—
Все пало пред тобой уже!
Париж Бальзака и Бодлера
Париж Дюма и Беранже.
Париж кокоток и абсента,
Париж застывших луврских ниш.
Париж Коммуны и Конвента
И—всех Людовиков Париж.
Париж бурлящего Монмартра.
Париж Верленовских стихов,
Париж штандартов Бонапарта,
Париж двенадцати веков.
И тянет в страсти неустанной
К тебе весь мирь уста свои
Париж Гюи-де Мопассана,
Париж смеющейся любви.
И я везу туда не мало
Добра в фамильных сундуках,
И слитки золота с Урала,
И перстни в дедовских камнях.
Пускай Париж там подивится,
Своих франтих расшевеля,
На чернобурую лисицу,
На горностай и соболя.

В таких выражениях описывает поэт-эмигрант Н. Агнивцев чувства русского эмигранта, покидающего Россию. Но, как ни заманчив Париж, «вином залитые бульвары» не способны вытравить из сердца эмигранта тоски по родине, и тот же поэт признается:

Но еду все-ж с тоской в душе я.
Дороже мне поклажи всей
Вот эта ладанка на шее.
В ней горсть родной земли моей.
Ах, и в аллеях Люксембурга
И в шуме ресторанных зал—
Туманный призрак Петербурга
Передо мной везде стоял.
Пусть он—невидим. Пусть далек он.
Но в грохоте парижских дней—
Всегда как в медальоне локон
Санкт-Петербург—в душе моей.

Не один Н. Агнивцев испытывает эту «тоску в душе». О ней говорят все наши поэты, все наши художники, все лучшие наши артисты, очутившиеся в эмиграции. Художник И. Я. Билибин, бежавший из России с проклятиями по ее адресу, пишет в одном из своих последних писем Г. К. Лукомскому, тоже очутившемуся в Париже, что «очень грустно по России, тянет туда». Артистка Московского Художественного Театра О. Л. Книппер, отвечая в Берлине на приветствия по адресу московских художественников, играющих за границей, заявляет: «Все наши мысли и стремления туда, в Москву, в Москву». В. И. Качалов в беседе с сотрудником «Руля» сообщает, что артисты Художественного Театра, оказавшиеся в эмиграции, с трепетом «ждали делегатов из Москвы», чтобы выяснить вопрос о возвращении в Россию, но делегаты не приехали, и пришлось остаться на чужбине еще один сезон. К. Д. Бальмонт в одном из своих последних рассказов, напечатанных в «Воле России», с большой искренностью рассказал, какими чужими кажутся ему те парижане, которые с радостью встречают его, с восторгом говорят ему о русской литературе, и какими родными и близкими—те далекие, незнакомые красноармейцы, которые как то поделились с ним на даче около Москвы несколькими поленами дров. В другом месте тот же К. Д. Бальмонт,—уже не в прозе, а в стихах,—рассказывает:

Я целую ночь не дремал и не спал,
Как будто я выпил чрезмерный бокал,
Мне грезится стройный, родимый камыш,
Затон заповедный, безгласная тишь.

Даже Ив. Бунин, пишущий в последнее время за границей грубые, псевдо-патриотические статьи, в которых он злобно и желчно проклинает революцию, становится нежным и трогательным, когда он вспоминает о России, о русской природе, о русских полях и садах:

Тает, сияет луна в облаках,
Яблони в белых кудрявых цветах.

* * *

Зыбь облаков и мелка и тесна
Возле луны голубая она.

III. Славянофильство и мистицизм.

Среди многих разочарований, постигших русскую эмиграцию в изгнании, быть может, самым крупным ее разочарованием было крушение мечты об интервенции. У некоторых представителей русской эмиграции это разочарование Европой породило особую концепцию, близкую по теме книге Освальда Шпенглера о крушении Запада, но вызванную совсем другими причинами и совершенно иными настроениями.

Отзвуком этого настроения русской эмиграции явилась вышедшая в Софии книга кн. Н. С. Трубецкого «Европа и человечество». Книга посвящена доказательству того, что европейская культура есть создание ограниченной и определенной этнической или этнографической группы народов—германских и кельтских племен, подвергшихся воздействию римской культуры. Европейская культура,—доказывает кн. Н. С. Требецкой,—не может быть названа общечеловеческой, а должна называться романо-германской и в таком качестве чужда всем не романо-германским народностям. Европейская культура «обязательна» только для определенной (романо-германской) группы народов. Она ничем не совершенней и не выше всякой другой культуры, созданной иной этнографической группой, ибо «высших» и «низших» культур и народов вообще нет.

Разочарование в европейской культуре и в европейской государственности сочетается у многих представителей русской эмиграции с сильным увлечением мистицизмом и религией, увлечением, нашедшим особенно яркое выражение у так называемых «евразийцев», выпустивших в Софии сборник статей под названием «Исход к Востоку». В предисловии к сборнику указы-

вается, что статьи его „сложились в атмосфере катастрофического мироощущения“. *Авторы сборника, в который вошли статьи П. Савицкого, кн. Н. С. Трубецкого* и Г. Флоровского, заявляют, что они ждут „глубокого изменения привычного облика мира“. Они доказывают, что мы находимся „посреди катаклизма, могущего сравниться с величайшими потрясениями, известным в истории, с основоположными поворотами в судьбах культуры“ и утверждают, что „смена западно-европейскому миру придет с Востока“. „Раскрыть миру общечеловеческую правду“ должна, по их мнению, Россия, и эта «общечеловеческая правда» заключается «в отвержении социализма и утверждении церкви». Церковь мыслят они не иначе, как в „строгих формах церковной жизни“, и все свои надежды возлагают на то, что «умудренный и успокоенный народ и прозревшая интеллигенция примиренно об'единятся под одним великим и всеразрешающим куполом православной церкви».

Воскресшим славянофильством, каким проникнута книга «евразийцев», полна также новая работа проф. П. И. Новгородцева „Крушение западничества“, отдельные отрывки из которой он читал в виде докладов в Берлине. Как и «евразийцы», П. И. Новгородцев доказывает, что кризис, переживаемый человечеством, и в частности Европой, чрезвычайно глубок. Этот кризис проф. П. И. Новгородцев видит в том, что назревает новая реформа духа, кончается эпоха безрелигиозного гуманизма и безрелигиозного утопизма и начинается новое преображение духа, сущность которого заключается в возврате культуры к религии, в возрождении восточной мудрости. Выход из противоречий европейской культуры,—заявляет П. И. Новгородцев,—в возврате к религии; там, где этого не будет, наступит неизбежно упадок и смерть. Европа, по мнению П. И. Новгородцева, неспособна, «совершить подвиг возврата к религии». Этот подвиг может совершить только русский народ, душа которого «опрощается и открывается для восприятия веры в неслыханных бедствиях».

В отличие от «евразийцев» и Шпенглера П. И. Новгородцев говорит не о гибели Запада, а о гибели лишь западничества, но в основном философия П. И. Новгородцева ничем не отличается от философии „евразийцев“. Проф. П. *И. Новгородцев, как и «евразийцы», является типичным представителем* той эмигрантской русской интеллигенции, которая ищет в религии, в мистике, в православии утешение от глубоких разочарований, какие постигли ее в последние годы. Настроения этой интеллигенции не имеют ничего общего с той критикой современной европейской культуры, которая нашла ярких выразителей в лице Анатоля Франса, Ромена Роллана, Бернгарда Шоу и многих других выдающихся европейских писателей и мыслителей. В отличие от большинства европейских критиков европейской культуры, ополчающихся против ее буржуазного духа, русские «евразийцы» и их единомышленники ополчились на европейскую культуру не за ее буржуазный, мещанский характер, а за ее анти-религиозную сущность и—главное—за то, что она недостаточно резко отмежевала себя, по их мнению, от социализма...

Трудно, конечно, сказать, какой поворот примут мистические настроения русской эмигрантской интеллигенции, когда она—оторванная сейчас от России и вынужденная жить в атмосфере тоски и бездельничанья—получит возможность заниматься практическим делом у себя на родине. Но, каковы бы ни были судьбы учения «евразийцев», все эти мистические увлечения, этот новый поворот к Киреевскому, Хомякову и Аксаковым, сопровождающийся нередко большой долей самомнения, шовинизма и даже зоологического национализма, является одним из характернейших симптомов тех глубоких сумерек, какие переживает эмигрантская интеллигенция и эмигрантская мысль на чужбине. Оторванная от родины, живущая в мире нереальных видений и творимых ею легенд, русская эмиграция ищет утешения и забвения то в религии, то в наивной вере во Врангеля, Петлюру и чуть ли не Махно, то в надежде на «союзников». Но она не находит этого забвения и утешения и не найдет его до тех пор, пока над нею тяготеет рок эмиграции, пока она будет искать его там, где она ищет теперь, и пока она не вернется в Россию.

Як. Лившиц.

Из зарубежной печати.

М. Горький и А. Белый о России.

Ниже мы печатаем статьи двух русских писателей, оказавшихся вне России и пишущих о России. Статья Андрея Белого напечатана в Берлине в эс-эровской газете „Голос России" и рассчитана на довольно узкий круг русской эмиграции. М. Горький выступает в Копенгагенской газете „Politiken" с целой серией статей (мы печатаем только одну из них - наиболее характерную) и в определенных очертаниях выставляет русский народ, так сказать „перед всесветные очи". А. Белый выступает, как писатель—и только. М. Горький—как писатель и *политический деятель*(!) Так, по крайней мере, рекомендует его выступление „Politiken". Если газета имеет в виду деятельность Горького по организации помощи голодающим, то тем интересней, с какой характеристикой этого голодающего народа выступает за границей его ходатай.

Впрочем, мы пока от каких либо комментарий воздерживаемся и приводим полностью обе статьи, одно сопоставление которых уже достаточно красноречиво. Статья М. Горького имеет заглавие „Русская жестокость"; статья Андрея Белого—„О Духе России и „духе" в России".

Русская жестокость.

Я видел и пережил много жестокостей. Я никогда не мог понять сущности жестокости. Всю жизнь меня мучил этот вопрос: где дно ее, из каких инстинктов вытекает человеческая жестокость?

Когда-то давно я прочел книгу под зловещим название: „Прогресс—эволюция жестокости". Автор пытался доказать посредством целого ряда художественно сопоставленных и истолкованных примеров, что прогресс человечества содействует выявлению скрытого в крови человека наслаждения—мучить себе подобных телесно и духовно. Я с негодованием читал эту книгу; она меня не убедила, и скоро парадоксы эти изгладились в моей памяти.

Но теперь, после ужасающего безумия европейской войны и кровавых оргий революции, теперь я опять призадумался об этих парадоксах. Но нужно заметить, что именно в русской жестокости никакого, кажется, прогресса нет; ее формы не изменились.

В начале 17-го века в России практиковались следующие способы пытки: в рот жертве набивали порох и поджигали. У женщин разрезывали груди, через раны протягивали веревки и потом вешали жертву за эти веревки.

В 1918-19 годах те же самые способы практиковались на Дону и на Урале: замучивали своих жертв до смерти—вбивая в пищевод патроны и поджигая их.

Я думаю, что превалирующая черта русского национального характера—жестокость, так же, как юмор—превалирующая черта английского национального характера. Это—жестокость специфическая, это—своего рода хладно-

кровное измерение границ человеческого долготерпения и стойкости, своего рода изучение, испытание силы сопротивляемости, силы жизненности.

Самая характерная черта русской жестокости — художественная изобретательность, дьявольская утонченность. Вряд ли можно об'яснить эту особенность словами „психоз“, „садизм“ и др. Эти слова ничего не об'ясняют... Последствия алкоголя? Я не думаю, чтобы русский народ был более отравлен алкоголем, чем другие европейские народы, хотя нужно оговориться, что действие алкоголя на психику в России должно быть разрушительнее, чем где бы то не было, т. к. в России питание простого народа хуже, чем в других странах.

Единстненное, что способствует, по моему глубокому убеждению, развитию утонченной жестокости в России, это чтение житий святых, мучеников, — излюбленнейшее занятие наших грамотных крестьян.

Я говорю о жестокости не как о проявлении во вне извращенной или больной души отдельных индивидуальностей, — такие случайности — дело психиатров. Я говорю здесь о массовой психике, о душе народа, о коллективной жестокости.

В одной сибирской деревне крестьяне придумали следующее: вырыли целый ряд ям, поместили в них, головой вниз, пленных красноармейцев, потом засыпали ямы землей наполовину, так что из земли торчали только ноги до колен. После этого они с любопытством следили за судорогами ног; по этим судорогам они могли судить о степени выносливости жертв.

В Тамбовской губернии пленных коммунистов прибивали гвоздями к стволам деревьев, — гвозди вбивались только в левую руку да левую ногу, — и люди забавлялись видом того, как „полураспятые“ бились свободной рукой и ногой...

Одного пленного пытали следующим образом: разрезали живот, вытащили конец тонкой кишки и гвоздем прибили к дереву (или телеграфному столбу); потом гнали несчастного вокруг дерева (или столба), наблюдая, как кишка выматывалась через рану.

Часть пленных офицеров была раздета донага; на плечах вырезали куски кожи величиной с погон и, на место звездочек, вбили гвозди. Потом содрали кожу на ногах полосами-ремнями, — „лампасами“. Эта операция повторялась потом часто и стала обыкновенным явлением. Это называлось „надеть мундир“. Несомненно, эта операция требовала не мало времени и большой ловкости.

Таких и еще худших злодеяний развелось в России в последние годы множество; я не буду приводить более примеров.

Кто жесточе — красные или белые? Вероятно, — одинаково, потому что все они — и красные и белые — одинаково русские.

Впрочем на вопрос о степени жестокости дам определенный ответ. Именно: чем активнее, чем действеннее, тем жесточе...

Я не знаю, существует ли такое место на земле, где бы с женщиной обращались ужаснее и беспощаднее, чем в русской деревне и, наверное, нигде нет такового множества таких жутких поговорок, как в России: „Бей ее дубиной, — бей брат! Посмотри дышит ли! Врет она, шельма, ей еще хочется“! „Баба люба, как в дом ведешь, да как на кладбище несешь“. „За бабу, да скотину и суда нет“. „Хочешь вкусно поесть, — поучи свою бабу“!

В русской деревне — сотни таких афоризмов, содержащих в себе накопленную веками народную мудрость. Дети слышат их ежедневно, на них воспитывается молодежь.

И с детьми в деревне обращаются ужасно. Когда недавно я заинтересовался статистикой преступлений в Московской губернии и перелистывал судебные протоколы за десять лет, — 1901—10, — ужаснулся того огромного числа случаев жестокости по отношению к детям и других преступлений над несовершеннолетними. Вообще, — в России любят бить, — безразлично кого. „Народная мудрость“ видит в избиении человека что-то крайне необходимое и полезное. „За битого двух небитых дают“, гласит поговорка.

Я неоднократно спрашивал участников гражданской войны, не противно ли им убивать друг друга.

Ответ бывал всегда один и тот-же:—„Нет, нам не противно. У него оружие—и у меня оружие: мы в равных условиях. Что из того, что мы убиваем друг друга. На земле еще довольно нашего брата остается".

Однажды я обратился с этим вопросом к солдату, участвовавшему в европейской войне, а впоследствии получившему в командование большую красноармейскую часть. Он дал мне следующий весьма оригинальный ответ:

— "Что, внутренняя война! Вот, война с чужими—это совсем другое, эта за душу хватает. Я вам правду скажу, товарищ: русского убить ничего не стоит; у нас людей хоть отбавляй, и дела у нас дрянь. Например, вот тут деревня—пропади она пропадом, куда она годна, кому она нужна? И вообще, все наше хозяйство, и все наши дела и все,—ну их к чорту! Другое дело— у пруссаков. Когда мы шли на них, ох, и жаль мне было этого народа! их деревней, их городов,—и, вообще, их устройства! Что за чудный порядок! А мы все это разрушили. И за что?.. С ума сойти можно было... Я рад был, когда меня ранило,—не участвовать больше в этом безумии...

Потом я побывал на Кавказе. Там нам попадались и турки и другие черти черные—жалкий народ все, а вот—все зубоскалит, и черт знает почему. Мне было их жаль,—каждому ведь свое. Каждый имеет свою манеру, неправда ли?—каждый—свою жизнь"...

Этот человек был, по своему, человеколюбив: он хорошо относился к своим солдатам; они любили и уважали его, и сам он любил свое военное ремесло.

Я попробовал рассказать ему о России, и ее значении в мире. Он слушал задумавшись, куря свою папироску. Наконец, его глаза сделались грустными, и он вздохнул. „Да, конечно,—сказал он,—когда мы имели сильную государственную власть, мы представляли из себя нечто. А теперь? Теперь, мы беспомощны, как крысы".

Я думаю, война создала не мало такого рода людей, и наши бесчисленные «массовые вожди»—именно такие люди...

Когда речь идет о русской жестокости, нельзя обойти молчанием еврейские погромы. Тот факт, что еврейские погромы организовывались с одобрения глупых, подкупленных представителей власти, не извиняет ничего и никого. Те дураки и негодяи, которые разрешали грабить и бить евреев, не призывали к пыткам,—не призывали отрезывать груди у евреек, убивать их детей или вбивать гвозди в лоб евреям. Все эти кровавые ужасы являются плодом инициативы самих масс.

Но где же—спрашивается, наконец,—тот добродушный и созерцательный русский крестьянин, неустанный искатель истины и справедливости, которого так прекрасно и убежденно описывала русская литература 19-го века?

В свои молодые годы я сам с восторгом искал этого человека по всей русской земле, но—я его не нашел. Я находил везде грубого реалиста, хитрого мужика, который, когда это бывало ему выгодно, умел прикидываться дураком. От природы—он далеко не дурак, этот мужик,—и он знает это. Он сочинил много печальных песен, много суровых, диких, жестоких былин, и составил тысячи поговорок, в которых нашли себе выражение его тяжелые, утомительные жизненные опыты.

Он знает, что „мужик—не дурак, а мир—овца", и что „мир силен, как река, а глуп, как свинья".

Он говорит: „Не бойся чорта, а бойся человека", и „бей своих, бойся чужих".

О правде он не особенно высокого мнения: „Правда не кормит", „Хоть кривда, да кормит" и т. д.

Таких и подобных афоризмом у него тысячи, и он при всяком удобном случае умеет воспользоваться ими; он слышит их постоянно с детства, и уже с детства чувствует, сколько в них суровой истины и горькой печали, и презрения к человеку. Люди—особенно городские—мешают ему жить, он

считает их лишними на земле,—на той земле, которую он любит мистическою любовью и в которую верит мистической верой. Земля, с которой он органически связан и душой и телом, которая—„его кровная собственность“,—эта земля хищнически отнята у него. Русский крестьянин, еще задолго до лорда Байрона знал, что „пот крестьянина дороже, чем имущество господ“.

Наша народническая литература, со своей идеализацией крестьянина, преследовала определенную политическую цель. Но уже в конце 19-го века в отношении литературы к деревне и крестьянину, произошла перемена—литература стала менее жалостливой и более искренней. Новый взгляд на простонародье проводится уже Антоном Чеховым в его рассказах: „Мужик“ и „Бездна“.

В первых годах 20-го века выходит том рассказов „Деревня“—одного из величайших русских художников слова Ивана Бунина. В этих рассказах, особенно в „Ночном разговоре“ высказывается новый, почти критический взгляд на крестьянина; в этом рассказе—истина неприкрашенная.

Бунина обвиняли в аристократизме, говорили, что он, как аристократ, относится к мужику отрицательно, даже враждебно. Конечно, это—неверно. Бунин в высшей степени художник, исключительно художник.

Но в русской литературе настоящего столетия найдутся еще более ужасные доказательства духовной темноты русской деревни. Я особенно хочу указать на рассказ „Юность“ орловского крестьянина Ивана Вольного и на рассказы москвича Семена Под‘ячева и сибиряка Всеволода Иванова. Этих писателей нельзя ведь заподозрить в аристократической вражде к мужику, все они из крестьян и принадлежат деревне телом и душой. Лучше, чем кто-либо, знают и понимают они жизнь простого народа, деревенские горести и грубые радости, слепоту разума крестьянина и жестокость его чувств.

Я заканчиваю эту невеселую статью рассказом: один участник научной Уральской экспедиции 1921 года сообщил мне:

Один из крестьян деревни, где остановилась экспедиция, обратился к нему со следующим вопросом: „Вот вы ученый, раз‘ясните мне. На прошлой неделе башкир один убил мою корову. Я, конечно, убил башкира, а потом забрал его корову. Скажите мне теперь: могут меня засудить за корову эту“?

Когда его спросили, не боится ли он, что его засудят за то, что убил башкира, мужик спокойно ответил: „Люди в нынешние времена дешевы“.

Характерно тут слово „конечно“. Убийство стало совсем обычным явлением, оно вошло в привычку. В этом ужас всей гражданской войны, всего грабежа.

Еще маленький пример, как деревенская мысль приспособляется к новым идеям:

Деревенский учитель, сын крестьянина, пишет мне: „Так как известный ученый Дарвин научно подтверждает необходимость немилосердной борьбы за существование и ничего не имеет против удаления из жизни слабых и бесполезных людей, и так как в старину морили стариков голодом в землянках или сажали их на высокие деревья, чтобы потом отрясти их—и убить, то я хочу предложить удаление ненужных людей из жизни более человечным способом—так как я протестую против всякой жестокости. Мое предложение: отравлять вкусным ядом. Такие методы смягчили бы борьбу за существование. Таким манером нужно бы действовать и по отношению к слабоумным или идиотам, к обойденным природой, и, может быть, также к неизлечимо больным, горбатым, слепым и т. д. Такое законодательство, конечно, не понравится нашей интеллигентной молодежи, но пришло время перестать считаться с их консервативными и контр-революционными идеалами. Содержание бесполезных людей стоит народу слишком дорого, оборот этого товара нужно привести к нулю“.

Многие сейчас в России выступают с такими и подобными письмами, проектами и просьбами. Они действуют удручающе, почти ошеломляюще, но, отбросив эту дикость, они все же дают ощущение, что мысль в деревне проснулась, и что она, хотя еще грубая и молодая, начала работать в направлении, совершенно чуждом деревне до сего времени. Деревня пытается думать о государстве и его целях.

М. Горький.

О Духе России и „духе" в России.

Мне хотелось бы дать очерки, живорисующие жизнь культуры России,— теперешней; чувствую,—приступить не умею я к ним, не сказавши о том впечатлении, которое неизбежно выносишь от духа России.

Что же собственно происходит в России?

И—знаешь: обычное слово не поднимает России; ни термин, ни образ, но живописать, — это значит: перечертить ряд этюдов с натуры, которая— ах, как трудна! Определить отношение в формуле? Но—в России теперешней формулы нет; есть плавление лавового процесса, то есть ландшафты сознания, ни на что не похожие ситуации, устремления, вкусы...

Да, голод и холод, болезни и смерти—все было, все есть, все то будет еще: миллионы страданий, деморализация, видная всем; все—известно... Так почему же вопрос? Стало быть: есть таки *«что то»* еще? Стало быть: „что то"—точка вопросов?

Не справишься с химией без лаборатории; чтение учебника не гарантирует навыка в производстве химических опытов; а ведь Россия—лаборатория; пребывание в ней—исключительно ответственный опыт, который для лиц, не проделавших опыта,—утверждение, только.—Позвольте же: почему вес атомный азота—„14", не „17":—„14"—все тут... Так „что-то" в России; ты знаешь его, осязаешь его; убедить в нем—не можешь; пожалуйте в лабораторию.

— «В России и то-то и то-то... («17» есть вес азота)».

— «Не то-то, а—«это» («14»—вес азота)»...

До Лавуазье полагали: горение—разложение, выделение невидного газа; и звали тот газ *флогистоном*; в сгоревшей России ее „флогистон" (специфический дух ее) испарился; Россия—бездушная, мертвая, движимая лишь процессами разложения.

Но—Лавуазье доказал: при горении—соединение с газом; так: если собрать перегары (золу, дым, пары, газы),—вес увеличится от слияния с „чем то", иль—с кислородом.—„Россия—распылена, как зола".—„Нет,—расширена, вес увеличен ее"...· Это я утверждаю из опыта, не доказуемого при помощи формул.

В России—неосязаемый «плюс», или „что-то"—,чего прежде не было. Спрашиваете: „Что в России". Ответ: „Что то". Смеетесь. „На „что-то" и „где то" не строют ответов; но дикарю всякий „газ"—только „что-то"; приемы установления газового закона, не поддающиеся осязанию пальцами,—чушь для него; между тем на законах Дальтона и Ге-Люсака отстроилась физика. На законах „чего то", не видного глазу,—построена будет Россия; в ней „что то"—проснувшийся дух, открывающий зеницы самосознания.

Твердое тело—отлично от газа; оно—неизменно, предметно, недвижно и форменно; газ—беспредметен, текуч, расширяем, безформенен. Так и Россия: она изменила свое состояние; и из предметной,границами обрисованной формы, она превратилась в безформенное расширение прядающих паров; все увидели: в пламени—разложение тела; не увидали: соединения элементов ее (индивидуумов) с некой новой, духовной стихией,—соединения, образующего великолепнейшее скопление паров над золой, из которого в будущем на золу изольются культурою плодотворящие ливни.

Сознание русских в России—расширено; я вот, писатель, был вынужден переменить ряды служб, писать в холоде, читать курс за ботинки и шапку; конечно—печально... Два года стремился из бедной, голодной, тифозной России; и понял на Западе, здесь, что в голодной тифозной России вооружился единственным опытом выхождения из себя самого, позволяющим на себя самого, на писателя, поглядеть оком дворника, приобщая и дворника к интересам писателя; все бывали в России—во всех; опыт новый расширенный:

Все—во мне; и я—во всем....

Так узнание, что коллектив—индивидуум, что индивидуум—в коллективе и что границы обычного, личного, собственнического сознания—фикция, все то складывает—космическое сознание России; но о сознании этом сказать

здесь—решительно утверждать, что каналы на Марсе—произведение марсиан (—„Но позвольте, ученые до сих пор еще спорят“.—„Ученые не были там, а я—был...“).

Так же дики мои утверждения: солдаты, матросы, рабочие вместе с доцентами там обсуждают проблемы культуры, сознания, мысли; с востока на запад и с севера к югу стоит соловьиное пенье поэтов, как будто бы стала Россия весенним ласкающим садом, а не гниющим воняющим кладбищем. Вот ведь вопрос, почем так поется. А здесь не поется; мне—пелось, а я испытал и моральные и материальные боли.

Предсмертное лебединое пение?

Все таки: лебединая песнь по весне есть обет о весне уходящего в смерть; умирание—без него не восстанет никто; просто встанет, пожалуй, для... отбывания очередной суеты, от которой в миг смерти отвертываются, как от чего то пустого, а пустоты то и нет в ощущениях современной России; присутствует—„что то“, что весит; то—вес кислорода (сошедшего духа) в процессах перегорания и разложения.

Думаю: лебединая песня теперешней с голоду, с холоду философствующей России есть песня Сократа над чашей с ядом. Сократа нам жаль; но что было бы, если бы не светил светлый образ Сократа, приявшего яд? Его знание, нас осветившее,—знание выпитой чаши, быть может? В тот миг, когда он выпивал свою чашу, Платон, может быть, отразил—светлый образ Сократа над чашею с ядом: векам?

Современный Сократ, отравляемый внешне и внутренне вознесенный, расширенный, соединенный с вещающим, внутренним гением (с кислородом)—теперший русский; одет он в лохмотья; пришел—из хвостов, из промерзшего, вшивого помещения по загаженным улицам; он пришел—философствовать, сократический гул диалектики песней стоит над Россией; невероятными ужасами из сознания мужичка, разночинца, рабочего, интеллигента, студента выдавливается фаланга сократов, перед которыми ставится „чаша“: причастие Духом. Причастие Духом есть факт, отлагающий новую культуру России, иль утверждение: „Вес азота—14“...

— „Почему не 17?“

— „Пойдите за мной по моим перспективам“.

А доказать тут нельзя.

Доказательство—оптимизм приезжающих из России, замученных, полубольных, истощенных; казалось, они бы должны черпать силы в довольных и сытых культурою зарубежниках—русских; но, нет; зарубежники пессимисты, их обрывают унынием:

— „Что вы распелись? Какой такой свет?

Он—оттуда, из „что-то“, чего доказать вам нельзя, господа пессимисты; он—факт эмпирический. Он—факт сознания, имманентного жизни России; он—песня Сократа над ядом; она—нам поставлена так же, как Фаусту; но, поднесенная к горьким устам, опускается; слышим, как Фауст, мы: «Christ ist erstanden»! Пусть там умирают, но—там умирают любя; живут-здесь, но... но... сколькие русские здесь живут для проклятия. Здесь вышел Шпенглер написанной книгой; а там произносится множество Шпенглером не написанных книг; вы—не верите? Жаль. Пропустив чрез себя вереницы собраний, бесед, лекций, студий, кружков,—утверждаю от опыта: «Вес атомный азота—14, а не—17».

Да, „чаша“ экзамен России; пред чашею падают в скотоподобное состояние; над «чашей» взлетает из облачка обыденной обывательской—ангелический, шестикрылатый предтеча грядущего Русского, как устремление, как пар; и Россия—не в павших, а—в устремленных горе, в окрыленных и взывающих:

— «Буди!»

Великолепно описана Достоевским смерть старца Зосимы [1]); в монастыре ожидали, что—будет: прославится ль тело, или—протухнет оно; ждали чуда;

[1]) Братья Карамазовы.

иные ходили обнюхивать гроб, как один любопытный монашек; он первый разнес, что—«протух».

В отношении к современной России я наблюдаю два стиля; один—стиль Алеши; другой—стиль монашка, пришедшего к гробу «понюхать», удостовериться, что «протух»; напоминают иные из зарубежников-русских такого монашка; в оттенке вопросов («Ну что, как в России»?)—понюхиванье; из всего постараются вывести:

— „Вы говорите там о каком то процессе горения, расщепляющем на элементы, соединяемые с кислородом духовной культуры. По нашему, эти процессы понятны; процессы, происходящие в трупе“.

Материалисты одиноки, «принюхиваются» к гробу; они—иль монашки, или покойники рассказа «Бобок» [1]), играющие словами «дух» (запах) и «Дух». Вывод их: „Дух—есть, есть: попахивает, сгнивает“.

Канализация полуразрушена; и нечистоты с дворов не вывозятся (крупный профессор, покойный уже, в своей собственной комнате, где замерзла вода, на печурочке... разогревал, чтобы оттаяло то, что естественно выносимо из комнат). И все таки: почему не о «духе» одних нечистот, а о Духе Святом говорим мы, вернувшиеся из России? Да потому, что мы видели—„что то“, чего не узнаешь, не поживя там; перед Алешей у гроба возникло виденье Зосимы сияющего; Алеша над гробом „протухшего“ тела увидел—живое нетленное тело; увидел Христа трапезующего.

Не думайте, что современные русские не умирают в сомнениях, в разуверениях, в болях; все—есть; но есть и иное; видение живой и нетленной России. Не „принюхивающимся“ монашкам и не покойникам из рассказа „Бобок“, бывшим людям, кончающим лозунгом „обнажимся и заголимся“—не им различить Духа жизни России от „духа“ улиц (испорчена канализация).

Помните: после видения Алеша выходит; и—видит: синесапфирное небо, покрытое звездами; небо с огромной звездой над конюшнями „*скотопригоньевской*“ жизни увидели мы; и утверждая „*Россия есть скотный*“,—должны бы договорить: там есть ясли с „младенцем“, которому не позволили родиться нигде, кроме „*скотного*“, хозяева „*постоялых дворов*“ прошлой жизни.

Взглянувши на нынешнюю Россию, вы созерцаете:

Проткнутые ребра,
Перекрученные руки,
Препоясанные чресла!

И — восклицаете:

И это —
Был
Христос?

Но —

— Это —
Воскресло!

Андрей Белый.

---

[1]) Достоевский.

10*

О гробах, тараканах и пустых внутри бабах.

Как-то давно, давно мне рассказали забавный анекдот...

Один еврей, не имевший права жительства, пришел к царю и говорит:

— Ваше величество! Дайте мне, пожалуйста, право жительства!

— Но ведь ты же знаешь, что правом жительства могут пользоваться только ремесленники.

— Ну, так я ремесленник.

— Какой же ты ремесленник? Что ты умеешь делать?

— Уксус умею делать.

— Подумаешь, какое ремесло,—усмехнулся скептически Государь,—это и я умею делать уксус.

— И вы умете? Ну, так вы тоже будете иметь право жительства!

Прошли идиллические времена, когда рождались подобные анекдоты: настали такие времена, когда не только скромные фабриканты уксуса, но и могущественные короли—не имеют права жительства...

Некоторое исключение представляет собой Константинополь: человек, который умеет делать уксус, здесь не пропадет. Искусство „делать уксус" в той или другой форме—все таки, дает право на жизнь.

Вот моя встреча с такими „ремесленниками, имеющими право жительства", не унывающими, мужественными делателями „уксуса".

* * *

Они сидели рядышком на скамейке в саду Пти-Шан и дышали теплым весенним воздухом—бывший журналист, бывший поэт и бывш... чуть, по привычке не сказал—бывшая сестра журналиста... Нет, сестра журналиста была настоящая... Дама большой красоты, изящества и самого тонкого шарма...

Всем трем я искренно обрадовался, и они очень обрадовались мне.

— Здорово, ребята!—приветствовал я эту тройку.—Что поделываете в Константинополе?

Все трое переглянулись и засмеялись:

— Что мы поделываем? Да вы не поймете, если мы скажем...

— Я не пойму? Да нет на свете профессии, которой бы я не понял!

— Я, например,—сказал журналист,—лежу в гробу.

— А я,—подхватил поэт,—хожу в женщине.

— А я,—деловито заявила журналистова сестра,—состою при зеленом таракане.

— Все три ремесла немного странные,—призадумался я.—Делать уксус гораздо легче. Кой чорт, например, занес вас в гроб?..

— Одна гадалка принаняла. У нее оккультный кабинет: лежу в гробу и отвечаю на вопросы клиентов. Правда, ответы мои глубиной и остроумием не блещут, но все же они неизмеримо выше идиотских вопросов клиентов.

— А вот вы... который „ходит к женщине". Каким ветром вас туда занесло?

— Не ветром, а голодом. Огромная баба из картона и коленкора. Я влезаю внутрь и начинаю бродить по Пере, неся на себе это чудовище, в лапах которого красуется реклама одного ресторана.

— Поистине,—сказал я,—ваши профессии изумительны, но они бледнеют перед карьерой Ольги Платоновны, состоящей при зеленом таракане!

— Смейтесь, смейтесь. Однако, зеленый таракан меня кормит. Собственно он не зеленый, а коричневый, но цвета пробочного жокея, которого он несет на себе—зеленые. И, потому я обязана иметь на правом плече большой зеленый бант: цвет моего таракана. Да что вы так смотрите? Просто здесь устроены тараканьи бега, и вот я служу на записи в тараканий тотализатор. Просто, кажется?

— Очень. Все просто. Один в гробу лежит, другой в бабе ходит, третья—при таракане состоит.

Отошел я от них и подумал:

— Ой, крепок еще русский человек, ежели ни гроб его не берет, ни карнавальное чучело не пугает, ежели простой таракан его кормит...

Аркадий Аверченко.

Константинополь.
(„Из записок Простодушного").

Критика и библиография*).

Современная немецкая мысль.

Под таким заглавием выпущен в Дрездене сборник статей немецких авторов о духовной жизни современной Германии. В сборнике всего восемь статей—извлечений из более или менее капитальных трудов немецких мыслителей, критиков и публицистов различных направлений. В нем нашли себе отражение проблемы философии; вопросы, касающиеся общественного переустройства и построения картины мира; параллель между двумя народами, решившими историческую тяжбу, характеристики представителей новейших течений в области искусства—все это намечено опытной и компетентной рукой.

Центральное место в сборнике—и по своим размерам, и по своей значительности, занимают три статьи трех виднейших представителей современной немецкой мысли—Освальда Шпенглера („Философия будущего"—из книги „Der Untergang des Abendlandes"), Генриха Кайзерлинга (отрывок „Бенарес" из „Reisetagebuch eines Philosofhen") и Пауля Эрнста („Машинное сердце"—из „Zusammenbruch des deutschen idealismus"). При всем своеобразии каждого автора в отдельности, и несмотря на иногда коренные различия между ними, они все вместе намечают основную линию, по направлению которой происходит в последнее время сдвиг немецкой мысли—от официальной, филистерской, строго специализирующейся и позитивистической науки, старой европейской цивилизации, доказавшей свою непригодность в мировой войне,—к чему-то новому, к новому мировоззрению, к иным путям и подходам к жизни. Позиция Шпенглера достаточно знакома русской публике, но и читавшие все, что печаталось в России о нем и его книге, не без удовольствия прочтут помещенное в сборнике извлечение—одно из самых сильных и основных мест его работы, в немногих, сжатых фразах дающее полностью концепцию всей его теории.—„Странствующий философ" Кайзерлинг является представителем другого течения—религиозно-мистического, насчитывающего в последнее время не мало приверженцев; его школа ищет новых путей в религиозном самосовершенствовании, в работе над собой, напоминающей методы антропософского общества д-ра Штейнера; данный в сборнике отрывок выбран не совсем удачно—в нем слишком много описаний природы и слишком мало характерных для данного направления мыслей.

Наибольший интерес представляет большая статья Эрнста „Машинное сердце". Автор ее совершенно определенно восстает против „корня буржуазного общества—искажения природы" и призывает современного европейца, в частности представителя молодежи, „жить так, чтобы стать цельным человеком, а не связью или отношением; жить так, чтобы вещи не получили большего значения, чем ты сам". Мысль эта иллюстрируется притчей китайского мудреца

---

*) Редакция лишена возможности давать отзывы о книгах, не доставляемых издательствами в ее распоряжение. Поэтому, она просит столичные, провинциальные и зарубежные издательства, направлять выходящие в свет книги для отзыва по адресу: Петроград, Невский пр. 5, кв. 10.

Джуанг-Дзы; иллюстрация несколько резка, и слишком перегибает палку в другую сторону. В статье есть несколько очень ценных и глубоких мыслей — о дурмане труда, о доме. Себя самого Эрнст рекомендует „человеком старого поколения, всегда до глубины души презиравшим и ненавидевшим старый мир“, и кончает статью бодрыми словами: „Наше время приходит к концу. Слава Богу! Оно уже кончилось. Наступают новые времена, они будут иными“.

Четвертая культурно-философского характера статья сборника — небольшое извлечение из книги Генриха Манна „Macht und Mensch“. В нем проводится параллель между Вольтером и Гете, как типичными представителями французской и немецкой интеллигенции. Сравнение безусловно не в пользу Гете, которого Манн довольно легкомысленно обвиняет в эпикурействе, в том, что „его творчество ничего не изменило в Германии, не устранило ни одной бесчеловечности, не проложило ни единой пяди пути в лучшее будущее“ — в противоположность Вольтеру, воздвигшему для аристократии гильотину, гремевшему там, где дух вооружался против силы, взывавшему: „Больше свободы! Больше правды!“ Антитеза довольно обычная для людей, не постигших всей глубины и силы духа великого Веймарского поэта и человека.

Коротенькая заметка К. Каутского о проблемах социализации (из книги „Die Revolution“), как и всё, что говорит и пишет этот представитель германской социал-демократии, выдержано в скромных и осторожных тонах. Для нас самым ценным является то место, где автор заметки говорит о безусловной необходимости единения пролетариата с интеллигенцией, без которой немыслима серьезная борьба с капитализмом и империализмом.

Знаменитой теории относительности посвящен отрывок из книги Эйнштейна „Die Naturwissenschaften“, имеющий форму диалога; в нем детально разобраны некоторые основные возражения против самой теории. Наконец, в сборнике уделено место обзору новых течений в области искусства — статье Эриста Блоха о новых композиторах и характеристикам художников Шагала, Барлаха и Марка (из книги Теодора Дейбля „Der neue Standpunkt“). — Этим исчерпывается содержание книги.

Сборник не полон, и в нем, конечно, не представлены все стороны культурной жизни современной Германии. Но, несмотря на чрезвычайную, как видим, пестроту тем и воззрений, общий его характер несомненно близок к тому сдвигу от старой науки, старой культуры, старого мира, о котором красноречиво говорят нам его руководящие статьи. В том или ином виде, но культурный перелом в Германии совершился, и этому немало способствовало ее военное поражение. Конечно, отдельные мыслители и группы далеко не согласны между собою в вопросе о дальнейших путях и судьбах человечества, но важно то, что все они бесповоротно и решительно порывают со старыми традициями немецкой науки, немецкой философии и старыми идеалами, порывают не только внешне, формально, но и *по существу*. В последнем отношении этот сдвиг носит глобоко *органический* характер, куда более органический, чем, напр., политический сдвиг сменовеховцев, во многом соприкасающихся и с национализмом, и с славянофильством, и с другими не новыми тенденциями.

Еще одно впечатление остается от сборника — впечатление громадной духовной мощи немецкого народа и немецкой интеллигенции; повидимому, в Германии начинается период культурного расцвета, подобный эпохе „Sturm und Drang'а“. Тем замечательнее, что эта богатая духовная жизнь не только не ослабевает от тяжелых материальных условий, в которые Германия поставлена версальским трактатом, но даже как бы стимулируется ими, ища новых путей и новых ответов на старые, но вечные вопросы.

Евг. Алапин.

„Международные проблемы“.

(К Генуэзской конференции).

«Международные проблемы», статьи о политике и экономике современной Европы, изд. «Берег», Москва, 1922 г.,—стр. 130.

Статьи, вошедшие в сборник „Международные проблемы“, не об'единены, по словам издательства, „ни общей редакцией, ни общим совместно выработанным и для всех обязательным планом“. Каждый автор „излагал лишь свою точку зрения, за которую он один несет ответственность“. Но в общем все авторы сборника исходят из мысли о необходимости для России войти „в правильные экономические и правовые отношения с другими государствами“. Эта необходимость, по мнению С. А. Котляревского, есть „выражение об'ективного факта, а не каких-либо симпатий и антипатий“.

Сборник открывается статьей С. А. Котляревского „Мировое равновесие“. Московский профессор выясняет, что последняя мировая война не только не привела к „мировому равновесию“, но еще более углубила конфликты, породившие войну. Перекройка карты Европы создала массу новых поводов для новых конфликтов. Вашингтонская конференция предотвратила опасность вооруженного столкновения в водах Тихого океана лишь на ближайшее время. Новый четверной союз Англии, Франции, Соединенных Штатов и Японии остается, по мнению С. А. Котляревского, „дипломатической формулой“, не представляющей „политической реальности“. В то же время за пределами Европы вырастают Азия и Южная Америка с пробудившимся сознанием ее народов, с новыми экономическими возможностями, „с каким-то приливом энергии к расам, которые находились в состоянии многовековой слабости“. „Все поколеблено, все в движении, мировое равновесие глубоко потрясено, и нельзя себе представить, чтобы удалось его восстановить традиционными приемами европейской дипломатии“.

Следующая за статьей С. А. Котляревского статья Я. М. Букшпана „Англо-американское соперничество и европейские дела“, содержащая много интересного цифрового материала об экономическом положении Соединенных Штатов, выясняет экономические причины современной американской политики, которая находится сейчас, как доказывает автор, „на распутьи“. Война выдвинула Соединенные Штаты на первое место в ряду мировых государств. В общей сумме Соединенные Штаты производят теперь 25% всего мирового производства сельско-хозяйственных продуктов, 40% минералов и 34% промышленных изделий, в то время, как население Соединенных Штатов составляет всего 5% населения земного шара. Несоответствие между населением и производством, особенно усилившееся после войны, заставляет американцев втягиваться в европейские дела и нарушать принцип невмешательства. Этим противоречием между традиционной политикой Соединенных Штатов, завещанной Георгом Вашингтоном, и повелительными экономическими интересами рынка и диктуются те колебания американской политики, которые мы наблюдаем в настоящее время и которые нашли яркое выражение в отношении Америки к Генуэзской конференции.

„Проблеме экономического восстановления Европы“ посвящена статья Л. Н. Юровского. Автор очень убедительно доказывает, что не следует возлагать слишком большие надежды на „участие группы сильнейших государств в пользу центральной и восточной Европы“. Предоставление кредита странам, испытывающим в них большую нужду, может, конечно, оказать благоприятное влияние, но вряд ли, по мнению автора, Западная Европа и Америка сумеют оказать значительную помощь восточной Европе раньше, чем они сами не начнут оправляться от экономического кризиса. При этом кредиты будут даны, как бы скромны ни были их размеры, лишь тогда, „когда будущие кредиторы будут уверены в том, что их затраты оправдаются и что должники действительно способны использовать полученную помощь для возвращения к нормальным условиям жизни“.

Гораздо большим оптимизмом проникнута статья З. С. Каценельнбаума „Финансовые вопросы в программе Генуэзской конференции“. Автор доказывает, что Европа и Америка сами заинтересованы в том, чтобы сделать русский и германский рынки способными покупать, а это можно сделать лишь при помощи кредита и финансовых мероприятий.

Н. Д. Силин затрагивает в своей статье „валютный вопрос перед Генуэзской конференцией“, выясняя необходимость упорядочения денежного обращения для восстановления экономических сил пострадавших от войны стран, а С. В. Бернштейн-Коган посвящает свою статью „проблеме восстановления транспорта“, выдвигая проект о создании ряда железнодорожных трестов путем разбивки русской железнодорожной сети на ряд местных сетей, которые должны быть самостоятельными экономическими единицами, построенными на началах хозяйственного расчета.

Последняя статья сборника принадлежит Э. А. Вормсу и посвящена вопросу о „защите промышленных и авторских прав в международном праве после мировой войны“.

В общем московский сборник представляет большой интерес не только потому, что он подводит некоторые итоги вопросам, вошедшим в программу Генуэзской конференции, но и потому, что он дает много нового материала, который позволит читателю составить себе самому мнение по всем этим вопросам. Жаль только, что авторы сборника не ознакомили русских читателей с теми проектами экономического восстановления Европы, которые оживленно обсуждаются в настоящее время на столбцах как специально-экономической, так и общей европейской печати.

Я. Л.

Журналы.

Исторические.

«Былое», № 18.—«Голос Минувшего», 1920—1921 г.г.—«Дела и Дни», 1922 г., кн. 111.—Красная Летопись, кн. 1.

С оживлением издательской деятельности воскресли некоторые наши старые исторические журналы и появился ряд новых, раньше не выходивших. Для широкой публики наибольший интерес представляет по прежнему „Былое“, выходящий наиболее регулярно. Среди материалов, напечатанных в последнем (18) номере его, по своему литературному значению на первом месте стоит неизданная глава из романа «Бесы» Ф. М. Достоевского—„Исповедь Ставрогина“. К сожалению, в „Былом“ эта глава воспроизведена по копии Пушкинского Дома, в которой отсутствует конец, а не по оригиналу, в котором этот конец имеется и который хранится в настоящее время в Москве (в полном виде «Исповедь Ставрогина» опубликована в только что вышедшем в Москве сборнике неизданных произведений Достоевского). Статья В. Комаровича, сопровождающая в „Былом“. „Исповедь Ставрогина“ старается доказать, что Достоевский, исключив „Исповедь Ставрогина“ по настоянию Каткова, отказавшегося ее напечатать, впоследствии как бы сам санкционировал это исключение. В действительности, гораздо вероятнее предположить, что Достоевский не включил „Исповедь“ в отдельные издания „Бесов“ потому, что использовал ее сюжет в «Подростке».

Из остальных статей № 18 „Былого“ наибольший интерес представляет статья Д. О. Заславского «Поляки в Киеве в 1920 г.», в которой читатель найдет беспристрастный рассказ о поведении поляков в Киеве и о причинах неудачи польской «интервенции». „Воспоминания шестидесятницы“ Александры Успенской посвящены, главным образом, опровержению неблагоприятных слухов о Нечаеве, которого автор воспоминаний рисует в гораздо более благоприятном свете, чем его обычно представляют себе. Обширная статья Н. П. Ашешова „Николай II и его сановники в воспоминаниях гр. С. Ю. Витте“

с интересом прочтется всеми, кто не имеет возможности ознакомиться с подлинными «Воспоминаниями С. Ю. Витте», вышедшими на русском языке в Берлине.

Жаль только, что автор не использовал части „Воспоминаний", касающейся русско-японской войны.

С мемуарами Гельфериха, вышедшими в Германии, знакомит в той же книжке „Былого" Е. В. Тарле, а с воспоминаниями ген. Деникина П. П. Щеголев. Кроме того, в книге напечатан ряд материалов о „пропавших письмах" Н. Г. Чернышевского, о кружке Долгушина, о стачке железнодорожников в Ростове в 1894 г. и т. д. Опубликованные Н. О. Лернером воспоминания П. В. Аненкова („Две зимы в провинции и деревне") мало интересны.

Несколько случайный, повидимому характер, имеет только что вышедшая, после долгого перерыва, книжка „Голоса Минувшего" за 1920—1921 г.г. Центральное место в ней занимает продолжение „Истории моего современника" В. Г. Короленко, составляющее начало четвертого тома „Истории". На смерть В. Г. Короленко „Голос Минувшего" откликнулся небольшой редакционной статьей и очерком В. А. Розенберга „Перед свежей могилой". „Памяти ушедших" посвящены также статьи Н. И. Кареева об И. В. Лучицком, И. С. Попова о Л. М. Лопатине С. Мельгунова о Г. А. Лопатине и А. А. Кизеветтера об А. С. Лапо-Данилевском. Новые материалы о „Южных бунтарях" сообщает Лев Дейч и об истории рабочего движения в конце 70-х годов М. Р. Попов. Небольшой отрывок из давно опубликованных на французском языке воспоминаний Анри Рошфора посвящен Вере Засулич и народовольцам и говорит о том впечатлении, которое в свое время произвел выстрел В. Засулич и ее процесс на западно-европейское общественное мнение. Несколько неопубликованных до сих пор писем А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского сообщает М. Цявловский. А. Ильинский пытается ослабить в своей статье: „Новые материалы о М. Бакунине" впечатление от появившейся недавно „Исповеди" М. Бакунина. Попытку эту надо признать довольно слабой и неудачной. Вообще нет ничего неблагодарнее, как оправдывать поступки, не могущие быть оправданными, хотя бы они были совершены и очень выдающимися людьми.... Книга заканчивается интересным анализом мемуаров С. Ю. Витте, сделанным А. А. Кизеветтером, и небольшим отрывком из самих мемуаров. А. А. Кизеветтер извлекает между прочим из французского издания книги С. Ю. Витте два эпизода, которых нет в русском томе его воспоминаний. Один из этих эпизодов относится к 1881 г. Потрясенный убийством Александра II, Витте написал из Киева письмо известному генералу Фадееву, развив план устройства тайного общества для борьбы с революционерами. Фадеев показал это письмо кому следует, и Витте был вызван в Петербург министром двора. Министр представил его гр. Шувалову, а граф заставил Витте поклясться на Библии в верности только что образовавшемуся тайному обществу „Священная Дружина". Вернувшись в Киев, Витте вскоре получил от „Дружины" приказание отправиться в Париж, где ему предстояло получить дальнейшие инструкции. Прибыв в Париж, он нашел там письмо о том, что в одном с ним отеле живет уланский офицер Полянский, на которого „Дружина" возложила миссию убить революционера Гартмана. Когда Витте познакомился с Полянским, тот, к его изумлению, заявил ему: „Вы прибыли в Париж убить меня, если я не убью Гартмана. Но я медлю потому, что мною получены новые инструкции из Петербурга". На следующий день Полянский привез Витте на одну из улиц Латинского квартала. Они долго ждали перед каким-то домиком. Наконец, из дома вышел Гартман, за которым следовали двое наемных убийц апашей, которые должны были по приказу Полянского затеять с Гартманом дело и убить его. Но Полянский тянул дело, ссылаясь на полученные из Петербурга новые распоряжения. В конце концов Витте убедился, что к Священной Дружине пристали разные проходимцы и, вернувшись в Киев, написал Воронцову-Дашкову, что злу можно помочь только опубликованием в „Правительственном Вестнике" устава и списка членов Дружины,—тогда из нее уйдут все темные

элементы. Ответа на это письмо не последовало, и тем, по словам Витте, пребывание его в рядах оффициозной подпольной организации кончилось.

Другой эпизод касается обстоятельств, предшествовавших катастрофе в Биорках. Александр III во время своего путешествия на юг требовал, по словам Витте, такой быстрой езды, которая могла грозить катастрофой. Витте же, сопровождая императорский поезд в качестве директора юго-западных дорог убавил быстроту. Александру III это очень не понравилось, и он заявил Витте: „Я ездил по другим линиям с такой же точно быстротой и ничего не случилось. У вас нельзя так ехать потому, что ваша дорога жидовская" (во главе общества юго-западных дорог стоял в то время еврей). Впоследствии, когда произошла катастрофа императорского поезда, Александр III вспомнил о Витте, который с тех пор и пошел в гору.

Более академический характер, чем „Былое" и „Голос Минувшего", носит журнал „Дела и Дни". Из материалов, напечатанных в только что вышедшей третьей книге его, наибольший интерес представляет переписка Александра II с великим князем Константином Николаевичем, относящаяся к 1862—1863 г.г., когда Константин Николаевич был наместником царства польского. Переписка ярко рисует те приемы управления, при помощи которых русская власть старалась успокоить Польшу накануне назревавшего в то время польского восстания. «Дневник ген. Сухомлинова", продолжение которого напечатано в той же книжке, – характернейший документ, рисующий одного из виднейших представителей власти в России в эпоху мировой войны. Самые злые враги бывшего военного министра не могли бы нарисовать такого красочного портрета, какой нарисовал он сам в своем дневнике. Достаточно прочесть записи дневника, чтобы видеть, каким жалким ничтожеством был руководитель военной политики России в один из самых трагических моментов ее государственной жизни. Записи о том, что „Варшава и Ивангород нами оставлены", что „известия с театра войны неважные" и т. д., чередуются в дневнике ген. Сухомлинова с подробнейшими сообщениями о том, что „днем очень тепло,—утром и вечером приятная прохлада", „утром ловил рыбу, вытащил 4 харюза", „на вечернем выезде поймал 2 фореля в 3 ф. и окуня в $1^3/_4$ ф." и пр.

Специалист-историк найдет в „Делах и Днях" ряд статей, относящихся к различным моментам русской истории. Но в них нет какой-то „изюминки". Все добросовестно, иногда интересно, но в общем очень серо... Гораздо удачнее отдел рецензий, в котором читатель найдет между прочим ряд отзывов о книгах, вышедших за-границей, в том числе о воспоминаниях М. В. Родзянко, В. Б. Станкевича и др.

Первая книжка нового ежемесячного исторического журнала „Красная Летопись", издаваемого петроградским бюро по истории октябрьской революции и российской коммунистической партии, целиком посвящен 9 января 1905 г. Кроме ряда статей о январьских днях, в которых отчасти использованы уже известные материалы, отчасти сообщаются новые, основанные на архивных данных, журнал опубликовал ряд ценных документов, до сих пор совершенно неизвестных или мало известных. К числу последних относится, между прочим, доклад комиссии петербургских присяжных поверенных о бойне 9 января, из которого, без достаточных оснований, исключена, однако, заключительная часть.

В общем, как видит читатель, наша периодическая историческая печать начинает оживать, и этому можно только порадоваться.

Я. Лившиц.

„Жизнь".

Литературно-художественный и научно-популярный журнал. Выходит под редакцией В. И. Язвицкого (1922, № 1, Москва, издание треста «Моспечать». Стр. 223).

Когда поэт пишет книгу и в ответ на упреки в непонятности или ненужности ее заявляет, что он пишет ее для себя, или утешается тем, что ее поймут грядущие поколения, можно не соглашаться с ним, можно обвинять

его в необщественности и т. д. и т. д., но понять его нетрудно.

Есть, однако, книги, которые создаются *только* для читателя и *только* для сегодняшнего читателя, книги, которые, если не удовлетворяют сегодняшнего читателя, то через день, через месяц перестанут существовать. К таким книгам принадлежит прежде всего периодическая печать.

Редактор журнала поставлен в такое положение, что, составляя книжку, он вынужден видеть перед собою того читателя, которому эта книжка будет нужна, он всегда рассчитывает на ту или иную аудиторию. Это вызывает и другую необходимость: придать книге ценность, подобрать ее так, чтобы она не была случайным конгломератом рассказов, стихов и статей, а представляла собой единство организма. Даже самый лучший рассказ не спасает книги, если она в целом плохо составлена.

Русский «толстый» журнал, культивировавшийся десятилетиями, выработал прекрасную технику этого дела. Однако несколько лет перерыва в выходе журналов, как будто, сгладили, уничтожили все богатства колоссального опыта.

Вышедший в Москве первый неофициальный большой журнал грешит нарушением именно этих основных требований. В номере есть и рассказы, и стихи, и статьи на разнообразнейшие темы (от экспрессионизма до археологии), все это, правда, не блещет особенными достоинствами, но все приемлемо и имеет большее или меньшее право на существование, но все это несовместимо, все это распадается, книга расходится по швам, на отдельные страницы.

Журнал в заявлении от редакции надеется найти путь в «широкие читательские круги», а между тем один из авторов (В. Сахновский) предупреждает в начале своей статьи:

«Я буду говорить так, как если-бы передо мной сидели актеры, режиссеры, декораторы, бутафоры, костюмеры, машинисты, осветители, театральные парикмахеры, фигуранты и другие служители сцены».

С таким же правом проф. М. Завадовский, давший результаты своих исследований в области развития половых признаков, мог бы сказать, что он свою статью предназначал для читателей, специально интересующихся биологией, потому что широкий читатель не поймет ни его терминологии, ни математических формул.

А читатель, который поймет Сахновского и Завадовского, навряд ли пожалеет вместе с проф. И. Бороздиным о том, что «не появлялось за последнее время специальных исследований по бронзовому веку на юге России». Скорее всего он не поинтересуется и теми вышедшими книгами, о которых суховато излагает библиографическая статья по археологии.

Читатель, который остановится на эфонических стихах Брюсова, которому будет близко прекрасное стихотворение Б. Пастернака «Так начинают», скажет, что ему скучно читать Когана о Мольере, что он еще в гимназии учил это. Приблизительно так же он отнесется и к статье проф. Сакулина о Короленко, который «стоит на горной вершине, осиянной солнцем», у которого «дивные рассказы» и «зоркий глаз доброго художника». И т. д., и т. д.

При таких условиях, разумеется, журнал вряд ли может расчитывать, на особенно широкий круг читателей. Будем думать, что с последующими книжками утраченный опыт вернется и выгодно отразится на журнале.

Д. В.

„Парфенон", сборник первый, 1922 г.

Помещенные в сборнике статьи не связаны какой-либо общей идеей и носят случайный характер, кроме нескольких, как напр. „Направление научной работы в современной жизни на западе и у нас" С. Ольденбурга, „Освальд Шпенглер и крушение западной культуры" Евг. Б., „О задачах интеллигенции" А. С. Изгоева, которые связаны злободневностью тем.

В своем беглом очерке С. Ольденбург констатируя чрезвычайно убогую, у нас и на Западе, организацию научного труда и слабое сознание значения науки у распорядителей государственных средств, указывает на необходимость организованной научной работы, без чего величайшие достижения самых крупных научных сил обречены на смерть или почти полное бесплодие. Медленный ход развития науки,—между прочим говорит автор,—зависит и у нас и на Западе, еще и от незначительного числа ученых

в рядах которых война, революция и исключительно тяжелые условия жизни произвели значительные опустошения. „Как же будет дальше существовать наука в России—спрашивает автор:—особенно, когда в полный беспорядок приведена высшая школа и средняя?"—И сам в конце статьи отвечает на этот вопрос: „Сравнительно с громадными расходами такого государства, как Россия, расходы на науку ничтожны, но надо, чтобы они делались своевременно, ибо всякое запоздание губит дело. Надо пользоваться и тем, что есть еще у нас оставшиеся в живых ученые, а сколько их погибло от неурядицы нашей жизни в эти годы"!.. „Надо сделать возможной настоящую научную работу, надо, чтобы лаборатории могли вести свою аналитическую работу, чтобы в библиотеках не гнили и не погибали книги и рукописи, чтобы мыслимо было пользоваться музеями, а не только закрывать их за отсутствием топлива и тем более не думать об их распродаже на хлеб"...

Евг. Б., дает краткую характеристику книги Шпенглера „Крушение западной культуры", о которой у нас уже писалось („Новая Россия" № 1),

В статье „О задачах интеллигенции" А. Изгоев дает определение интеллигенции, как группы людей, деятельности которых присущ „элемент учительства в широком смысле слова". Этим, по словам А. Изгоева, определяются и задачи интеллигенции: „Интеллигенция все-таки владеет знаниями, и ее основная обязанность—распространять их в народе. Ее роль—учительская и учить она должна тому, что способствует людям в наиболее разумном и справедливом устроении их жизни".

Д. Выгодский, в своем сжатом очерке о новой еврейской поэзии рассматривает только трех поэтов Черниховского, Шнеура и Когана.

Автор отмечает характерную, общую всем новым еврейским поэтам, черту: все они пытаются соединить европейское с еврейским, все стремятся быть не еврейскими поэтами, а поэтами, пишущими на еврейском языке. Но тогда—зачем писать на почти никому не доступном древне-еврейском языке? Получается безвыходное положение, о котором сам автор статьи говорит: „как бы талантливы ни были ее (еврейской литературы) представители—(она) обречена влачить самое жалкое существование, потому что без читателя существование литературы немыслимо и бесцельно".

Кроме упомянутых статей, в сборнике помещены очерк М. Гофмана „Благословение бытия Пушкина", воспоминания М. Самойловича о пушкинисте Г. В. Никольском, три неизданных письма А. А. Фета, прекрасное стихотворение Анны Ахматовой, „Как мог ты", „Друг Пушкина—И. И. Пущин", С. Я. Штрайха, „Научная глассолалия (об Андрее Белом) А. Г. Горнфельда, „У Гете в Веймаре" Мариэтты Шагинян, „К биографии В. Г. Короленко (с неизданными письмами) Р. М. Кантора и „Кризис музыкального искусства (Россия и Запад)" Е. М. Браудо.

Несмотря на случайный характер подбора материала, сборник „Парфенон" все же производит впечатление настоящей литературы, заставляющее с интересом ждать выхода дальнейших сборников этого издательства.

Вл. Ленский.

„Культура и Жизнь".

Еженедельник по вопросам просвещения, науки, искусства и литературы. 1922 г. № 2-3 К-во „Работник просвещения" Москва).

Осветить сколько-нибудь полно вопросы просвещения, науки, литературы, искусства, да еще в таком широком масштабе, как это пытается делать „Культура и Жизнь" можно только в действительном еженедельнике, аккуратно выходящем. В противном-же случае освещение получается неминуемо скудным.

В лежащем перед нами номере помимо беллетристики (стихи Есенина, Клычкова, Ашукина, Радимова; рассказы Яковлева и Никитина) есть целый ряд статей, затрагивающих то „вечные" темы: Г. Ветринский, „Новое о Л. Н. Толстом", то самые животрепещущие и злободневные: М. Бронский—„Роза Люксембург о русской революции", В. Полонский.—„Об интеллигенции и революции". М. З.—„Работы проф. Штейнаха", целый ряд статей и заметок по вопросам просвещения, театра, музыки, живописи, литературы, техники и т. д. и т. д. Все это очень интересно, очень своевременно, но все это по необходимости скомкано на 80 страницах нерегулярно выходящего журнала. И чем злободневнее статья или заметка, тем более устарелой оказывается она к моменту выхода номера. Не приходится говорить о том, что хроника совершенно лишается какого бы то не было значения.

Очевидно, реставрирование типа еженедельного журнала еще слишком преждевременно при нашей типографской разрухе.

„Архив Экспериментальной Клинической Медицины."

После значительного перерыва, как только была предоставлена возможность проявить частную инициативу, русская кедицинская литература обогатилась целым рядом повременных изданий. Возобновлены были старые издания, появились новые. Среди последних обращает на себя внимание «Архив Клинической и Экспериментальной Медицины»—журнал типа ежемесячника, выходящий под редакцией профессоров Н. Петрова, Д. Плетнева, Б. Словцова, Л. Тарасевича и издающийся в Москве и Петрограде (адреса редакции: Москва Камергерский пер.

№ 5, магазин № 84. Петроград. Невский 5 кв. 10.)

Вышедший 1-й № журнала содержит статьи:

1. «Голодание с хирургической точки зрения»—проф. В. А. Оппель.

2. «Применение кварцевой лампы при лечении туберкулезного перетонита»—проф. Д. Д. Плетнев.

3. «К лечению рака желудка и круглой язвы резекцией»—д-р. В. Ю. Брайцев.

4. «О легочной гангрене»—д-р. В. А. Любарский.

5. «К вопросу о лечении гетерогенными белками при глазных болезнях»—д-р А. Ашкинази-Сватикова.

6. «Постоянный тонкий зонд, как метод исследования деятельности желудка человека»—д-р М. А. Горшков.

7. «Схема изучения химии иммунитета» —проф. Б. И. Словцов.

8. «К вопросу об образовании голоса у певцов»—д-р Л. Д. Работнов.

9. «К вопросу о влиянии лучей рентгена на ранние стадии беременности у женщины»—д-р Б. А. Архангельский.

10. «Тифоподобное заболевание, вызванное новым микробом»—д-р Е. В. Воронина.

11. Рецензии...

Весьма ценна для об'ективного понимания и ознакомления с прошедшим периодом петроградской жизни и работы врачей—статья Оппеля. В опубликованной части работа Горшкова носит характер разработки метода исследования функционирования желудка человека при помощи тонких зондов. Статья Б. Словцова дает схему для химического, физического и биологического изучения явлений иммунитета; другие из перечисленных статей могут быть отнесены в группе специальных работ той или другой отрасли медицинских знаний.

Появление журнала необходимо приветствовать и пожелать дальнейшего регулярного выхода его, т. к. это один из первых русских журналов, имеющих характер научного органа русской экспериментально клинической медицины, чем отличается от ранее бывших медицинских журналов, носивших характер общественно-практическо-теоретических медицинских изданий. В заключение остается пожелать, чтобы и в дальнейшем содержание журнала соответствовало его выдержанному заголовку.

М. Л. Петрункин.

Современная русская эмиграция.

Н. Мещеряков, «На переломе», Москва, 1922 г., стр. 73.

Н. Мещеряков собрал в своей книжке ряд статей, печатавшихся в разное время в «Красной Нови», «Печати и Революции»,московской «Правде» и посвященных описанию «злоключений русских эмигрантов» и тому перелому в настроениях русской интеллигенции, который нашел особенно яркое выражение в нашумевшем пражском сборнике «Смена вех». Автор широко использовал ряд книг, написанных представителями самой белой эмиграции. Целые страницы небольшой книжки Н. Мещерякова представляют собою цитаты из „Записок о революции“ Ив. Наживина, из книги Г. Раковского (бывшего сотрудника „Речи“, которого не следует смешивать с председателем Совнаркома Украины Х. Раковским) „Конец белых“, из „Дюжины ножей в спину революции“ Аркадия Аверченко, из „Воспоминаний“ В. Б. Станкевича, из „Смены вех“ и т. д. Русский читатель, не имеющий возможности ознакомиться с цитируемыми автором материалами, прочтет приводимые отрывки с большим интересом. Они дадут ему яркое представление о том развале, который наблюдается в среде современной русской эмиграции и который был, между прочим, одной из причин «смены вех» многими ее представителями.

Злоключения русских беглецов, описанные ими самими в ряде мемуаров, цитируемых Н. Мещеряковым, начались с момента от'езда их из России. Вот, напр., как описывает Ив. Наживин в своих „Записках“ от'езд эмигрантов из Новороссийска в последние дни Деникина:

„Тысячи людей осаждали с раннего утра эмиграционное бюро на Серебря-

ковской. И кого только не было в этой разношерстной толпе!.. Барыни в разношерстных мехах и бриллиантах, истомленные, безрукие и безногие офицеры; бегущие от своей паствы попики; весьма ловкие молодые люди призывного возраста; оборванные и грязные чиновники без копейки в кармане; сестра милосердия, крупные капиталисты, известные общественные деятели; бывшие губернаторы... Вот похудевшая, очень потрепанная фигура М. В. Родзянко.

— Господа, среди нас находится председатель Государственной Думы М. В. Родзянко!—раздается вдруг чей то голос. Давайте пропустим его вперед без очереди...

— Почему это?—резко возражает кто-то.—Благодаря этим господам мы и сидим вот здесь нищими, вымаливая милостыню у англичан. Они в борьбе за власть разрушили Россию, а теперь мы будем оказывать им почести...

— Да, конечно... — поддерживают злые голоса.—„Довольно..."

„Злые голоса", готовые записать в революционеры даже М. В. Родзянко, звучат в современной русской эмиграции очень сильно. Но наряду с ними все громче раздаются голоса людей, „признавших",—выражаясь уже затрепанным словом,—революцию. Одни из них, как напр., В. Б. Станкевич, воспоминания которого Н. Мещеряков излагает с большой подробностью, все еще не нашли „дороги", другие, как авторы „Смены вех", открыто признали себя сторонниками советской власти. Книжка Н. Мещерякова знакомит читателя с тем расколом в среде белой эмиграции, который наблюдается в настоящее время. Автор умело расгруппировал бывший в его распоряжении материал и нарисовал яркую картину современной русской эмиграции. К сожалению, комментируя эти материалы, автор поддался манере, усвоенной многими современными русскими публицистами бранить интеллигенцию и идеализировать пролетариат в духе пресловутого сентиментального народолюбия.

Конечно, у интеллигенции не мало грехов, но их гораздо меньше, чем склонны ей приписывать слишком усердные хулители ее. И, право, давно пора бросить в отношении ее тот тон поучительной нотации, каким проникнута и книжка Н. Мещерякова. В годы революции интеллигенция далеко не всегда оказывалась неправой, и единомышленникам Н. Мещерякова не раз приходилось это признавать.

„Интеллигенцию со счетов не сбросишь",—справедливо заявляет Н. Мещеряков,—но, если это так, то нет никаких оснований продолжать тот словесный поход на интеллигенцию, который углубляет и без того глубокую пропасть между широкими народными массами и интеллигенцией, к каким бы группам и партиям не причисляли себя отдельные представители ее.

Я. Л.

Новости Пушкинианы.

Ни для кого не секрет, что история русской литературы еще не написана. Более осведомленные в этой области знают и другое: что она еще очень не скоро будет написана, что еще не одно десятилетие нужно для подготовительной работы по собиранию и разработке фактического материала, для кропотливой черновой работы.

Достаточно сказать, что мы до сих пор не имеем не только книги о *Пушкине*, не только его биографии, но и книги *Пушкина*. Действительно, полного собрания сочинений Пушкина еще нет, одно издание дополняет другое, отменяет и видоизменяет его страницы; чуть не каждый месяц обнаруживаются новые строки, целые стихотворения Пушкина, рукописи поэта далеко не все еще прочитаны и изучены.

Однако, если есть поэт, которого русская наука изучает достойным его образом, то это Пушкин. Целый ряд отдельных ученых, литературных и ученых организаций, периодических изданий не одно десятилетие уже посвящает себя исключительно изучению Пушкина, и Пушкин давно уже стал отдельной отраслью науки о русской литературе, чести которой не удостоился ни один из русских поэтов.

И все же оказывается вполне возможным в 1922 году, чуть ли не через сто лет после смерти Пушкина, издать книжку с подзаголовком „Первая глава науки о Пушкине" (М. Л. Гофман. Пушкин. Изд. „Атеней". П. 1922). Это претенциозное заглавие если и является несколько нескромным, не грешит, однако, чрезмерной смелостью.

Надо, однако, сказать, что с первых же страниц книги автор впадает в тот первородный грех истории литературы, которым он грешит. Гофман предупреждает исследователя от слишком поспешных выводов о действительной жизни поэта на основании его произведений. „Художественное создание,—говорит он,—и обыденная действительность, правда и вымысел (Wahrheit и Dichtung), поэт и человек—понятия более анти-

номические, чем тождественные... Необходимо точно протокольно знать Wahrheit *не для того*, чтобы в Dichtung найти Wahrheit". И тут же (стр. 15) „иллюстрируя это на пушкинском материале" пытается из Dichtung „пока не требует поэта» вывести Wahrheit пушкинского взгляда на поэта. В такой же грех впадает Гофман и еще раз разбирая принадлежность стихотворения „Любви, надежды гордой славы" Рылееву и основывая свое мнение на том, что Пушкин не мог употребить в этом стихотворении слова „товарищ".

Но в общем книгу надо признать ценной. Первой главой науки о Пушкине Гофман справедливо считает вопрос об установлении текста Пушкина и об издании его. В этом направлении он не только указывает целый ряд недобросовестных и неумных поступков многих *пушкинистов*, но и дает положительные указания и наставления для строгого и вполне научного ведения работы.

В согласии с этими наставлениями при ближайшем участии того же Гофмана в том же издательстве вышел превосходно изданный том „Неизданный Пушкин" (Собрание А. Ф. Онегина. Труды Пушкинского Дома при Российской Академии Наук. Атеней, 1922. Стр. 235).

Онегинское собрание рукописей Пушкина, находящееся в Париже, давно уже привлекало внимание пушкинистов, и кое что из него появлялось разновременно в печати, не всегда в исправном виде. Теперь труды Пушкинского Дома дают нам воспроизведение всего (за незначительными исключениями) собрания. Издание выполнено с методологической стороны блестяще и дает возможность следить за всем ходом работы Пушкина над черновиками. На некоторых образцах мы воочию видим, как из хаотической группы слов и рифм постепенно выкристаллизовываются у Пушкина строки и строфы. В этом основная ценность книги. Не меньшее, однако, значение имеет и новизна материала, значительная часть которого появляется в печати впервые. Среди нового материала мы имеем не только отрывочные черновики, но и несколько целых стихотворений („Царское Село", „Там у леска" и др.), отрывок из „Египетских ночей", из прозы—продолжение „Арапа Петра Великого", предисловие к „Капитанской дочке" и т. д.

Как „Труды Пушкинского Дома", вышла в роскошном издании и „Гаврилиада" под редакцией и с комментариями Б. Томашевского. После целого ряда изданий, вышедших в последние годы, это издание является первым, выдерживающим строгую критику. Основной текст в „результате критического сличения различных, доступных редактору, чтений поэмы", дополнен разночтениями и вариантами. Помимо текста книга содержит ряд статей редактора о принадлежности поэмы Пушкину, об истории ее, о сюжете, о языке, ритме, и т. д. Особенно интересна своей новизной глава о сюжете, в которой автор, опровергая обычное мнение о заимствовании сюжета у Парни, ищет и находит его в апокрифических евангелиях (протоевангелие Иоаннова и псевдоевангелие Матфея), целиком заключающих его в себе.

Книга Томашевского является образцом серьезного издания и изучения литературного произведения.

Отдельным вопросам жизни и творчества Пушкина посвящены две книги из-ва „Парфенон", которое с самого начала своей работы уделяет Пушкину исключительное внимание (Из ранее вышедших книг: „Достоевский и Пушкин. Сборник статей под ред. А. Л. Волынского", И. Анненский, „Пушкин и Царское Село", а также „Царское Село в поэзии").

В своей книге „Пушкин под тайным надзором" Б. Л. Модзалевский дает в хронологическом порядке все документы (в значительной части неопубликованные) о шпионаже, установленном за Пушкиным. Документы, оправленные в раму пояснительного комментария, дают полную картину надзора за поэтом в течение пяти лет его жизни (1826—1831), установленному высшей полицией. Документы в большей своей мере извлечены из агентурного материала секретного архива фон-Фока, неутомимого помощника Бенкендорфа и открывают немало интересных деталей.

Не столько Пушкину, сколько атмосфере, в которой он жил, посвящена вторая книга „Соболевский—друг Пушкина". Книга раскрывает перед нами одного из ближайших друзей Пушкина и вырисовывает их взаимоотношения. Материалы, не впервые публикуемые, собранные вместе, дают, однако, более полный образ Соболевского.

Д. Выгодский.

Серапионовы братья.

(Серапионовы братья. Альманах первый. «Алконост». Петербург. 1922 г. стр. 125).

Группа молодых беллетристов, выступающая под этим именем, уже успела напечатать целый ряд рассказов, издать ряд книг и завоевала определенное положение в современной литературе. О них можно говорить, как о новом и большом явлении, воскрешающем, казалось, уже умершую русскую прозу. Однако мы в данном случае постараемся не выйти за пределы рецензентской заметки и будем говорить только о лежащей перед нами книге, оговорившись, что она не представляет собой высших достижений „Серапионовых братьев".

В книге семь рассказов семи авторов. И естественно возникает вопрос: что об'единило их? Есть ли у семи авторов альманаха общность каких-либо литературных традиций, приемов, устремлений, заданий, которые давали-бы им право на *коллективное* существование?

Если говорить о литературных традициях, усвоенных ими, об их генеалогии, то в числе их предков придется назвать и Гоголя, и Достоевского, и Лескова, и Горького, и Замятина, и Андрея Белого, быть может, Ремизова и Андреева. Глубоко усвоены ими Сервантес и Гофман. Такое обилие предков, конечно, говорит только в их пользу. Оно

говорит о том, что они не прямо вышли из того или иного писателя, не подражают тому или иному автору, а питаются огромным и плодотворным опытом всей русской беллетристики, запустив корни и в тучную почву лучших европейских повествователей.

Разумеется, не на всех это влияние сказалось в равной мере, и напрасно было бы искать, напр., в рассказе Зощенко („Виктория Казимировна") того претворения Сервантеса, которое мы видели у Каверина („Хроника города Лейпцига). И по разному восприняли, разное взяли у Горького Всев. Иванов („Синий зверюшка") и К. Федин („Песни души").

Не одинаковы „Серапионовы братья" и в своих поэтических устремлениях. Сказовое задание Зощенко и Слонимского („Дикий"), композиционное Никитина („Дэзи"), сюжетное Каверина и т. д.—все это говорит о собственном пути каждого автора, о самостоятельности дальнейших приемов.

И все же есть нечто, что роднит всю эту группу. Это не школа: они слишком индивидуальны, слишком талантливы, чтобы ограничивать себя рамками школы. Это не школа, а группа, содружество авторов, общим устремлением которых является только сознательное и требовательное отношение к творчеству и к своим силам.

Трудно и слишком ответственно характеризовать отдельных авторов по тому небольшому материалу, которым каждый из них представлен в сборнике. Да и не всегда верны были бы эти характеристики. Можно сказать, что лучшими вещами в альманахе являются рассказы Зощенки и Слонимского, но мы знаем, что и Иванов и Никитин имеют лучшие рассказы, чем те, которыми они представлены здесь. Можно сказать, что рассказ Лунца („В пустыне") слабее других вещей сборника, но мы знаем, что это не лучшее его произведение. И т. д.

Но в общем и целом альманах „Серапионовых братьев" необходимо отметить, как серьезное и многообещающее явление в нашей беллетристике. И их талантливое использование художественных средств языка, и присущий им всем интерес к современности говорят о том, что именно здесь мы можем надеяться найти поэтическое преломление нашей эпохи.

Д. Выгодский.

Письмо в редакцию.

(Ответ „Серапионовых братьев" Сергею Городецкому).

За короткое время в московских газетах одна за другой появились две статьи о „Петербургском сборнике": Сергея Городецкого в „Известиях" (№ 42) и Я. Яковлева в „Правде" (№ 52). „Серапионовы братья", участие которых в сборнике подчеркивается обеими статьями, имеют некоторые основания отозваться. Главным образом, на статью С. Городецкого, потому что статья Я. Яковлева, во первых, имеет предметом не столько литературную критику, сколько политический розыск, во вторых, хотя в ней и упоминаются кое-кто из „братьев", но вся группа в целом не характеризуется.

Что же касается статьи С. Городецкого („Зелень под плесенью"), то в ней наряду с подобными же розысками автор счел нужным почтить вышеназванную группу чрезвычайно лестной характеристикой, правда, попрекая кое-кого за допущенные, по его мнению, ошибки.

Но суть не в этом. С. Городецкий противопоставляет „Серапионовых братьев" („зелень" в похвальном смысле) остальной части петербургской литературы („плесень" в смысле порицательном) и при этом возлагает на них большие надежды и высказывает за судьбу их серьезные опасения. Вот здесь-то „Серапионовы братья" (поскольку они составляют органическую группу и поскольку дело касается не художественных достоинств или недостатков того или иного автора) и могут ответить С. Городецкому, чтобы рассеять и неосновательные опасения и напрасные надежды. То, что „отличный рассказ Мих. Зощенко—идеологически—пустое место", еще можно понять в том смысле, что С. Городецкому вообще нужна в произведении идеология.

Но порицание Всев. Иванова за то, что в его рассказе над убитыми мужиками красными и белыми „бабы плачут одинаково", можно понять только в том смысле, что С. Городецкому нужна *политическая тенденция*, не идеология просто, а идеология подлинно „зубровская" (его же слово).

„Серапионовы братья" могут решительно заверить С. Городецкого: надежды на то, что они примут желательные ему тенденции так же напрасны, как напрасны и опасения его в том, что они примут тенденции противного лагеря.

Всякую тенденциозность мы отрицаем в корне, как литературную „зелень", только не в похвальном, а в ироническом смысле.

Для такого рода „творчества" всегда находилось достаточно присяжных ремесленников.

Искусству же нужна идеология художественная, а не тенденциозная, подобно тому, как государственной власти нужна агитация открытая, а не замаскированная плохой литературой.

Николай Никитин, Всев. Иванов, Мих. Зощенко, Конст. Федин, Мих. Слонимский, Лев Лунц, Вен. Каверин, Елизавета Полонская, Николай Тихонов, Илья Груздев.

Ответственный редактор ***И. ЛЕЖНЕВ.***



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„НАУЧНАЯ МЕДИЦИНА"

МОСКВА — ПЕТЕРБУРГ

В конце 1921 г. об'единенными научно-медицинскими силами Москвы и Петербурга основано издательство под названием: „**НАУЧНАЯ МЕДИЦИНА**".

Во главе редакции Издательства стоят: проф. **Н. Петров** (Петербург), проф. **Д. Плетнев** (Москва), проф. **Б. Словцов** (Петербург) и проф. **Л. Тарасевич** (Москва).

Издательство „**НАУЧНАЯ МЕДИЦИНА**" ставит себе целью дать своим читателям (врачам и студентам-медикам последних курсов) возможность с одной стороны систематически знакомиться с последними научными работами (клиническими и экспериментальными) в области современной медицины, а с другой стороны получить ряд наиболее интересных монографий и капитальных ученых работ, а также и учебных пособий по различным специальным вопросам медицины.

Издательство „**НАУЧНАЯ МЕДИЦИНА**" начало издавать ежемесячный журнал (первый номер уже имеется во всех магазинах) под названием: „**АРХИВ КЛИНИЧЕСКОЙ и ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ**".

Из более крупных работ и руководств намечены к изданию:

1) Медицинская микробиология—под редакцией проф. **Л. Тарасевича.**
2) Люис. Лекции по патологии сердца. Пер. с англ. под ред. проф. **Д. Плетнева.**
3) Частная патология и терапия—под ред. проф. **Д. Плетнева.**
4) A. Backmeister. Болезни дыхательных путей и др.

Подробные проспекты издательства „НАУЧНАЯ МЕДИЦИНА" высылаются по первому требованию gratis.

По всем вопросам издательства просим обращаться по адресу: **Москва, Камергерский пер. 5, маг. № 84, тел. 3-72-78 и Петербург—Петербургское отделение, Невский пр., 5, кв. 10.**

Секретарь издательства д-р **В. А. Любарский** принимает по редакционным делам в помещении редакции по понедельникам, четвергам и пятницам от 4—6 час.

Член редакционной коллегии проф. **Б. И. Словцов** принимает по редакционным делам в Петербурге в помещении отделения издательства по понедельникам и субботам от 12—2 час.

Издательство „НАУЧНАЯ МЕДИЦИНА".

ВЫШЕЛ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

на 1922 год.

Календарь заключает целый ряд необходимых для медицинского персонала справочных материалов, как то: состав, дозировка и применение лекарственных средств по их действию, максимальная доза лекарственных веществ для взрослого человека, дозировка для детей, несовместимые лекарственные смеси, взрывчатые смеси, симптомы лечения при острых отравлениях, первая помощь при внезапных и угрожающих заболеваниях, мнимая смерть, оживление и первая помощь при несчастных случаях, первая хирургическая помощь (проф. Н. Н. Петрова), практические сведения по акушерству (д-ра Б. А. Архангельского), пищевые раскладки (проф. Б. И. Словцова), о протеиновой терапии (В. А. Любарского) и др.

Склады изданий: 1) Москва ул. Камергерского пер. и Б. Дмитровки в Универсальном книжном магазине, тел. 3-79-69. 2) Петербург, Невский 5, кв. 10, в отделении издательства.

Издательство „НАУЧНАЯ МЕДИЦИНА".

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН.

Москва, уг. Камергерского пер. и Б. Дмитровки, тел. 3-79-69.

В магазине имеется большой выбор книг старых и новых изданий **по всем** отраслям знания и искусству, а также художественная литература.

Универсальный книжный магазин связан со всеми крупнейшими русскими и заграничными издательствами и имеет из первых рук и в первую очередь.—

ВСЕ НОВИНКИ книжного рынка Москвы, Петрограда, Харькова, Берлина, Парижа, Праги и Стокгольма.

„РОССИЯ“

общественно-литературный и научный ежемесячный журнал.

МОСКВА —— ПЕТРОГРАД.

В ближайшее время журнал может рассчитывать на сотрудничество следующих лиц: проф. **С. А. Адрианова**, проф. **И. Г. Александрова**, **С. Я. Арефина**, **Ник. Ашешова**, проф. **В. Н. Бочкарева**, **Д. Выгодского**, **Э. Голлербаха**, **Еф. Зозули**, **Мих. Зощенко**, **Всев. Иванова**, проф. **А. И. Иванова**, д-ра **Лили Каит** (Берлин), **М. А. Кузмина**, **Мих. Левидова** (Лондон), **И. Лежнева**, **Вл. Ленского**, **Як. Лившица**, **Вл. Лидина**, **О. Мандельштама**, **В. Муйжеля**, **Ник. Никитина**, **Б. Пастернака**, **Бор. Пильняка**. **М. Пришвина**, проф. **Б. И. Словцова**, **К. Спасского**, **М. Столярова**, **Ив. Стрельникова**, **В. Тана** (Богораза), **Ник. Тихонова**, проф. **Н. М. Тоцкого**, проф. **Ю. И. Фаусек**, **Ник. Фаусек**, **Ольги Форш**, **Я. Френкеля**, проф. **О. Д. Хвольсона**, **Вл. Ходасевича**, **Мар. Шагинян**, **Ал. Яковлева**, **С. П. Яремича** и друг.

Редакция и Контора—Петроград, Невский пр. 5, кв. 10.
Московское отделение—Камергерский пер. 5, № 84, тел. 3-72-78.

Склады издания: 1) **Москва,** уг. Камергерского пер. и Б. Дмитровка в **Универсальном книжном маг.** тел. 3-79-69 и 2) Петроград, Невский 5, кв. 10.

Рукописи и книги для отзыва можно направлять по адресу редакции или московского отделения.

Редактор журнала **И. Лежнев** принимает по редакционным делам по понедельникам и субботам от 2—4 час.

Провинциальные и заграничные книжные магазины, контрагентства по распространению литературы и частные лица, желающие получать журнал, переводят в адрес Конторы или Московского отделения ассигнуемую ими сумму, в погашение которой им высылается заказной бандеролью соответствующее количество экземпляров по расценке дня отправки.

Вышел в свет и продается первый номер ежемесячного журнала

АРХИВ
КЛИНИЧЕСКОЙ и ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ.

Журнал выходит регулярно

под редакцией: проф. **Н. Петрова** (Петербург), проф. **Д. Плетнева** (Москва), проф. **Б. Словцова** (Петербург) и проф. **Л. Тарасевича** (Москва).

Склад издания: 1) **Москва,** угол Камергерского пер. и Б. Дмитровки, **в Универсальном книжном магазине,** тел. 3-79-69.

2) **Петербург,** Невский, 5, кв. 10, в отделении издательства.

Адрес редакции: Камергерский пер., 5, маг. № 84, тел. 3-72-78.

Рукописи можно направлять в Москву по адресу редакции, или в Петербург по адресу отделения издательства.

Секретарь редакции д-р **В. А. Любарский** принимает по редакционным делам в помещении редакции по понедельникам, четвергам и пятницам от 4—6 час.

Член редакционной коллегии проф. **Б. И. Словцов** принимает по редакционным делам в Петербурге в помещении отделения издательства по понедельникам и субботам от 12—2 час.